

В. Г. ТАН-БОГОРАЗ

ВОСКРЕСШЕЕ
ПЛЕМЯ

Р О М А Н

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1935



47009-45



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Темой этого романа является возрождение после революции самого несчастного из северных племен, забитого, разоренного, полуистребленного народа юкагиров. В прошлом, до прихода русских, юкагиры, вместе с родственными им чуванцами и другими, более мелкими племенами, занимали обширное пространство между двух океанов: Полярного и Тихого, от реки Лены до реки Анадыря. Они примыкали непосредственно к чукотско-коряцкой группе народностей, живших еще дальше и занимавших весь крайний северо-восточный треугольник обширного материка Евразии.

По древним сказаниям, шатры и огнища юкагиров были расположены так часто, что Ворон Громник, пролетающий над тундрой, совершенно почернел от дыма и копоти и должен был бессильно опуститься на землю, не пролетев даже и половины пути. Ныне от юкагиров осталось несколько сот человек, а чуванцы совершенно исчезли.

Чуванцы называли себя а т а л, а юкагиры — о д у л. Это, очевидно одно и то же слово, оно означает — «человек». Многие первобытные народности сами себя называли «людьми» или «настоящими людьми», а соседей своих — «врагами», «мерзлоразыжками», «немыми» и даже еще прямее и грубее: «чертями».

Страдания и бедствия юкагиров не являются исключением, они типичны для всех малых народностей Севера. Я писал об юкагирах по личным впечатлениям. Однако для того, чтобы быть более свободным в своем рассказе, я несколько переделал их племенное имя и вместо одулов и аталов назвал их «одунами» и «атанами». История одунов — это не только история юкагиров, это — история кетов, долганов, эвенов и эвенков и десятка других северных народностей, над угнетением которых работали вместе казаки, исправники, торговцы и попы.

Русские завоеватели северной Сибири были во многом подобны испанским конквистадорам, покорившим Америку. То были люди, не щадившие ничьей жизни, ни чужой, ни своей. В какие-нибудь восемнадцать лет они покорили весь необъятный край от Лены до колымского устья и дальше, до Охотского моря. В 1632 году Петр Бекетов основал на реке Лене Якутский Острог. В 1646 году Михаил Стадухин открыл реку Колыму и заложил на ее западном устье Собачий Острог. В 1649 году Семен Дежнев заложил Анадырский Острог, а в 1650 году Семен Мотора уже дошел до Охотского моря. Казенные акты того времени, казачьи подлинники отписки якутским воеводам пестрят такими указаниями: «И мы, яз Семейка с товарищи, на них ходили и нашли их четырнадцать юрт, в крепком острожке, и бог нам помог, тех людей разгромили всех и жен и детей у них поймали, а сами они ушли».

Или еще: «И стали они, Анаули, с нами драться и как нам бог помог взять первую крайнюю юрту и на острожок взойшли, и мы с ними бились на острожке ручным боем, друг за друга имаяся руками, и у них, Анаулей, на острожке направлено на готовый бой колье, и топоры сажены на долгие деревья, и убили они у нас служилого человека Суханка Прокофьева да трех человек промышленных; да служилого человека Пашка Кокоулина на том приступе топором и кольем поранили в голову и в руку, да Артюшку Солдатка ранили из лука в лоб. И бог нам помог тот их острожек взять и смирить их ратным боем».

По другим донесениям, пленники, «не желая покориться под высокую государеву руку, поганским обычаем, жен и детей своих кололи до смерти, а сами бросались с утеса и тоже убивались».

Вместе с казаками, а порою впереди их, шли торговцы, часто довольно крупные, тесно связанные со столичной Москвой.

Таковы, например: «Гостиной сотни торгового человека Василия Гусленикова, приказчиков его Бессонка Астафьева, Афоньки Андреева, их покрученник Ефимка Меркурьев Мезеня с товарищи». Здесь, правда, торговые люди третьего разбора, покрученники приказчиков богатого купца. Но Федот Алексеев, обогнувший вместе с знаменитым Семеном Дежневым в 1648 году крайнюю оконечность азиатского материка и, таким образом, попавший из одного океана в другой, сам был богатый торговец и суда снарядил на собственные средства.

Верными союзниками казаков и торговцев были попы, белые и черные (то есть монахи). Они тоже ходили с отрядами и собирали силой ясак для царя.

Так, в 1814 году священник Григорий Слепцов сделал объезд по Чаунской тундре и собрал ясак с семидесяти чукотских семей. Он привез в Колыму восемьдесят семь пудов моржовой кости и множество мехов и все это передал в казну. По местному преданию, лучшую часть сбора он оставил себе. Чаунские чукчи нападали на него по дороге, но он отбилсЯ.

Последним завоеванным народом были злосчастные юкагиры. Чукчи, обитавшие за ними, сумели отбиться, нанесли казацким отрядам ряд поражений и заставили их отступить обратно к западу. После того чукчи набросились, в свою очередь, на чуванские и юкагирские поселки, грабили имущество, отбирали олени стада, мужчин убивали, а женщин и детей уводили в плен.

Таким образом чувано-юкагиры очутились между молотом и наковальней и жестоко пострадали.

В советскую эпоху разорение и угнетение северных народностей сменилось их культурно-политическим и хозяйственным возрождением. Значительную роль в

этой прекрасной работе играла северная молодежь, и лучшая часть молодежи прошла и проходит через Институт народов Севера, возникший в Ленинграде в 1925 году.

Я работал в этом институте с его основания, когда он еще представлял только отделение рабфака при Ленинградском университете, и все время внимательно следил за его ростом и укреплением. Таких учреждений нет нигде за пределами СССР. Капиталистические страны поступают со своими народами Севера по одному и тому же неизменному империалистическому рецепту — выкачивают из них все соки, стараются их обезличить, стереть их народность, угасить язык и внушить этим пасынкам культуры рабское признание того, что они якобы являются людьми второго сорта, прислужниками завоевателей, пришедших с юга с «огненным боем», сифилисом и алкоголем.

Грандиозное значение советской работы среди малых народностей Севера признано за границей. Об этом говорилось на многих ученых конгрессах в Европе и в Америке.

Последние главы моей повести еще не исполнились, но они исполнятся в ближайшем будущем. То, что еще не осуществилось в далеком юкагирском районе, стало уже действительностью, вошло в плоть и кровь в более западных ненецких и эвенкийских округах. Темп возрождения Севера быстро растет. Злое «вчера» уже переросло в могучее «сегодня», и это «сегодня» на наших глазах переходит в яркое «завтра».

«Завтра» для одунов — это широкий, развернутый фронт по пути индустриализации, научного знания, социализма.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Подь, подь!.. Подь, подь!..

Кендык покрикивал, погоняя свою старую мохнатую собаку, покрикивал негромко, без всякого азарта. Не стоит разоряться из-за единственной собаки.

Старая Щетка, тянувшая изо всех сил, с упреком оглянулась на хозяина.

«Ты видишь, я стараюсь,— прочитал Кендык в ее взгляде,— куда же ты гонишь еще?..»

И вместо ответа Кендык влег плечом в ремennую лямку, при помощи которой он тянул свою узкую нарту по снежным ухабам.

На нарте лежало спасение северной жизни — еда, правда, не особенно казистая, разного качества. Десяток зайцев, полтора десятка куропаток, несколько довольно крупных рыб и даже кусок волчеедины, на которую Кендык и Щетка набрали нечаянно в лесу, во время своего путешествия. Волк убежал, а волчеедина осталась.

Эта еда должна была поддержать на неделю десятую часть несчастного, заброшенного, полумирающего племени одунов.

Зайца одуны когда-то не ели. Даже самый их род назывался Заячьим родом — Чолгород Омок. Одуны считали Великого Зайца своим покровителем и пред-

ком, дарителем пищи, и про зайца рассказывали множество басен и легенд. Но теперь все это забылось и спуталось. Погибающим одунам было совсем не до этих запретов. И если не «Великие Зайцы», то простые лесные зайчишки давали племени необходимую пищу своей собственной плотью и кровью.

От одунов осталась последняя сборная сотня: сорок мужчин, сорок семь женщин и одиннадцать детей. У племени — двадцать собак, большею частью старых и усталых, а молоденьких щенят — тоже одиннадцать; по щенку на ребенка. Детей и щенят кормили из одного корыта, когда было чем кормить.

Настоящих охотников у племени было тоже одиннадцать, и они разделили сородичей на одиннадцать родственных групп, или сложных семей, по восемь по девять и по десять человек, и каждый охотник старался кормить свою собственную группу. Настоящих, взрослых охотников было только десять, а одиннадцатым был этот самый мальчишка — Кендык, который из сил выбивался с грузом добычи на снежной таежной дороге. Кендык был внук шамана Чобтагира. Он был по годам мальчишка — ему исполнилось только четырнадцать лет, — но по упрямой, настойчивой страсти к охоте он был промышленником, одним из одиннадцати.

— Кух, кух, кух! — закаркал по-вороньему, с удивительным искусством, охотник-подросток, подавая этим своей единственной собаке знак, что сворачивать нужно налево, туда, где змеился узкой тропинкой крутой и высокий подъем.

Щетка выпустила дух, как будто вздохнула, и начала царапаться вверх по подъему своими цепкими лапами. Работа эта была тяжелая. Собака стлалась по тропинке, визжа, хватая пастью снег, чтобы утолить свою нестерпимую жажду, и Кендык, как полагается каюру-ямщику, на трудных местах плаксивым голоском поощрял свою старую собаку: «Ох, тяни, тяни, ох, давай, давай! Еще раз, еще раз. Домой, ужинать будем». В семье Кендыка Щетка была последняя живая собака. Две других издохли, третью задрал не особенно давно на охоте медведь, четвертую убили и

съели на празднике осенью, и осталась одна-единственная, и при ней также единственный щеночек.

Стемнело. Товарищи всползли наконец на угор и поехали вдоль по узкому высокому гребню. На третьем повороте открылся одунский поселок. Постройки поселка тоже были сборные, пестрого типа. Старые плетеные одунские шалаши, обложенные глиной и дерном, якутские разлапистые юрты, обмазанные глиной и навозом, и даже квадратные избы, рубленные в лапу, по русскому примеру. Но ни одна изба не имела сеней перед входом и кровли на два ската. В сущности, это были не дома, а скорее сараи, переделанные для жилья. Все они имели в левом углу, у стены, русско-якутского семейственного бога. То был широкий «чувал», тоже из дерева и глины, построенный вроде камина и дававший лучистое тепло в самые лютые морозы. Домов было двадцать, и повсюду топились обильным и щедрым огнем чувалы. В лесу было тихо, и над каждой плоскою крышей вставал неподвижно развихренный, высокий, пронизанный искрами столб, вроде гигантской метелки, с курчавой и дымной верхушкой.

Кендык облегченно вздохнул. Еды было мало, но ее заменяло изобильное тепло и ленивый, разымчивый сон. Одуны знали и блюли мировую пословицу: «голодному сон за обед».

Жидко завизжали впереди голодные собаки, и все население поселка высыпало наружу из-под шкур, повешенных вместо дверей. Среди этих немногих десятков последних одунов поражало обилие людей пожилых и даже стариков. Дети постоянно вымирали, а старики и старухи, составлявшие бремя тяжелое, почти бесполезное, продолжали жить по какому-то необъяснимому противоречию. Впрочем, детей рождалось мало. Брачная жизнь ослабела. Воля к воспроизведению, теплившаяся слабой искрой, зимой совсем замирала, а вспыхивала только весной временным и жидким огоньком. Последним жизненным инстинктом был голод, стремление насытить свое собственное брюхо и защитить от смерти свою собственную личную жизнь, без мысли о детях, о племени. Но чаще

всего даже влечение к еде не вспыхивало ярким звериным огнем.

Мужчины и женщины, с изношенными лицами, в изношенных одеждах из полуоблысевших шкур, стояли перед входом и тотчас убрались обратно. Еда предназначалась для третьего дома налево. Ее было немного, и устраивать общий дележ было не из чего.

Старый Чобтагир вышел навстречу охотнику.

Он был высокий, тощий, но все еще держался прямо, несмотря на глубокую старость. Его щеки и шея были в широких складках, как будто копченая коричневая замша. По замше повсюду, особенно на подбородке, пробивались длинные волосы, жесткие, прямые и седые. Одуны вообще бороды не имеют и отдельные волоски выщипывают особенными медными щипчиками, которые носят на трубке. Но у самых глубоких стариков вырастает борода, она считается особым украшением, и ее не выщипывают.

У Чобтагира на поясе висело соколиное крыло, а на левом плече была пришита деревянная фигурка — собака или волк. То были его духи-покровители.

Не поздоровавшись с внуком, он подошел к нарте и ощупал волчедину и зайцев. Добыча молодого охотника ему не особенно понравилась.

— Для еды годится, для продажи не годится, — сказал он презрительно.

Действительно, Кендык не добыл ни одной ценной шкурки — ни белки, ни лисицы, ни соболя, ни горностая. Если бы приехали купцы, им нечего было бы дать в обмен на чужие товары.

Подошел и другой старик, похожий лицом на Чобтагира, но ростом пониже и без всяких амулетов.

— Кому продавать-то? — сказал он презрительно и горько. — Перевелись торговцы, сами не ездят, других не пускают. Если бы попалась пушнинка, отдать-то некому, купить-то нечего.

Слова эти были как бы ответом на упреки Чобтагира.

Старик без амулетов был двоюродным братом Чобтагира.

У Чобтагира имя было чужое — тунгусское, но брат

его звался по-одунски Шоромох — «человек». Этот туземный человек был в прошлом помощником якутских торговцев. Он брал у них по мелочи товар, раздавал односельчанам, сородичам и так же по мелочи собирал пушнину. Каждая иголка и каждый листок табаку имели свою цену. Когда-то, при дедах Шоромоха, за иголку давали пышную темную белку, но после — только беличий черненький хвостик. Из беличьих хвостов искусные старухи-шитницы сшивали ошейники, пушистые и черные, теплее, чем русские шарфы, вязанные из шерсти.

Шоромох, бывало, «работал» не только среди Заячьих потомков, но шнырял по окрестностям, переходя от одного полувывмершего рода к другому. Бывал у Гусинового рода, у второго полурода Щербаковых. Первый полурод давно вымер, поголовно подкошенный корью. В Петербурге и в Москве, для притерпевшихся горожан, корь — это детская болезнь, но, раз попав на тундру, она становится злым бичом, вроде чумы или оспы.

От торговых операций Шоромох особенно не богател. Ему перепадал лишний чаек, табачок, даже порой спиртик, но чаек он выпивал, табачок выкуривал, а спиртик... даже и сейчас при мысли о спиртике глаза его зажигались мечтательным восторгом, и он прошелтал русскую поговорку в одунской переделке: «сыт и пьян, и глотка копченая (от табачного дыма), и глаза подбитые». Последняя деталь относилась к дракам, которые у пьяных одунов затевались не хуже, чем у пьяных русских. Но теперь не было, увы, ни пьянства, ни курения, и якутские благодетели давно уж не являлись в глухую одунскую тайгу.

Старая Курынъ, жена шамана Чобтагира, настрогала мороженой рыбы и поставила на стол. Зайцев, гремевших, как жестяные, положила оттаивать в широкую корзину вблизи камина. Над волчединой постояла в сомнении. Можно ли есть, не обидится ли тот волк, у которого ее отняли, и не станет ли мстить? Но потом она отрубила половину маленьким кухонным топориком, разрубила на куски, положила в котел и поставила вариться к огню. Мужчины в молчании ели

сырую мороженую рыбу. Она была безвкусная, сухая, без всякого жира. Зимняя рыба мало годится для поедания сырым. Котел закипал, волчеядина, в отличие от рыбы, была жирная. «Волки умеют выбирать добычу»,—подумала Курьнь с невольным почтением.

Кендыкова сестренка Чолгора (Зайчиха) затеяла игру с морожеными зайцами. Может быть, она чувствовала к ним влечение из-за своего собственного имени. Вместе с нею играли две другие девчонки, подружки, пришедшие из соседних домов. Сегодня в поселке был день худого промысла, и взрослые охотники принесли меньше добычи, чем молоденький Кендык. Однако Чобтагир и Шоромох не делили еду по сородичам, как водилось по правилу раньше, а если одиноко в своей угрюмой жадности то, что послал им охотничий бог—покровитель молодого охотника. Только маленькие дети разрушали стену отчуждения и ходили выпрашивать кусок туда, где он был побольше и пожирнее. Оттого и пришли в чобтагирскую избу к маленькой «зайчихе» две другие девочки. Они отобрали самого крупного зайца, разделились на две партии и стали играть в «ворона». Две девочки легли на зайца грудью и обхватили его руками. Они были мыши, нашедшие заячью тушу в лесу под кустами, и прятали свою драгоценную добычу. Чолгора—хозяйка—разыгрывала Ворона. «Дочки, дочки, что вы делаете?»—спрашивал Ворон. «На солнце греемся, на песке сушимся».—«А что вы нашли на песке? Зайчиха, должно быть?»—«Нет, нет, это не зайчик, а кустик».—«А зачем у него глазки?»—«Это кустик глазастый».—«А зачем у него усики?»—«Ах, это кустик усатый».—«А зачем у него лапки?»—«Это кустик лапчатый».—«Ах вы, лгуньи, вертуньи, вот я вас, вот я вас!»

Ворон мышей разбросал и зайчика унес, но старая Курьнь вырвала зайца у Ворона и самого Ворона ударила звонко по лбу черной деревянной поварешкой.

— С зайчиками не шутите,—сказала Моталья, другая сестренка Кендыка.—Зайцы не сами собой пришли, они родились из оленей на бегу, в состязании. Бежали, бежали, пока и рога потеряли. Уши стали

больше, лапки стали мягче, рост уменьшился, стали меньше лисиц, тогда стали кормиться тальничными ветками.

Это было предание вымирающего племени. Его пра-родители, зайцы, были когда-то оленями, а племя по-том потеряло оленей, убавилось ростом и стало вме-сто мяса питаться тальничными ветками, не лучше и самих зайцев.

Горячее мясо стояло в корыте на низком столе. Дев-чонки хватали куски, позабывши о зайчике. Но стар-рый Чобтагир ел мало.

— Пить хочу,—сказал он отрывисто.

Старуха наливала из черного чайника горячий брус-ничник, то есть, в сущности, просто крутой кипяток, в котором заварены брусничные листья. Но сколько ни клади брусничного листа, навар выходит какой-то сомнительный, прозрачный и зеленый. А от кирпично-го чая, какой пили недавно одуны, навар получался черный и густой, как пиво.

Чобтагир равнодушно выпил чашку, поставил ее на стол и с тяжелым вздохом достал свою длинную чер-ную трубку. Курить было нечего. Кисеты давно искро-шили и выкурили. Старые трубки истерли в порошок. Все давным-давно перешло в дым. Он неохотно взял ивовую ветку, очистил от коры, наскреб древесины, набил ее в трубку и поджог угольком. Потом затянул-ся быстро и жадно, пять, десять раз подряд, как это делают курильщики на Севере. Дым был удушливый, едкий. Чобтагир поперхнулся и закашлялся, потом с отвращением бросил в сторону трубку. Ничто его не тешило. В неприступном молчании ушел он в свой ко-жанный полог, растянулся на шкурах и принял вид спящего. Другие расправились с едой, старуха загре-бла огонь, чтобы он сохранился до завтра, и все ста-ли укладываться прямо на полу, расстилая поношен-ные шкуры. Усталый охотник давно утопал в меховом балахоне Нерги, пушистой и снежной полночи, кото-рая приносит такой пушистый сон и людям и вещам. Кого Нерга захочет усыпить,—закинет полою плаща, и тогда он спит спокойно и мягко, как ребенок.

В глубокую полночь Чобтагир тихонько поднялся.

Он не спал ни минуты и молча пролежал, глядя в темноту своих закрытых глаз, своей замкнутой наглухо души. Но теперь он насытился своим одиночеством, его тянуло разговаривать с духами. Он не стал по-обычному шаманить в жилом помещении, а вышел осторожно на улицу. Взял с собой свой старый любимый бубен, большой, неуклюжий, с железной крестовиной на брюхе, заменявшей рукоять. Заодно прихватил три головатых деревянных фигурки,— то были его собственные амулеты и духи-покровители. Унес и малую икону Старого Николки — так фамильярно обзывают на Севере Николая-чудотворца. Обойдя свою избу, он стал у задней стены. Потом разложил на снегу вокруг иконы своих деревянных предков и крепко связал их вместе шнурком, ссученным из оленьих сухожилий,— чтобы они не разбежались. Духи — как дикие звери. Если не привязать их, они убегают. Старик достал из мешочка кусочек красной охры и развел ее слюной. Это была как бы жертвенная кровь убитого оленя, о котором в доме Чобтагира не было даже и помина. Разведенной охрой он обильно намазал деревянные губы своим собственным духам-помощникам и Старому Николке.

— Ешьте,— буркнул он,— ешьте хорошенько и нам тоже есть давайте.

После того он стал жаловаться на плохую торговлю и плохие промыслы.

— Слушай, Николка,— говорил он вразумительно и прямо.— Дай чаю, пить хочу, дай табаку, курить хочу. Дай крепкого вина, сердце веселить хочу. Я вас кормил — и вы меня кормите. И вы, головатые,— окликнул он своих деревянных божков,— тоже помогайте Николке и дайте, чего просим.

Чобтагир помолчал и прислушался. Сквозь сердце его прошла, как нож, буйная жажда пляски, шаманского вопля и яростного стука по натянутой коже бубна. Он удержался. Эту шаманскую молитву не должны были слышать другие мужчины жилья: Кендык и Шоромох.

— Дайте,— убеждал духов Чобтагир,— я стар и немощен. Мои губы привыкли к радостям, пришедшим

от русских. Пьют вино, курят табак, пьют чай с сахаром.

Он опять подождал и прислушался, но ничего не услышал. Духи не давали ничего.

Тогда в безумной ярости он стал бранить и поносить главного русско-одунского бога — Николу-чудотворца.

— Злой старичишка, — сказал он ему. — Сам, небось, куришь и пьешь, или, может быть, ты только хвастаешься, и к вам на небеса тоже ничего не доходит. Страшные солдаты и у вас облегли все дороги, не пропускают никакой мучнистой пушинки, ни чайной порошинки, ни горечи табачной.

Наступило короткое молчание.

— Ты, может, спишь, Николка, — сказал неожиданно шаман. — Не спи, друг, помоги. Случай придет, я тебя тоже накормлю и накурю.

Николка, действительно, спал. Чуть слышно долетало из избы тонкое храпение с присвистом и причмокиванием. Трудно было решить, кто это собственно храпит: старый Шоромох или Старый Николка.

С тяжелым вздохом шаман продолжал свое действие.

— Ты, может, не понимаешь по-нашему? — спросил он Николу. — Русский, что делать, — ты понимаешь по-русски, а мы — только по-одунски. Вот я позову переводчика... Приди, толмач, — прошептал он настойчиво. — Работай со мною, как Кешка¹-переводчик работал со старым исправником.

«Хорошо, хорошо, хорошо, — запело в ушах шамана. Это пел дух-переводчик тонким комариным голоском. — Мне все равно, я растолкую, скажу...»

Как все шаманы, Чобтагир разыгрывал свое «служение», как настоящий многоликий актер. Он сам говорил за себя и также за духов, порой мысленно, порой на все голоса, громко, вслух. При случае он умел даже чрево вещать не хуже любого городского фокусника. Это требовало большого напряжения, и он делал это исключительно для публики. Сам для себя он разговаривал с духами чаще всего мысленно.

¹ К е ш к а — Иннокентий.

Еще через несколько минут у шамана в ушах прозвучало объяснение:

«Даром Николка не дает, и остроголовые тоже не дают. Торгуй с ними, ты ведь даром ничего не давал, и Шоромох ничего не давал, а у нас, небось, просите».

«Привык собирать дорогое,— упрекал переводчик шамана.— С нами поделись, с небесными, мы не хуже земных. Пушнину-то привык собирать, пушнину отдай... Нет, не надо пушнины, ее ныне не берут. Дай молодого оленя, сладкое мясо, теплую кровь».

Чобтагир тихонько завыл и закружился на месте, уже не только мысленно, но и на деле. Он вертелся быстро, как волчок, спущенный с рогатки на твердую гладкую землю.

Никола хотел торговать, но у Чобтагира не было товара для продажи. Заячий род был не олений, а собачий. Только у второго полурода Щербаковых водились когда-то олени, но их давно приели и волки, и люди, и духи копытной заразы. Последний Щербаков умер много лет назад, когда у Чобтагира на темном лице волосы были не седые, а черные. Последние олени потерялись незадолго до смерти последнего оленного одуна. Все было последнее: и олени, и люди, и пища, и русские товары, и самое дыхание жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Перестали возить мясо. Уже десятый день охотники, старые и молодые, возвращались домой с пустыми нартами. Зайцы куда-то исчезли,— как видно, откочевали на другой берег реки Шодымы. Должно быть, заречный хозяин, живущий в лесу, который постоянно соревнуется с здешним, бьется об заклад, борется, а чаще всего играет с ним в карты,— на этот раз изловчился и выиграл охотничью добычу. Лешие ставят на кон всякое зверье: зайцев — так зайцев, белок — так белок, лисиц, горностаев, даже куропаток. Оттого и бывает, что один год куропатки в огромном обилии, а потом, как отрежет ножом,— все до одной потерялись. Это счастливый игрок уводит их с собой, в свои

заповедные места. У такого счастливого лешего хорошо жить одунам. У него зайцев вдвое, и всякой пушнины вдвое. А у неудачливого лешего одуны голодные.

Также не стало и рыбы. Зима в этом году была суровая, лед толстый, и на реке было мало продухов. К таким продухам в лютый мороз собирается рыба, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но на этот раз вышло иначе. Двое охотников, самых проворных, Пулей и Юкупай, сходяв на далекую продуху, нашли ее полную рыбы, но вся рыба лежала вверх брюхом. Она задохлась от густого застойного духа. Охотники не посмели взять этой рыбьей падали и вернулись домой с пустыми руками. В эту ночь в поселке разговаривали шопотом. Дохлая рыба в реке, по словам стариков, всегда предвещала несчастье.

Тогда пошли пробовать счастье двое других: Пеме и Шахал. Они стали на тонкие лыжи, взяли свои посохи и пошли далеко «наперерез земли», по снежным угорьям, искать толсторогого лося. Последние лоси водились в южной стороне, на речке Тополевой. Там, в затишьи, прятались лоси, сохатые, «старшие братья оленей», объедали тополевую и осиновую кору и одинаково спасались от волков и от людей. Два дня, две ночи скользили на лыжах смелые охотники Пеме и Шахал. Прошли всю Тополевую речку до узкой ветвистой многокаменной верхушки, а лосей не было. В двух местах попались глубокие раздвоенные ямки в осеннем снегу. То были следы лосиные. Они были старые, твердые, обмерзлые. Нужно было бы долго колдовать, произносить заклинания, чтобы вернуть лосей назад и сделать их следы из старых свежими, из жестких — мягкими. Дальше следовало подняться еще раз назад, вверх по реке Времени, и сделать бывших лосей сущими, годною добычей для охоты. Шаманы внушали одунам, что при большом напряжении сил можно заставить реку текущей воды и реку текущего времени вернуться назад. Но Пеме и Шахал, очевидно, не умели, как надо, колдовать. Они походили у старых следов в опустевшем лесу и вернулись обратно.

В ту ночь Чобтагир устроил в избе небольшое «кам-

лание»¹, и не знавшие удачи охотники забрались к нему в избу и долго слушали взвизгивание шамана и грохот его бубна. И даже сами подвывали и подкрикивали, как это полагается. Шаман скажет: «Духи, придите на голос!» И охотники поддержат: «Ну да, придите скорей!» Шаман скажет: «Ух, улетаю на поиск». И охотники поддержат: «Ну да, конечно, улетаешь».

На этот раз камлание шло с необычайной вялостью, и охотники вдруг остановились, не окончив возгласа, и тихонько спросили Чобтагира:

— Скажи, отец, зачем ушли сохатые от наших далеких угодий на реке Тополевой? Мы обошли все следы, они уводят через средний хребет, на Березовую реку.

Шаман долго молчал и думал. И все гости его также молчали, затаив дыхание.

Потом он сказал:

— Последние лоси ушли — предвестье голодного времени. Земля наша устала кормить умирающих одунов, она требует отдыха, заказа², перерыва. Уходите, одуны, пока еще не поздно.

Тогда двое последних охотников, одновременно и старых и удалых, пошли искать удачливого промысла, прямо вверх по реке Шодыме. Они шли четыре дня и четыре ночи и пришли на осетровую заводь, где в тинистой глубокой курье зимовали осетры. Они прорубили тяжелой пешней двухаршинный лед и длинными шестами-норилами протолкали под лед крепкую сетку, сплетенную из белого конского волоса. Сетку продержали до вечера и взяли на первом же высмотре большого осетра, одного, зато пудового.

Осетр был странный. С очень большой головой и такими же большими глазами. Дорожного запаса у охотников не было, они сварили в котелке осетровую голову и поели янтарной ухи. Но поев, ощутили, что дух смерти сидел в осетре и забрался к ним в печень. Они в ужасе бросили на берегу котелок и обезглавленного осетра и побежали домой со смертью в животе. И так же, как прежде, бежали четыре дня и четыре

¹ Камлание — шаманское служение.

² Заказ — запрещение. Отсюда охотничий заказник — район, запрещенный для охоты.

ночи, прибежали и пали в избе у шамана Чобтагира и сказали через силу:

— Старик водяной нас убил, осетром удавил.

Сказали и умерли.

Тогда поняли и увидали одуны Чолгорского рода, что на них прогневались духи лесные и духи водяные, отняли у них пищу или в пищу посылают смерть.

На следующее утро мужчины остались в поселке, а женщины отправились на промысел. Они нацепили кумачевые лоскутья на старую замшу кафтанов, надели свои праздничные шапки. Шли и голосили: «Лесные дружки, пожалейте. Пошлите еды».

Две сестры, Лошия и Кия, плясали. Волосы у Лошии были высокие, пушистые, как облако. А у Кии волосы висели по плечам тонкими косичками, как беличьи хвостики. Одунские парни когда-то называли ее «Пятихвостая белка». Взявшись за руки, сестры плясали и пели весенние песни. «Приди, дружок, накорми меня белой рыбкой. Я почешу твое левое ушко. Приди, дружок, накорми меня красною рыбкой. Я поищу у тебя в голове. Приди, дружок, накорми меня черною рыбкой. Уснешь у меня на руках». Но никто не вышел на зов и не накормил голодных женщин даже самую плохую черною рыбой: пятнистою щукой, темнокожим налимом, круглоротым чукачаном, который считается на Севере самой дешевой, невкусной чернорыбной пищей.

Старшие женщины, Торица и Магея, захватили копалки. Они шли копать корни и читали заклинания мышиноного гнезда: «Мышка, хвостик, дай корешок. А я тебе дам от листа черешок».

Мыши, полевые и лесные запасают на зиму белые и вкусные чищенные корешки. С осени женщины разыскивают мышинные гнезда и уносят находящиеся в них запасы. Но теперь был конец зимы, мыши доедали последние корешки и сами голодали в своих темных подземных убежищах.

Торица стала копать из-под мерзлой земли тонкохвостую макаршу. Корешочек был тонкий, как шнурочек, и оборвался посередине. Торица вытащила полхвостика; а копалку изломала без пользы. Магея работала удачливее и выкопала мышь. Она не стала ее уби-

вать и забрала последнюю горсточку полуобъеденных, изгрызенных корней, все больше хвостики. Мышь отбежала по белому снегу, потом остановилась и посмотрела на грабительницу. Она, должно быть, знала, что деться ей некуда. Людей заменят горностаи, и совы, и лисицы, и вороны. Для каждого хищника она сама может стать съедобным корнем.

— Шуш,— сказала Магея, махнув копалкой. Мышь только вильнула хвостиком и словно вздохнула, потом побежала вперед, вывязывая на тропке затейливый узор своими тоненькими лапками.

Так старухи и девочки тоже вернулись из лесу домой без всякой добычи.

Туже подвязали животы. Детям сварили постельную шкуру, сбив с нее шерсть. Разваренную кожу порезали кусками. Была она липкая и вязкая, как разваренный клей. Сами мужчины и женщины легли не евши. Никто не спал.

Наутро Чобтагир и Шоромох вышли на поляну и стали колотить посохами в сухое и звонкое дерево, лежавшее на козлах. Звук разносился далеко. Он был отрывистый, унылый и грозный. Это был призывный сигнал к поголовному сходу всего одунского племени. Сход созывали только в экстренных случаях, и тогда в нем участвовали не только старики, но также молодые,— одинаково, женщины и мужчины,— и даже дети, которые могли ходить или ползать по снегу.

Вместо Чобтагира стала говорить старуха Курынъ. Весь век она молчала, делала все, что приказывал муж, ему отдавала последний кусок, а сама засыпала голодная. Но тут она нашла свой голос и стала говорить так:

— Вы, стрелки, ружейники и лучники, добычи не могли подстрелить. Вы, копейщики, мяса не могли подколоть. Вы, рыболовы, крючководы, не выдернули рыбки из бесплодной воды. Теперь судите, как жить будем, как есть будем. О племени думайте, себя не могли прокормить. Как детей питать будем — советуйте, что делать.

И мужчины молчали и думали. И старый Шоромох сказал:

— Не приходят купцы, сами пойдем и поищем. Куда

они девались? Пойдемте в якуты. У богатых якутов коровье молоко, конское мясо. У богатых якутов довольно и масла и кумыса...

— Ух-а! — простонали, проплакали голодные мальчишки. Их было семь человек, и в жизни своей они не едали, даже не видали конского мяса, только знали о нем по рассказам, похожим на старые басни.

— Чем купим? — угрюмо спросила Курынь, не смягчаясь и не уступая старикам.

Мужчины молчали. Чобтагир перекатывал во рту сухую оленнюю косточку, похожую на камешек. Она была обсосана давно, и больше высасывать было нечего.

— Слышишь, ребятишки как плачут и пищат, — заговорил снова Шоромох. — Повезем их к якутам, там много еды, жирной и сухой, хорошей и худой. Пусть поедят простокваши и попьют белого¹.

В этом заботливом предложении скрывалась жесткая действительность. В голодные годы одуны и эвены (ламуты) приходили к якутам, приводили ребятишек и отдавали их на пропитание якутским богачам. Дети становились рабами своих хозяев. За несколько глотков разбавленного «белого» их заставляли работать с утра и до позднего вечера, били кнутом, держали в грязи, как собак, перепродавали и, случалось, убивали. Никто не заботился о них, а обратная дорога на волю была навеки закрыта.

Мальчишки замолчали, они знали, — тоже по рассказам, — что жить у якутов не легко: молоко у них сладкое, как сахар, а слезы горькие, как соль.

Опять наступило молчание, и Чобтагир выступил вперед и сказал, то самое сказал, что прошлую ночью объяснил ему дух-переводчик:

— Даром никто не дает. Николка не дает и наши, головатые, тоже не дают. Просят молодого оленя, сладкое мясо и теплую кровь.

Курынь внезапно вспыхнула. Она встряхнула с себя рабское молчание многих годов, как истлевшую ветошку.

¹ Белое — молочные продукты, чаще всего простокваша.

— Что врешь, старый чорт, где возьмем тебе оленя?.. Лживые шаманы, мужчины, обманщйки!

И женщины все повторили:

— Мужские шаманы — обманщики.

Чобтагир пошатнулся, словно его ударили в лицо.

— Свою кровь отдал бы, — сказал он глухо, — да жидкая, хуже воды, а мясо жиловатое, как осиновая кора.

И Шоромох подумал и сказал:

— Ежели нет четырехногого теленочка — надо дать двуногого.

— К детям подбираешься! — крикнула Курынъ. — Зарежу тебя, как собаку!

Она схватила железную палемку, женский кроильный ножик, и хотел броситься на вероломного советчика. Но Шоромох не хотел отступить и не думал униматься.

— Духам не дадите, сами есть не будете, — сказал он с угрозой в голосе.

Женщины взвыли от злости и готовы были броситься в свалку, но тут поднялась самая древняя старуха Чолгорского рода, Эмеи. Уже много лет она никуда не ходила на промыслы, даже в летнее время рыбы не пластала и сидела на шкуре. И когда Курынъ была молодой девкой, Эмеи была такая же сухая старуха. У ней даже не было имени, — Эмеи означало просто «матушка».

Она поднялась, но устоять на ногах не могла и только пересела повыше, на высокий пенек. Сидя на пне, она медленно заговорила, будто вспоминая, неясным скрипучим голосом, как старая береза:

— Я помню, было такое на реке Омолоне, я ведь не здешняя, я с Омолона. Там жил полурод Балаганчиков, и не стало у них пищи, ни мяса, ни рыбы в реке, ни птицы на ветках, ни даже корешков под землю. И так голодали сто дней. И стал мозг сохнуть в костях и мысли мешаться в голове. И была там старуха — хозяйка, и звали ее также Курынъ, ну вот, как тебя, — кивнула она пальцем в сторону жены Чобтагира. — Сначала ходили на охоту, искали, ничего не нашли, а потом и искать перестали. Легли на хвое под шатрами

и ждали себе смерти. Мужчины ждали молча, и женщины не плакали, и дети устали ныть и просить хоть кусочек. Только один пятилетний ребенок-мальчишка все не унимался и плакал и кричал: «Мама, есть».

Старуха закашлялась и схватилась за грудь. Рассказ оборвался, но картина минувшего голода встала, как живая, перед глазами голодных одунов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вот как это было на деле.

Десять дней не ели. Мужчины и женщины лежали на хвое под шатрами и ждали себе смерти. Дети устали просить, только один пятилетний ребенок хныкал и просил:

— Мама, есть!

Крик его был негромкий, но назойливый, как комариный писк, и он не давал спать голодным мужчинам и женщинам.

— Есть, есть, есть!

Крик звучал у них не только в ушах, но как будто во рту. Вслед за ребенком вся их утроба кричала: «Есть, есть!» Спать не могли. Старая Курынь не вытерпела, встала и поползла к мальчику, как будто лисица.

«Есть, есть... вот я тебя уйму», — мешалось у ней в голове. Что она хотела унять: мальчишку или собственный голод? Она подобралась к мальчишке, как голодная лисица к молодому и глупому зайчонку, и схватила его своими костлявыми лапами: раз, раз, она перекусила ему горло. Мальчик захрипел и замолк. И его комариный голосок перестал нарушать забытые голодных людей.

Наутро старуха молча вышла из шатра, зажгла костер на открытом очаге, подвесила большой котел и стала растапливать в нем снег. Потом принесла из заднего угла завернутую в шкуру небольшую ношу какого-то странного мяса. Оно было бесшерстое, в коже, и темное, как замша. Курынь вывалила всю ношу в котел так быстро, что никто не успел рассмотреть, какое это мясо.

— Где ты взяла? — хотела спросить ее племянница Очида, но как-то осеклась, и вопрос замер у нее на устах. Лицо у старухи было странное, жуткое, и было очевидно, что она не ответит на вопрос. Котел закипал, двенадцать пар глаз напряженно и со страхом следили за ним, и вдруг закипавшее мясо стало ворочаться и подскакивать, как это нередко бывает при варке над жарким костром, и из котла неожиданно высунулась ручонка, показались пять маленьких пальцев, судорожно стиснутых вместе в небольшой кулачок.

Тогда раздался страшный крик. У мальчика не было матери, и за ним ходила его старшая сестра Шан-хаха («девушка-дерево»). Увидав кулачок, она одновременно заметила, что маленького Шилги нигде нет. И тогда она крикнула. Старуха ничего не сказала, сняла котел с огня, вынула большой шумовкой человеческое мясо, выложила его на корыто, как это делают с мясом оленьего теленка, и стала раскладывать на части. На двенадцать человек приходилось двенадцать частей. Страшную голову ребенка, с лопнувшими глазами и облезлыми волосами, она не пустила в дележ, а положила на пластинку березовой коры и унесла в лес. Люди ждали в оцепенении. Курынь вернулась к столу, держа в руках двенадцать берестяных полосок, и стала перекладывать на белую бересту человеческое мясо. Потом обнесла и раздала ожидающим порцию за порцией, кусок за куском. И так вышло, что на долю Шан-хахи выпала та самая детская ручка, которая так устрашила всю семью.

— Оставь! — крикнула Шан-хаха и хотела оттолкнуть ужасную пищу, но старуха ничего не сказала и вытащила из рукава длинный блестящий и узкий ножик из кованой стали.

— Ешь! — продохнула она и подняла в руке, судорожно стиснутой, отточенный клинок. Все стали есть, как заколдованные. Племянница старухи, Очида, глодала плечо, а несчастная Шан-хаха объедала ручонку своего собственного любимого братишки.

В эту ночь старуха победила свое племя и подчинила его своей обезумевшей воле. Никто ничего не говорил, никто ничего не решал, но страшная старуха

стала как будто злым духом, который тоже питается человеческим мясом и особенно охотно поедает маленькие сладкие душонки одунских мальчишек и девочек.

После страшной еды ждали еще десять дней. На промысел уже не ходили и сидели в шатре, чего-то ожидая. На десятую ночь старуха разбудила Очида, сунула ей в руку свой блестящий, остро отточенный нож и указала глазами на девочку Чунду, которая спала в углу. Очида послушно поползла и сделала с Чундой то же, что злая Курынь сделала раньше с мальчишкой. Однако не зубами загрызла, а в горло кольнула ножом. Очиде казалось, что это ползет не она, а старуха. И жадность старухи поет у Очида в горле, и рука старой Курыни водит ее молодой рукой. И наутро так же точно сварили, разделили и съели это страшное мясо, и никто уже не крикнул, никто не отказался.

И так они жили одиннадцать недель, убивали и съедали малых и больших, женщин и мужчин, из шатра никуда не ходили и промысла не стали искать. Уже подломилась голодная весна и собиралось пролиться обилие горячего лета. В тополевых рощах заплакали зайцы, и в таежных озерах заплескались ходовые чирьи (рыба). Но последние люди Балаганчиков в промысле уже не нуждались. Они были как злые духи и не имели возврата назад, к человеческой жизни. Резали добычу женщины, Очида и Шан-хаха, по указке старой Курыни. Зарезали и съели старика, престарелого дядю Очида,—все равно от стариков пользы нет. Остальные мужчины не спали по ночам, затаивши дыхание, и ждали, опасаясь, не настала ли их очередь.

Старуха Эмеи наконец очнулась и стала рассказывать дальше.

Был мальчик, по имени Кендык, вот так же, как этот Кендык, из вашего Заячьего рода, такой же молодой и такой же удалый добычник. Четыре ночи не спал Кендык и все сторожил людоедиц и увидел наконец, как Очида ворохнулась, тихонько достала из рукава

длинный нож,—его деревянная ручка была в черных пятнах от пролитой крови. Очида потихоньку поползла, как злая росомаха, к несчастному Кендыку. И Кендык не выдержал, крикнул, выскочил вон из шатра, не дверью проскочил, а прорвал ветхую покрывку из полусгнившей замши. Скатился с угора на реку. Река уже вскрылась, и даже прошел ледоход, и только последние мелкие льдинки говорили о долгом и скучном голоде снежной зимы.

Кендык сразбегу кинулся в «ходол»¹, оттолкнулся от берега, как ветка, подхваченная ветром, и поплыл вниз по течению. Загребая налево и направо двухлопастным веслом, он еще не проехал и четверти плеса, как сзади услышал погоню, плесканье таких же двухсторонних весел и крики:

— Стой, погоди!

Это старуха Курынъ и страшная Очида догоняли его в челноках, таких же быстроходных, и кричали:

— Погоди, погоди!

Три долгих плеса гнались людоедные женщины за молоденьким Кендыком, приказывали ему подождать, просили, умоляли и читали заклинания, которые силою духа-помощника отнимают быстроту у гонимой добычи,—мохнатой, четверокопытной или двуногой, голошерстой.

Старуха замолкла. Перед глазами ее, на расстоянии полвека, живо встала картина бегства мальчика от обезумевших преследователей.

— Я в то время была у Балаганчиков,—пояснила она,—но только в другом полуроде, оттого меня не съели.

Кендык уплыл, бабы покричали и отстали. Два десятка дней спускался перепуганный мальчик по реке Омолону, добрался до самого устья и попал в руки русским. И начальник допытался о голоде народа и о пище, которую он ел.

— Ты сам тоже ел? — спросил он у Кендыка.

Кендык поник головой.

— Товарищей мясо жевал, а своим поступиться не

¹ Х о д о л — челнок, сшитый из трех досок.

хотел? — настаивал начальник. — Будем судить тебя и судить твое племя — людоедных старух.

И Эмеи опять завела:

Осенью исправник послал казаков к омонским одунам. Они шли два месяца наперерез огромных рек и добрались до страшного шатра. Людей в шатре не было. В углу и за углом валялись разбитые кости, расколотые голени, раздвоенные черепа. Их глодали песцы, и нельзя было ясно разобрать, сколько именно съели одуны мужчин и женщин, и подростков, и маленьких детей. Две людоедные женщины, Курынь и Очида, остались последними. Их никто не зарезал, но живы они не были и лежали в углах, вонючие и темные, и песцы обглодали их лица и стали понемногу отгрызать и растаскивать кости.

Присудить их к наказанию не мог даже сердитый начальник. Казаки собрали передеенные кости в большой берестяной туес и зарыли его в землю. Берестяной туес стал безыменной общей могилой.

Зато Кендыка начальник послал на съедение русским. Его посадили в холодную избу, приковали к стене, и два года он не видел солнца, не втягивал свежего воздуха. Кендык не вытерпел и умер.

Старуха рассказывала эту страшную повесть отрывисто, частями, и как будто не другим, а себе.

— Так было, так будет, — сказала она. — Было две Курыни, два Кендыка, но только Чобтагира не было у тамошних зайчат. Был там Чобтагир, но задолго до голода умер. Он был любопытный, многознающий старик. При нем бы такого не случилось. А наш Чобтагир только глупый и злой, не может унять никого: ни духов, ни людей.

— Молчи! — крикнул Чобтагир страшным голосом.*

Эта ужасная легенда или быль была известна многим. Она веяла над племенем одунов, как дыхание смерти. Тогда были люди-людоеды, теперь духи-людоеды просят у племени жертв. Перед глазами Чобтагира проплыли страшные фигуры с зубастыми па-

стями и когтистыми лапами. Им нужно мягкое, нежное мясо, детское, девичье, женское. Но девчонок, пригодных для жертв, старухи не дадут.

«Кендык», — подумал Чобтагир, но и первого, старшего Кендыка духам съесть не удалось. Его доели русские, далекое начальство.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лыжные охотники погибающего племени выгнали из леса на твердую тундру обрывок оленьего стада. Было оленей штук двести, не то они были дикие, не то одичавшие, отвыкшие от общения с людьми.

Все же у одунов оказалось весеннее мясо, и можно было забыть на время о страшной работе людоедной старухи Курыни.

Вскрылась река. Появилась хорошая рыба, ходовая и жиловая. Но не было попрежнему ни чаю, ни муки, ни — о горе! — табаку, хотя бы на единую жвачку, на малую затяжку из трубки, и уцелевшие охотники стали говорить: «Довольно сидеть, чего еще высидим? Идем за товаром на Родчеву. Не приходят якутские торговцы. Сами пойдем, отыщем, силою притащим».

В последний июньский день, когда ошалевшее солнце три недели бессонно бродило по небу, на верхнем плесе увидали мелькание отблесков. То были отблески шестиков. Кто-то поднимался в челноке снизу наверх, толкался в ослепительном небе. Кто-то шел оттуда, где было жирное якутское масло и сладкие дорогие русские продукты. Одуны молча ждали у реки. В вертлявом челноке, долбленом из осины, приехал человек, маленький, тощий, в замшевом кафтане, с длинными и тонкими руками и ногами. Они были такие прямые, что думалось, может быть, это и есть деревянные шесты, и этими шестами толкался пришелец о тинистое дно.

— Здравствуй, Багылка! — окликнул Шоромох с важностью в голосе.

Это был нищий из нищих, сирота Багылай (Васи-

лий), откупленный раб, иждивенец якутского князя Чемпана (Степана) на Родчевой. Багылай был не якут и не одун, был он из племени эвенов, что ничуть не богаче и не лучше погибающих одунов. Здешние эвены некогда ездили верхом на оленях. Но оленей они съели и стали поневоле ходить пешком и вышли с последним оленным караваном на богатые якутские заимки по многопокосной Родчевой. Тут они жили, как чорт пошлет, выпрашивали у жирных якутов рыбные кости и объедки, ковали им ножи, когда было железо, нищенствовали, унижались и все больше должны были якутам. Отец Багылая, Оляшкан (Алексей), тоже задолжал толстомордому князю Чемпану, не выдержал долга и умер.

Весною якутская «управа» в уплату многотысячного долга распродала имущество покойного Алешки, а главное — детей его: тоненьких, проворных, из охотничьего племени.

Эвены даже пешие превосходят в охоте конных якутов. Багылай был из хорошего охотничьего рода, улавливал искусно горностаев и, случалось, ходил на медведя один-на-один, с кремневым ружьем и рогаатиной.

Он выскочил на берег, вытянул челнок за собой.

— Говори,— приветствовали его хором несчастные одуны.

— Накури нас,— позвала Курынь.— Три месяца табаку не пили, утроба вопиет.

Иждивенцы у богатых якутов все же перехватывали порою хотя бы листок табаку. Они были удачливее захолустных одунов, навсегда бестабачных.

— Молчи, не дразни,— не выдержал и фыркнул на жену Чобтагир.— Какой табак может быть у злосчастного якутского раба?

Эвен, однако, вынул из-за пазухи кисет, и одуны с замиранием сердца увидели, что кисет объемистый, раздутый какой-то начинкой.

С важным видом Багылай вынул из кисета два больших табачных листка, разорвал на частички и стал оделять присутствующих.

— Мэ, курите.

— Где взял? — спросил пораженный Шоромох.

— Хо, у хозяина...

— Как раздобылся, — радостно сказал старик, — поеду и сам тоже возьму.

— Вот мы поедим сейчас.

Багылай покачал головой.

— Незачем ехать, — сказал он спокойно. — Хозяина не стало.

— Как не стало, куда не стало? — спросили оживленные одуны.

— Забрали его, — подтвердил эвен. — Далекo увезли.

— Кто забрал?

— Русские советчики забрали, с винтовками, с ножами.

Воинственный дух вспыхнул в глазах у старика.

— А вы отчего не заступились? — сказал он задорно. — На Родчевой есть ружья.

— Нет, — сказал эвен. — Те ружья не для нас, а против нас. Довольно нашей крови выпил Чемпан. Пусть попробует теперь, когда кровь из самого потянут. Съели нас.

— Что ты такое говоришь? — спросил с удивлением Шоромох.

— А то говорю. Даже кобыла лягается и корова бодается, а разве человек хуже кобылы и коровы? Мы с русскими, советскими, не станем воевать. Пришли, попросили словить пузатого Чемпана. Он кстати же из Родчевой бежал и лесами собирался пройти на высокую Мому, но мы его словили, как ловят бесхвостого зайца, и отдали его русским, советским.

— Да что за советские русские? — почти завопил Шоромох. — Мы знали, бывают начальники русские и русские казаки, и русские торговцы, а это какие советские, новые русские? Отчего они советские?

— Большие, советские, — сказал Багылай. — Большиски, большаки... Большие почему, ты сам понимаешь, — большие, великие, сильные. А советы оттого, что везде собирают советы, русские, якутские, эвенские советы. Сами ничего не решают, решают советы. А еще особая такая... Особые люди. Те крепко реша-

ют, дважды их ум не идет. Что скажут — то ладно. Как раз. Их все слушают.

— Понять ничего не могу, — сказал Шоромох упавшим голосом. — То без советов ничего не решают, а то советы слушают особую такую.

— Отчего она такая? Отчего ее слушают?

— Оттого, что она умнее всех, — сказал Багылай с важным видом.

— Путаешь ты, — сердито возразил Шоромох.

— Самые умные, самые старые, самые дельные¹, — старался объяснить Багылай. — Есть посредине земли город такой Керемле, а река у него Маськува, — там в Керемле живут, на реке Маськуве, оттуда направляют. И еще называется «советски власть», а другие называются «кам», «каму...», «каммунысты», «партия».

Он выговаривал незнакомые слова довольно чисто, так что, быть может, и русский пришелец из «Керемле» мог бы уловить их настоящее значение.

Лицо Багылая осклабилось улыбкой.

— То — старики, самые умники, а есть и молодые. В нашем городе есть молодые: якуты, эвены, русские, всякие есть. Они медвежата для старых медведей, а имя такое же: «кам...», «ком...», «камчом...», «камчомол».

Одуны устали слушать непонятные слова.

— Будет тебе: кам, ком. Ты толком скажи, что у вас было? Кого забрали? Чемпана забрали, другие как? И как это вышло, скажи.

— Приехали такие молодые, в шапках горшками, рожнами, кожаные куртки, сапоги, и лица безбородые, вроде как у нас, ни одного бородатого. Бритые усы. Один был якут настоящий. Говорил по-якутски, совсем как настоящий «житель». Но только и этот якут особенный.

«Приехали, заехали в улусную² управу, к Лупандину. Лупандин, вы знаете, писарь толстый такой, напился нашей крови, как клещ, его взяли, вышибли из

¹ Некоторые сибирские народности называют коммунистическую партию — Умнейшие или Старейшие, Деловые.

² У л у с — род.

дома: «поди вон», говорят. Наутро собрали суглан¹, и сначала по-старому пошло, скотистые люди пришли, тойоны-князьцы², собиратели мехов, многооленные торговцы, почтари³. Много их, а с ними их братья, приказчики и всякий, кто ест от них и пьет от них. Много пришло, полную управу набили, сесть некуда, стоят. Старым да богатым Лупандин приготовил скамейки. Тут вышел русский начальник, а с ним тот якут.

«— Все пришли?»

«— Да, все стоящие!— А тот якут поглядел, кафтаны у них крепкие, шапки у них лисьи, конские сары⁴ на ногах. Лица у них толстые, брызнуть хотят.

«— Вот они какие,— говорит,— словно быки кормленные.

«— Все стоящие,— еще раз сказал Лупандин.

«Якут засмеялся и говорит:

«— Ну, позовите нестоящих.

«А уж там на дворе шум, крик. Откуда-то люди узнали и пришли. Малоскотные люди. Долговые по сену, по быкам, по лошадям. Чужие пастухи-погонщики, чужие косари. Воят на улице: «Пустите и нас!»

«Двух послали к начальнику: Кирика да Микшу. Кирик-то — олений пастух, а Микша — сенокосный человек. Летом заказы берет, а зимой обрабатывает.

«— Не слушай этих толстых,— говорят.— Нас тоже послушай.

«А начальник говорит:

«— Пускать вас некуда, мы лучше сами к вам выйдем.

«Вышел, спрашивает:

— «Люди, скажите, какая ваша главная обида?»

«Один кричит:

«— Покосы и земли верните, улусные покосы все

¹ Суглан — сход.

² Тойон (князец) — родовой начальник. Скотистый — богатый скотом.

³ Арендаторы почтовой гоньбы.

⁴ Сары — мягкая обувь особого покроя, чаще всего из конской кожи.

захватили богачи! Нашим лошадям копытом некуда ударить...

«А другие кричат:

«— Долги надо скостить, пропадаем от процентов! Что больше платим, то больше остается.

«А тут подваливает новая сила: иждивенцы — хумаланы, молодые мальчишки — рабы. И не то якуты, а всякие: наши эвенские есть и ваши одунские, взятые за недоимки.

«И женщины, веришь, пришли, и безродные старухи. Кричат:

«— Напитайте нас!.. Мы век по веку досыта не ели.

«И младшие тоже, молодые продажные сироты. Кричат:

«— Оденьте нас! Зимой и летом голые ходим.

«И показывают приезжему начальству въявь, как они голые ходят.

Этим рассказом одуны были захвачены. У них накопилось обид не меньше, чем в якутском улусе. Они были его частью, окраинной, самой обиженной, бедной, голодной. И вместе с иждивенцами им тоже хотелось кричать: «Напитайте нас, оденьте нас. Мы век по веку досыта не ели».

— Как дальше было, говори!

— А дальше начальник говорит:

«— Надо совет выбирать. Кто у вас прежняя управа? Князьцы — князьцов долой, секретарь — секретаря долой, совет — их совет долой. Новый, наш выбирай. Десять человек. Молодых выбирайте, годных для общественного дела.

«Поднялся страшный крик. Толстобрюхие все обозлились, кричат:

«— Чемпана выбирай! Лупандина хотим!

«А пастухи и сенокосцы кричат:

«— Кирика да Микшу, своих хотим поставить!

«А иждивенцы кричат:

«— Поставьте Петра — старика, он хоть старик, да лучше молодого. Он человек справедливый. Он и для нас оторвет у этих толстобрюхих и масла и мяса.

— Ну, дальше, — торопили одуны.

— А дальше пошло хуже. Кирик да Микша наскандаливают на Чемпана:

« — Ты общественный скот продал и почтовых оленей украл.

«А Чемпан, такая гадина, пошел напролом, кричит на самого начальника:

« — Кто ты такой, мы тебя не знаем! Другие приезжали, к князьям уж всегда уважительные. А ты слушаешь всякую грязь, небывальщину, замаранных людей.

«А русский говорит:

« — Не знаешь меня, так узнаешь. Кирик да Микша — они правду сказали, тебе это не пройдет даром.

« — Возьмите его!

«И двое таких, в суконых рожнах, сразу подхватили Чемпана под руки, потащили в холодную.

«И другим богачам говорит:

« — Вам то же будет.

«Присмирели толстобрюхие.

« — Теперь выбирайте совет.

«Выбрали пять человек: Кирика да Микшу, это уж так, разумеется, да старого Петра, да старуху Багилису Чубучиху. Да молодого иждивенца эвенка¹ Оляшкана. А к ним все-таки богатого Викешу, Чемпана брата (двоюродного брата). А в секретари, верите, того же Лупандина. А якут говорит:

« — Не надо Лупандина, я сам буду для вас секретарем...

— Дальше, — настаивали одуны.

— А дальше пошло по-худому, — сказал Багылай. — Чемпановы братья ночью открыли холодную, вывели Чемпана из холодной, ружья разобрали из склада, взяли лошадей, ускакали. А кто-то попробовал лучшую юрту поджечь, где были гости. Да мерзлые плахи, такие снежистые, не загорелись. Так началась у нас война...

— А теперь как?

— Так и воюем. Они нас донимают, мы их донимаем. Вот Чемпана словили. Весь скот ихний разо-

¹ Эвенки — ламуты, эвенки — тунгусы. Оба племени родственны друг другу.

брали, поделѣли, который съели, который пасем. Их зло берет. Прячутся, с ружьями ездят. Скота у нас нету, за лошадиную голову две человечьих берут. Пошла поножовщина, война.

— А Чемпана кто словил? — спросил с интересом тоненький охотник Мамакан.

Он был с виду не больше и не толще Кендыка. Лицо у него было детское, словно пятнадцатилетнее, а на деле ему было под сорок, он убил на веку больше десятка медведей. В зимнее время в берлоге, а в летнее — прямо под деревьями.

— Кто Чемпана словил? Я словил, — с важностью ответил Багылай. — Мы, ламуты, иждивенцы.

«Он, видишь, приехал на заимку. Там были коровы, мы их пасли. Приехал, пообедал, флягу с аракой достал, поднес по стаканчику. Удивились, отчего он такой добрый. Спрашиваем:

« — Что слышал? Говори.

«А он отвечает:

« — Ничего не слышал.

«А потом рассердился, даже лицо почернело, и крикнул:

« — Не будет того, чтобы русские стали законом! Забрать у тойонов и отдать хумуланам! Безобразие такое!

«А мы слушаем, не понимаем: как это забрать и отдать?

«А при ихних дорожных конях приехали два пастуха. И они нам рассказали, что и к чему.

« — Натерли ему холку, — говорят. — Сала слупили от жирного чорта. Сбежал от начальства, супротивник.

«Вот так-то иждивенцы поступают в улусах и управах...

«А мы себе сказали: «Мы тоже так поступим». И собрали суглан, ночью, под луной, потихоньку. Ждать, говорим, не надо, пока не очухался. Мы тоже заберем и тоже отдадим. Мы скот заберем и главную скотину, безрогого хозяина. Прямо к Чемпану пришли, скрутили ему руки. Он сперва отбивался, брыкался, кусался. Так меня снизу укусил, потом запросил:

« — Отпустите меня, по лошади дам.

«А наши смеются.

« — Где возьмешь? — говорят. — Отошли от тебя и коровы и лошади.

«А он говорит:

« — Лобанчиками¹ не поспею, только отпустите.

« — А, лобанчиками...

«Вот стали обыскивать его. Одежу-то пороли, кожу его собственную хотели подпороть. Нашли его золото. Защито не в одежду, а в конское седло.

«Повезли его к начальнику, в Родчеву. Два дня ехали, подъехали к Родчевой, тут выскакали к нам главные Чемпановы родовичи, племянники и братья со всей командой. Ружья у них. Постреляли, побили нас, отняли Чемпана. Брата Чемпанова мы тоже убили. Племяннику брюхо подпорол, а сам Чемпан ушел.

«С тех пор идет у нас круговая ловитва, гоньба. Сегодня мы их гоним, завтра они нас гонят. Конца-края этой гоньбе не видно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Гостя накормили оленьим мясом, оно было «загорелое», лежалое, с запахом, с мыльным налетом. Но это было привычно для всех, для юдунов, эвенов, якутов и для северных русских. Даже приезжие с юга чиновники быстро въедались в эту северную пищу и жирную рыбу с запашком, примороженную в зимнюю стужу, явно предпочитали свежей.

Одуны накурились табаку в первый раз после многомесячного перерыва. Курили все сразу: мужчины, женщины и дети, даже мало примешав в табак скобленого дерева. Единственный кусок сахара, привезенный эвенком, не белый, а серый от грязи, не стали делить, а просто положили на шкуру и долго сидели и смотрели на него. Он был слишком мал, чтобы делить его: кому его отдать?

¹ Лобанчики — золотые червонцы.

— Деду-покровителю,—предложил Чобтагир.

Но все ответили молчанием. Отдать сахар деду — значило отдать его самому шаману.

Шоромох не выдержал и стал возражать двоюродному брату:

— Гостинец — от русских. Зачем нашему деду русские гостинцы? Пусть ест свои.

— Его горло тоже хочет чужого,— повторил Чобтагир обиженным голосом.

Он чувствовал щекочущее желание острого, сладкого, чужого в своем собственном горле. Это желание было такое острое, что он ощущал его как чувство самого божественного деда-покровителя.

— Реке отдадим,—выступил Шоромох со встречным планом.— Она — наша кормилица, рыбу нам дает, сладкая рыба, и сладкое за сладкое.

Река-кормилица была женским божеством, но предводительница женщин, молчавшая доньше Курынь, выступила с предложением более близким к интересам текущей минуты:

— Маленьким детям отдадим, на них хватит.

— Скольким? — спросил деловито Шоромох.

— Всем одиннадцати,—ответила Курынь.

— Нет, четверым,—возразила Кия.

Она имела в виду самых маленьких детей, двухлетних и трехлетних. Было их четверо, и всех их кормили грудью матери, одного из них кормила сама Кия.

В голодное время это доставалось им трудно, и несчастные матери так исхудали, что были похожи скорее на живые манекены, костлявые скелеты, обтянутые бурюю кожей, с мешками висящих грудей. Дети все-таки жили, высасывали жидкое молоко из этих полуссохших кожаных мешков.

— В воде разведем, пусть будет вроде вина,—предложила другая мать, Отолия, но при слове «вино» все племя пришло в необычное возбуждение.

— Мы сами выпьем,—кричали мужчины,—весь век не пробовали, выпьем, захмелеем.

Старуха Карито даже заплакала от жадности.

Победило массовое предложение. Драгоценный кусок сахару растворили в котелке горячей воды, потом

остудили, и все подходили с важным видом и выпивали по малой оловянной чарке.

Охмелеть одуны, положим, не охмелели, но все же пришли в прекрасное настроение. И стали приставать к приезжему с вопросами:

— Какие большаки, вправду ли они большие, или такие же, как все люди? И если они большие, зачем прислали такие маленькие гостинцы?

— Они не прислали,— сказал обидчиво эвен.— Я сам привез. Они еще даже не знают о вас.

— А зачем не знают?— ворчали одуны.— Должны все знать, если они «умнейшие».

Это было новое неслыханное требование. О прежнем начальстве никогда так не думали. Мечтали о том, чтобы оно забыло об одунах со своими постоянными требованиями ясаков и уплаты долгов, дорожных, рыбных повинностей. А от этого нового правительства, еще не зная его, уже требовали заботы и внимания.

— Отчего «большаки» не приехали? — спросил Шоромох уже прямо.— Тебя послали. Они большие, ты маленький.

Эвен усмехнулся.

— Так старые люди сказывали. Вот и я вам расскажу. Шел по лесу стрелец и набрел на землянку, дверь отодрал, а в землянке дед лежит, такой длинный, изогнутый, голова на пороге и ноги на пороге. «Ты кто таков?» — спрашивает дед.— «Я — посланец». — «А кто послал?» — «Князец послал!» — «К кому послал?» — «К тебе послал!» — «Зачем послал?» — «Скажи,— говорит,— пускай придет пирога поесть». — «А велик ли пирог?» — «На три леса, на четыре реки, на семь болот». — «А кто его везет?» — «Олень везет». — «А велик ли олень?» — «Голова на Индигирке, а хвост на Колыме». — «А велик ли князец?» — «Если шапку наденет, за небо заденет». — «Пирог велик, князь велик, олень велик, ты зачем мал?» — «А я вчера родился, сегодня на дело годился. Я еще не вырос». — «Ну, ладно, ступай. Скажи: либо буду, либо нет». Вот и я еще не вырос,— сказал эвен при общем смехе.— Но я расту.

— Пересядь ко мне,— предложил отрывисто Чобтагир.

Это было почетное внимание, поскольку божественный служитель был наиболее почетным членом одунской общины.

— Отвечай, о чем спрошу тебя. Скажи, «большие» вызывали попа из Верхне-Обединского острога?

В устах шамана это был вопрос профессиональный.

Верхне-Обединский острожок был упразднен и покинут за ненадобностью уже столетие назад. Еще уцелела церковь. Правда, последний поп, служивший в этой церкви, тоже умер лет десять назад. Но от него остался семейный корень, дочери, все незамужние, пять девиц. Поповские дщери вели свое девичье хозяйство по всем правилам северного производства: рыбу ловили, ставили капканы на лисиц, даже на белок ходили с ружьем. И хотя не имели мужей, но все же рожали детей. Обличье у детей было разное: у одних — подходящее к русскому, у других — подходящее к якутскому, с широкоскулыми лицами, обтянутыми коричневой кожей. У третьих было даже эвенское обличье, тщедушное, сухое, как у птиц. Но дети у девиц не держались и мерли, и в усадьбе на всех пятерых оставался только мальчик Алеша, последний сынок последней младшей дочери. Он был хилый, с кривыми и слабыми ногами, пожалуй, немногим получше последнего русского царенка, Алексея Романова, с которым он, случайно, совпадал и по имени.

Рядом с поповской усадьбой жило семейство обединского дьячка. Дьячок Парфен был старый, лет за шестьдесят, но для своих лет еще совсем бодрый. Он был неграмотен и плохо говорил по-русски. Но иногда все же помогал попу при службах, даже «Апостола» читал,— конечно, наизусть, не глядя в книгу и почти ни слова не понимая из кудрявых фраз церковно-славянского наречия.

Лет пять после смерти попа церковь стояла без службы. Но в последние годы Парфен осмелел и стал справлять службу,— правда, редко и только в

большие праздники. Но служил он по-своему, в сущности, не служил, а шаманил.

Он отобрал три иконы: Николу-чудотворца, Спаса и спасову мать. В церкви был ильинский престол, но икону Ильи-пророка Парфен отверг: сердитый Илья, жутко смотреть на него, укусит Илья.

Избранников своих Парфен расставил на полу рядом и поставил пред ними угощение: свечей и ладану у него и в помине не было; но он налил стеклянную лампадку рыбьим жиром и запалил фитиль из моха. Кругом лампадки была пища: вареная рыба и мясо, колбасы, пирожки и другие туземные блюда. Парфен плясал перед богами, прыгал, уговаривал их: — Ешьте больше, ешьте и нам тоже давайте!

Эти своеобразные празднества привлекали эвенков и даже богатых якутов. Все приходили и приносили дары, не только рыбу и мясо, но и белок. Под церковно-шаманскую службу подводилась, таким образом, прочная экономическая база.

Церковную службу Парфен, как указано, справлял дважды в год: на пасху и на рождество. В другое время он тоже служил, но уже не в церкви, а у себя в избе. У него был собственный бубен, не хуже шаманского, и он призывал по порядку различных богов: эвенского Гауки, якутского Белого бога и русского Спаса Милостивого. Чтобы разговаривать с ними, он вызывал духов-переводчиков, по одному на каждую народность. Одунские духи говорили только по-одунски, эвенские — по-эвенски.

— Часовню раскрывали? — настойчиво спрашивал Чобтагир.

В Родчевой была часовня — деревянный сруб с крестом на крыше. В часовне порой служил настоящий поп, проездом из Средне-Обединска.

— Часовню раскрывали, ага, — подтвердил эвен, — даже богов всех повытаскали наружу. Большие не верят российским богам. Это, говорят, все обман, деревянные доски, обираловка. А Парфена как вызывать стали бы? Он, как весть получил, ушел от больших, схоронился в лесу.

Одуны молчали в удивлении,

— А может, они любят наших здешних божков, душков маленьких!— сказал Чобтагир несмелым, просительным тоном.

Эвен покачал головой.

— Наших тоже бранят, особенно шаманов. «Не верьте им,— говорят.— Обманщики они, все только зря обируют вас».

— А какие же у них собственные боги?— спросил Чобтагир.

— Богов у них нет своих, есть человек самый большой, оттого и зовутся большие. Имя тому человеку Ленин.

— Живой?— спросили все с огромным интересом.

— Был живой, а теперь покойник. Однако он есть и ныне, помещается в городе, лежит в гробнице, сторожит свои большие дела.

Это одуны поняли. Им было близко чувство почтения к покойному герою.

— Постой,— припомнил неожиданно Шоромох.— У русских в срединном городе еще белый князь был, солнцеликий господин. А он теперь где? Он, знаете, был ледяной, а не солнечный, и дом у него был тоже из нетающего льда¹.

— Слыхал, уничтожили его,— сказал эвен.— Солнце поднялось, лед растаял, и стала лужа.

— Кто был на месте его?

— Ленин,— повторил эвен. Он оба раза повторил это имя совсем чисто. Его легко произносить на различных языках.

Молодежь сидела молча. Ей не следовало вмешиваться в разговоры старших. Но при втором повторении этого звонкого имени у мальчика Кендыка почти произвольно вырвался вопрос:

— Какой Ленин, видеть бы его...

— У меня есть лицо,— сказал эвен с таинственным видом.

Он порылся в свой берестяной табачнице и достал оттуда оборванный листок помятой и запачканной бумаги.

¹ Нетаящий лед — стекло; солнцеликий господин — царь.

— «Исколу» затеяли большие для якутских детей,— сказал в пояснение эвен.— Такие бумажки привезли, детишек заманивать.

Листок представлял обрывок букваря. На листке было лицо, знакомое всему миру; даже сибирские туземцы в наиболее глухих захолустьях прямо говорили «лицо», так же, как некогда греки в Александрии тело Александра Македонского, находившееся в мавзолее, просто называли «сома» — тело.

Под лицом было пять знаков, непонятных для одунов. Кендык ткнул пальцем в знаки.

— Дай-ка сюда!— Он разложил листок и с пылающим взглядом стал быстро срисовывать лицо и знаки.

Он рисовал на белой бересте тонко речинным кусочком березового угля, но лицо вышло у него похожим, а знаки совершенно тождественными. Северные народы вообще обладают большими художественными способностями.

— Как сказал ты? Ленин?— переспросил он опять.

— Вот, вот, вот, вот, вот: Л-е-н-и-н.

Он разделил без учителя указанное слово на пять звуков, и каждый из них соответствовал одному из пяти знаков. После того он быстро перевернул бумажный листок на другую сторону, где тоже были рисунки и слова. Там были нарисованы мелкие олени группами: один, два, три, четыре. В таком же точно роде ацтеки в Мексике записывали счет головами индеек. Под группами мелких оленчиков стояли цифры: 1, 2, 3, 4, а внизу была общая подпись тоже из пяти знаков, и, всматриваясь в них, Кендык с удивлением увидел, что они очень похожи на знаки предыдущей страницы. Он даже прочел их: л-е-н-и, а пятый знак стоял впереди и был похож на кружок или на открытый рот. Кендык открыл рот, сделал его круглым и почти произвольно выговорил «о». И вышло, таким образом, второе слово: олени. Второе слово, написанное на неизвестном языке незнакомыми знаками, расшифровал по-одунски мальчик.

— Ух, хорошо,— сказал он с увлечением.— Новые слова. Еще какие есть слова?

— Не знаю,— признался эвен. Потом подумал и прибавил: — Ну, скажем,— совет, большаки.

— А знаки какие? — настаивал Кендык.

Эвен опять подумал.

— Вот я тебе дам еще бумажку. Взял на цыгарки, да уж пусть.

Он достал из табачного кисета обрывок газетного листка.

— Вот,— показал он. В заголовке стояло слово с теми же знаками: Ленин. Вторая половина была незнакомая, но эвен подумал и сказал: — Ленинград.

— А что это «Ленинград»? — настаивал мальчик.

— Город Ленина,— ответил эвен.

Ум его был такой же острый, как у одунского мальчика, и он успел нахватать от приезжей комиссии обрывки слов и знаний.

— А вот это советская метка,— сказал эвен; он достал из-за пазухи другой листок с рисунками, тоже для школьного употребления.— Вот видишь, это советская метка: горбушка да молот.

— Горбушка для чего? — спрашивал Кендык.

— Хлеб стричь.

Якуты косили сено кривою неуклюжею горбушей, которую каждый раз приходится заносить через голову. Она дает прокос круглый и неровный, с большими прорехами, там, где сходятся разные круги. Маленькой горбушей — горбушкой — якуты называли стальной серп, который тоже был кривой, но гораздо короче горбуши. Другое имя серпа было «колосогрыз».

— А зачем горбуша и молот? — спросил с интересом мальчик.

— Горбуша для хлебных работников,— объяснил эвен,— а молот — для работников железного дела.

— Ах,— сказал с уважением мальчик,— ты все знаешь.

Эвен погостил и уехал, но жало его рассказов осталось в душе восприимчивого мальчика. Целыми часами он рассматривал рисунки на листах, неровные газетные строчки. «Как они бегут,— думал он.— Длинные-длинные, узкие-узкие, а все рядом. Какие слова тут напи-

саны?» Он упорно разглядывал газетный листок, стараясь разыскать знакомые ему знаки.

«Вот Ленинград, вот еще раз Ленин. Кто был Ленин, откуда он взялся, и каков его город? Как попасть в Ленинград? На запад, далеко, далеко, вниз по воде. Все доброе восходит от устья, вверх по воде, все хорошее восходит по воде, и нечего ждать, надо спуститься вниз по воде, навстречу хорошему. Так же и с запада: раньше приходило все худое: злые начальники, казаки, злые болезни, обманщики-купцы, а теперь все, видится, стало по-новому: с запада стали приходиться какие-то новые, неслыханные вести, большие работники, Ленин, большие приказы: «богатство отнимите от купцов...» Город Ленина... Можно ли попасть в город Ленина, перейти через пустыни, спуститься вниз по воде и далеко идти? Жирная рыба тоже восходит от устья, вверх по воде, а осенью тощает, спускается вниз по воде и дохнет по дороге. Трудно идти по воде. И, может быть, если пойти по воде, то издохнешь, как тощая рыба. Ух, не знаю!.. Как бы узнать?..»

Мальчишка в недоступной одунской глуши, от случайного слова проезжего эвена, от газетного обрывка, почувствовал жажду перемен, любознательное желание узнать что-либо новое, прыгнуть в это новое, как в прозрачное озеро, плавать в нем и забыть навсегда о своей унылой, постылой, голодной жизни.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На заимке Спиридона Кучука, зимою и летом, рано поутру начиналась обычная возня. В хотонах (хлевах) мычали коровы, ревели быки, и телята стучали недовольно в деревянную дверь своим деревянным ошейником, который не давал им высасывать ночью коров. Все хотели есть и пить, коровы стремились избавиться от молока, накопленного за ночь, и требовали, чтобы их подоили. В зимнюю долгую ночь, задолго до рассвета, и в летнее бессонное утро, когда, утомленные незаходящим солнцем, засыпали даже птицы на ветках, устав от хлопот, щебета и писка,—вставали

домашние работники старика Спиридона и начинали свой бесконечный трудовой день, который был много труднее и хлопотливее, чем у небесных птиц. Настоящих работников Спиридон не нанимал. Все его работники были иждивенцы, беспризорные сироты, должники, недоимщики, попавшие к нему в кабалу по решению наследного¹ суда без всякой надежды когда-либо выбраться на волю. Их было пятеро. Старуха Манки и другая, помоложе — Хаспо — достались Спиридону просто даром, за кормежку. Впрочем, есть им давали очень мало. Они объедали и обсасывали рыбы кости, оставшиеся от хозяйского обеда, пили ополоски кирпичного чая, а в летнее время — снятое молоко и ели самую худую, жидкую кислую сорат (простоквашу).

Был Капитон, недоимщик-сосед. Старик Спиридон платил за него ежегодно тридцать рублей в наследную управу. То была плата за мертвые души, за родичей, которые числились по сказкам и которых давно уже не было на свете. Было еще двое прибудных парнишек, роду неопределенного — не то эвенов, не то эвенков.

В ужасный голодный 1916 год, когда недовоз пороха для ружей и нити для вязания сетей вызвал на Севере повсюду недобой лесного зверя и недолов рыбы, где-то в далекой тайге полевая семья доела последних оленей и, не зная, что делать, вышла к ближайшему якутскому поселку. Пошли вместе две семьи, таща на себе сани, на которых лежали скудный скарб и маленькие дети. К поселку добралась только одна супружеская пара, другая осталась в тайге, кое-как зарытая в снегу под корнем развесистой елки.

Те, что остались в живых, бросили скарб, а детей все же привезли. Муж тащил одну нарту, женщина — другую. Так они пришли к усадьбе Спиридона. Под лохмотьями у них было несколько белок, добытых с осени в разных местах луком и стрелами. Спиридон этих белок забрал.

Жили пришельцы в хлеву, кормились похуже собак

¹ Наслег — часть рода.

и к весне понемногу перемерли, кроме двух старших мальчишек: Уйбана и Степана. Они были не братья и даже не родственники, а просто соседи. Родители Уйбана остались под деревом в лесу, а родители Степана — на якутском кладбище, под еловым крестом. Мальчикам было теперь по шестнадцати лет. Решением наследного совета они были отданы Спиридону впредь до совершеннолетия в работники за то добро, которое он им сделал, когда приютил их, голодных, по выходе из леса.

В это погожее яркое утро слуги Спиридона вышли на работу, как обычно, без завтрака. Мужчины разобрали деревянные вилы и крюки и стали растаскивать сено, которое хранилось под навесом за особой оградой. Обе женщины с плоскими берестяными турсуками отправились к коровам. Они обходили одну за другою пеструх и чернух, подпускали на минуту телят, так как без этого коровы не давали молока, и немытыми руками в немытую посуду сцеживали молочную дань. У черной коровы теленок издох уже с месяц, но вместо теленка осталась соломенная туша, покрытая его собственной шкурой, которую толкали корове под вымя. Она лизала теленка шершавым языком, не замечая, что изо дня в день он становится грязнее и лысее. Хаспо сходила в амбарчик и набрала провизии на кормежку себе и хозяевам. Хозяевам — двух преогромных и жирных мороженных чиров на строганину и грудку кусков мороженого конского мяса на утреннюю варю. Работникам — мешок малорослой мороженной пелядки¹, тощей, ледянистой. Об этой пелядке даже сложилась поговорка: «когда ее ест человек, она сама ему ест сердце».

Покончив с утренними делами, работники вернулись в свою заднюю юрту, раздули огонь и подвесили чайник над шестом. Капитон был молчалив и мрачен. И когда Хаспо стала вынимать принесенную пищу, он неожиданно встал, отнял у нее мешок с мороженной мелкой рыбой, вынес на улицу и стал скликать дворо-

¹ Пелядь (бранатка, сырок) — мелкая рыба из обширного семейства лососевых.

вых собак, которых в северных поселках всегда больше, чем надо.

— Пестряк, Воронок, Беляк...

Он разбросал им мороженую рыбу, предназначенную для работников. Собаки понюхали, постояли и отошли. Этой рыбы они тоже есть не хотели. Потом понемногу разобрали, отнесли к стене и стали нехотя грызть,— быть может, затем, чтобы не обидеть хозяина. Для них Капитон был не только рабом, но и хозяином.

Вернувшись домой, Капитон взял черный котел, сложил в него принесенное мясо и поставил варить у огня. Потом принялся чистить и резать самого большого чира.

— Что ты делаешь?— сказала со страхом Хаспо.— Вот придет Спиридон...

— Пусть лучше не приходит. Давай молока, белого масла тащи, ягод, чаю покрепче завари.

Хаспо хотела возразить.

— Давай... Убью,— негромко, но жутко сказал Капитон.

Через двадцать минут на рабочей половине шел пир горой, расхищалось хозяйское имущество. Не было лишнего шума, хумулань молчали, но с азартом угощались отборными продуктами из домашних запасов Спиридона. Мясо опростали из котла, было оно чуть обваренное, жирное, необычайно вкусное. Даже лепешку испекли на рожне, перед углями, и макали ее, горячую, в растопленное масло. Ели молча, торопливо, с сосредоточенным видом, как будто исполняя какую-то важную, неотложную работу.

Для их отошального тела эта работа была неотложная. В первый раз за пять лет торопились они наполнить голодные желудки настоящей пищей. Время проходило, и они никак не могли насытиться. И вдруг за скрипела боковая проходная дверь, и вошел старик Спиридон. Он только что проснулся, на нем была обувь из старой лосины, и на груди распахнулась короткая куртка из старого лисьего меха. Он не сразу разобрал, в чем дело. Только удивился, почему его работники так долго сидят у низкого стола, придвинутого к

очагу. А потом увидел масло и мороженую рыбу и рывкнул, как медведь:

— Собаки вороватые, обжоры!

Капитон неторопливо встал, обтер замасленные губы ветхим и грязным рукавом и подошел к хозяину:

— Теперь давай табаку и сахару, новую одежду давай, довольно носили лохмотья.

Он с презрением дернул за ворот свою обветшалую куртку, она разорвалась пополам и упала с его костлявых плеч, как чешуя.

— Все, что полагается, давай, иначе не будем работать.

— Убью! — закричал Спиридон тонким, пронзительным голосом.

Тогда Капитон так же неторопливо снял с грядки длинную стальную палму, тяжелое копье, с которым ходили на медведя, и направил его на хозяина.

— Вы, помогайте, — сказал он товарищам.

И эвенские мальчики схватили свои луки, которыми когда-то убивали в лесу последних своих белок, наложили стрелы-костянки и стали рядом с Капитоном.

Хаспо схватила кроильную палемку¹, обычное оружие женщин, и даже безответная Манкы вооружилась круглым железным скребком на длинной деревянной рукоятке, предназначенным для выделки шкур.

В этом разнообразном вооружении они пошли на хозяина грудью, как на медведя.

На хозяйской половине тоже послышался шум и движение. Выскочил из двери сын Спиридона с кремневым ружьем. Его звали тоже Спиридоном, и он был как копия отца, только помоложе. За ним проскочила его жена Палаха с батасом в руке. Она сунула этот огромный нож, похожий на меч, своему старому свекру. Спиридонова старуха шагнула через порог своими больными ногами просто со сковородником в руках.

Старая Хаспо упала неожиданно на колени.

— Хозяйка, — простонала она и стукнулась в землю

¹ Палемка — женский нож.

лбом.— Дай чистую рубаху, никогда не носила, хочу перед смертью надеть.

— Ты, сволочь старая,— хозяйка нетерпеливо толкнула ее ногой.

— Ах, сиренгес!¹ — выругался Капитон, выдвигая копьё.

Схватка готова была начаться, но на улице раздался шум, крики. В дверь вскочили другие работники. Их было человек двадцать. Тут были пастухи от коней и оленей, ночевавшие на пастбище, дровосеки из леса, бедные соседи Спиридона, жившие рядом, в двух маленьких юртах, обмазанных глиной и навозом и скорее похожих на земляные кучи, чем на людские жилища. Они тоже были у Спиридона в постоянном долгу, работали на него почти так же, как его домашняя челядь. И все они кричали:

— Давай, масла давай, хорошего куска не видали, чаю давай, табаку!

Женщины кричали:

— Иголки поломали, ниток, иголок давай, необшитые ходим. Шелку давай вышивального!

И даже маленькие дети пищали:

— Сахару дай, леденцов.

Жившие в вечном голоде, в злой нищете, работники рвались к воле и требовали удовлетворения простейших прав своих: сытой пищи, крепких заплаток на ветхую одежду, ярких узоров на одежде для услаждения глаз.

Спиридон бесстрашно направил ружье в кричащую толпу.

— Пустите, выстрелю!

Глаза его горели, как у волка. Он пошел к выходу, и никто не посмел остановить его. Не говоря ни слова, вывел он из конского хлева своего вороного огромного коня и стал седлать его.

Капитон выскочил вслед со своим огромным копьём.

— За солдатами поедешь — заколю.

— Какие солдаты! — отмахнулся старик.

¹ Грубое ругательство.

Сыновья и невестки Спиридона тоже выводили и седлали лошадей, выносили из юрты переметные сумы, набитые всяким добром,— тут были лучшие меха, которые на Севере каждый торговец хранит у себя в изголовьи, нарядная одежда, серебро. Вывели старуху, посадили на лошадь, связали ей ноги под седлом, чтобы она не свалилась. Восставшие несколько притихли. Было похоже на то, что семья Спиридона уезжает надолго и бросает гнездо, не надеясь его отстоять.

— Всего не возьмут,— размышляли мятежники.— Главное осталось — еда, доильные коровы, лошади, олени,— лучшее богатство северного скотовода.

Вьючных лошадей не хватило.

— Сходите, приведите лошадей! — крикнул Спиридон сурово, однако не обращаясь прямо ни к кому.

— Сколько? — спросил Капитон с привычною деловитостью.

Спиридон быстро прикинул в уме.

— Шесть лошадей,— распорядился он.

— Хорошо,— согласился Капитон: — Мишка, Иннокентий! Сходите, приведите.

Два конюха быстро отделились от толпы и направились в лес.

Еще через час лошади были приведены.

— Бери, хозяин,— предложил Капитон почти дружелюбно.

Другие работники стали вьючить лошадей остатками клади.

Целый караван лошадей, верховых и вьючных, вышел на дорогу.

Спиридон в воротах оглянулся.

— Мы уезжаем, а вы оставайтесь,— сказал он.

Было похоже, как будто он произвел дележ имущества и расстался по-хорошему со своими прежними работниками.

Вдруг лицо его налилось кровью. Он выругался крепким словом по-русски и погнался коня по узкой таежной тропе.

Две недели пировали работники в богатом гнезде Спиридона Кучука. Хозяйство с виду шло по-старому. Кормили и доили коров, квасили молочные удои, ходили на вымотры сетей в луговые озера, оленей пасли, лошадей, и даже собирались итти на якутскую страду, тяжелый и мокрый покос на болоте, но так и не пошли. Перед тем как устроить покос, затеяли отвальную. Зарезали молодого конька, был он неезженный, в «белом жиру», с нежным мясом, слаще, чем мясо ягненка. Конского жиру натопили и сбили его, смутовили с растопленным маслом, приготовляя угощение, достойное богов. Подоили кобылиц и сварили молодого кумыса. Вышел по всем правилам якутский исыэх — праздник, одинаково угодный и людям и духам.

А пастух Прокопей решил на большее: достал из хозяйских запасов муки и сахару, вывернул ствол из ружья и принялся варить самогон. В этих местах самогона никогда не варили. Сахар и мука слишком были редки и дороги. И Прокопей знал об этом деле только через десятые руки. Все же он устроил куб, наквасил муки с приголовьем и на медленном огне стал охлаждать незнакомый напиток.

С конца холодильника падали мутные капли — кап, кап — и через десять часов наполнился целый котел. Была эта невиданная жидкость мутнее болотной воды и горче мухоморного настоя. Но она показалась новым хозяевам заимки небесным, небывалым напитком. Спирт, который сюда привозили порой от русских, был тоже не лучше. Его настаивали на тертом табаке, и он драл горло хуже, чем «царская водка».

«Царскую водку» не пьют. Это не водка, а смесь двух кислот: азотной и соляной. Но северяне, пожалуй, могли бы напиться и опиться даже кислотой с таким лицемерным названием.

Пир шел целый день, к вечеру напились, переспались и опять за то же. Даже собак накормили отборными костями. В пойло коровам вылили остатки от чортова пива. Коровы жадно вылакали и тоже опьянели. Сту-

чали копытами в хлевах и под навёсами, словно собирались плясать. Ревели, мычали. Пьяные люди распевали песни на разных языках: по-якутски, по-эвенски, по-одунски и даже по-русски. Песни были самые простые:

Вот моя трубка,
Трубка,
Я курю хозяйский табак,
Табак...

Коровы и телята тоже как будто подпевали: «Му-у, му-у... Поели Спиридоновой муки, попили огненного пойла, му-у...»

Спиридона не было слышно, и о нем забыли. Во всем околodge делалось то же. Шли такие же бескров-ные бунты, пока без пожаров, без драки, без пролития крови. Богатые хозяева бежали. Бедняки, батраки, иждивенцы захватили повсюду скот и дома, пировали и думали: «Вот она, новая жизнь». По всей тайге и тундре пошел слух: «Так говорят большаки. Надо весь свет вверх ногами повернуть, чтоб нижние стали вверх, а верхние — вниз. Скот — батракам, покосы — беднякам. Рыбные сети и ловли — для общей работы, рыбу делить поровну. К чертовой матери хозяев! Торговцев не надо, поедем — русские товары сами привезем».

Везде выбирали наследные советы, в Родчево, к русским прищельцам, послали делегатов.

Хозяева, однако, не исчезли. В таежную глушь на восток ушел Спиридон с сынами и зятьями. Тут была у них далекая заимка, огороженная тыном, как крепость. Коров было мало, но были прекрасные кони, лучшие во всем околodge. Их пасли мурчены из рода эвенков. «Мурчены» значит по-эвенкийски — конники. То были тунгусские охотники, перешедшие от оленеводства к коневодству. Они кочевали, и ездили, и охотились на конях. Были они с виду как будто другое племя. Выше, грубее и чернее малорослых оленных эвенков и эвенков, орочнонов, орочелов. Орочны, орочелы буквально — «оленные люди».

Конные эвенки жили сытнее оленных. Они не должны так много купцам и детей не отдавали якутским со-

седам в наемные работники. Зато у них у самих понемногу вырастали свои собственные эвенкийские торговцы.

Восточное нагорье называлось Катома. Были на Катоме конские стада и займки не только у Спиридона, но и у других богатых деловитых якутов. Здесь они собрались и засели в огороженных дворах, с винтовками в руках, с батасами, пальмами, с быстрыми конями и ружейными припасами. Они тоже сбивались вместе: братья родные и двоюродные, дядья и племянники, и тоже собирали советы.

В начальники выбрали старых тойонов, с мундиром, с медалями. Улусным головою по-старому выбрали Чемпана, а писарем — Лупандина. Две Якутии, старая и новая, расположились рядом, только новая сидела на старых местах, а старую оттеснили в лес. Собиралась, как туча, большая кровавая драка.

Первый набег начался опять-таки со Спиридоновой усадьбы. Старик Спиридон приехал навестить свое старое гнездо, захваченное челядью. С ним было двенадцать человек: два сына, два зятя, племянники и пятеро мурчендов, проворных стрелков и ездоков, которые на скачках обгоняли старинных якутских коневодов. Они крепко набили винтовки свинцовыми жеребьями, привесили копыя к седлу и поехали домой по старой, привычной дороге. Эту дорогу издавна знали не только люди, но также и верховые лошади. Они уверенно ступали по тропе, проходившей сквозь лес. При выходе на просеку, ведущую к усадьбе, передний жеребчик весело заржал, предчувствуя отдых и свежую охатку сена.

— Молчи,— с ругательством сказал Спиридон,— зарежу, волчья сыть.

Из усадьбы Капитона ответила таким же веселым голоском молодая кобылка. Спиридон узнал ее по голосу, это была пеганка, на которой ездил у конского стада наемный пастух Селифан.

— Стойте,— сердито прошипел Спиридон.— Белый господь, за что разлюбил нас? Вон, даже лошади знаки подают.

Подъезжавшие круто удержали лошадей и ждали в

молчании, готовые рассыпаться назад по дороге или броситься вперед и идти на приступ. То или другое.

Так прошло две трубки времени¹. Но приезжие ждали напрасно. В усадьбе никто не шевелился. Люди спали.

Даже кобылка, подавшая голос, замолкла, быть может, задремала.

— Готовьтесь,— сказал Спиридон,— слезайте, коней привяжите.

Дюжина приезжих людей отвела лошадей к стороне, в лес, и там разделилась на три отряда, по четыре человека в каждом. Два отряда пошли налево и направо, с тем чтобы обойти всю усадьбу кругом и, если возможно, забраться с задворков, где были хлева и конюшни. Третий отряд пошел по дороге к воротам. Нападавшие шли осторожно и ружья держали на-весу.

Так подошли вплотную к воротам, но и на этот раз никто не пошевелился. Даже собака не залаяла. Старик Спиридон помолчал, подумал и вдруг сразмаху ударил в калитку медноокованным ложем своего старинного штуцера. Штуцер достался ему от прадедов, это был царский подарок времен Александра I с надписью на ложе: «За прекрасные услуги». Прадед Спиридона, тоже Спиридон Головатый, оказал эти «прекрасные услуги» при подавлении восстания якутов Намского улуса, выведенных из терпения притеснениями и жадностью чиновников. Из Иркутска, как водится, прислали солдат. Спиридон Головатый провел этих солдат таежными тропинками в тыл якутам, окопавшимся на старом болоте. Солдаты перебили восставших, а имущество их поделили по рукам, и Спиридону тоже достался заработанный пай. Штуцер был кремневый, потом его переделали, сначала в пистонное ружье, потом даже в патронную винтовку. Прекрасно проверенный ствол бил без промаха любым зарядом, и так же неизменно на ложе светилась старинная надпись — плата за измену соплеменникам.

Этим старинным ружьем Спиридон гулко ударил по

¹ Х а м с ы - т а б а к б ы с т р ы н г а — «табачной трубки промежутка» — пять-десять минут.

тяжелой калитке, сбитой из крепких лиственничных плах.

— Отворяйте, так вас так... хозяин приехал!

Тонко завыла на дворе разбуженная собака. Но больше никто не ответил.

— Ломайте ворота,— отрывисто сказал Спиридон,— вот мы им покажем, как запираяться и молчать.

Младший Спиридон только плечами пожал, подошел к калитке, нажал тяжелую щеколду, пнул ногой, и калитка открылась. Она не была заперта. Один за другим приезжие вошли во двор, во дворе никого не было.

Гуськом, вереницей, как волчья стая, нападавшие направились к крыльцу, они чувствовали себя довольно уверенно, но лишнего шума делать не хотели. Сени тоже не были заперты. В задней горенке на огромном шестке дымно горела плочка, налитая жиром. На скамьях, на полу спали беспечным сном мужчины и женщины, бывшие работники Спиридона.

На столе были разбросаны куски недоеденного мяса, тяжелые конские кости, бутыль самогона, наполовину полная. Новые хозяева усадьбы продолжали наслаждаться, пили, ели и знать ничего не хотели.

При виде мяса и вина злоба Спиридона вспыхнула с новой силой.

— Вставайте, сволочь! — крикнул он.

Он выхватил из-за своего чеканного пояса короткий арапник и со всего размаха хлестнул по первому телу, которое попало ему на дороге.

Усадьба огласилась тонким, пронзительным воплем:

— Ай, убивают!

Это была злополучная Маньки. Она спала на земле совершенно голая и ничем не вооруженная. Даже ее неизменный железный скребок валялся в стороне, небрежно брошенный.

— Бейте их! — крикнул молодой Спиридон.

«Гости» молотили налево и направо палками, арапниками и просто кулаками. Никто не прибегал к оружию, за полной ненадобностью. Ошеломленные работники визжали и выли, но ничуть не сопротивлялись и даже не делали серьезной попытки убежать.

— Вяжите их! — крикнул молодой Спиридон.

Нападавшие стали вязать захваченных, врасплох вожжами, поясами, ременными поводьями. В каждой якутской избе есть много обрывков ремня. Четверо пришельцев связали четверых: двух женщин — Манку и Хаспо, старого Варлама и подростка Кучукана. Оба — Варлам и Кучукан — работали прежде при конях, но с самого начала революции бросили коней и ушли в усадьбу.

Дальше, однако, пошло не столь гладко. Эвен Степанчик очнулся быстрее якутов. Он вскочил на ноги, бросился к выходу, по дороге наткнулся на Михея, Спиридонова зятя, и, недолго думая, ткнул его в бок узким ножом, с которым эвен не расстается ни наяву, ни во сне. Нож взрезал кожу Михеева тела, но вглубь не пошел. Михей, однако, взвизгнул не хуже несчастной Манки:

— Ай, убивают!

— Держите, держите! — крикнул молодой Спиридон, но Степанчик, как молния, уже выскользнул за дверь.

Во дворе тоже шла драка. Левый и правый отряды нападавших перелезли через задние заборы, забегали в конюшни, в хлева и били всякого, кто ни попадался. Здесь в ход шли длинные ножи, которыми северяне владеют с таким несравненным искусством. Двое убитых батраков лежали на земле. Пастух Прокопей — самогонщик — метался по двору, стараясь уклониться от длинного копья, которым колол его Пака, конный тунгус, впрочем, без особого успеха. Рубаха Прокопея была в крови, — копьё все-таки кольнуло его дважды: в плечо и в руку, но это были скорее царапины. В руке у Прокопея был топор на длинной рукоятке. Пака сделал новый выпад копьем. Прокопей с силой отчаяния рубнул топором, перерубленное древко хрустнуло, переломилось, и головка отлетела в сторону. Тогда Прокопей подскочил к Паке, снова рубнул топором, и Пака с раскрытым черепом повалился на землю.

— Ах, абагы киги!..¹ — выругался Спиридон. Он

¹ Ругательство: «чортов человек».

сдернул с плеча свой испытанный штуцер, приложился и ударил. Прокопей подскочил, как олень, подбитый на бегу, и грянулся на землю.

— Бейте, рубите!— кричали нападавшие.

Другой эвенский подросток, Уйбанчик, перемахнул через тын, но на той стороне завизжал, как заяц, ухваченный волком. Он попал прямо в руки тунгусского конника Кирьяка Желтоглазого. Степанчика мурчену поймали уже на окраине леса.

Напавшие одолевали. Еще двое — мужчина и женщина — остались лежать на окровавленном снегу. Человек десять связали ремнями и веревками, выволокли на двор и бросили на землю, как охотничью добычу.

— Зажгите костер,— скомандовал старый Спиридон.

Молодой Спиридон с двоюродным братом Михеем развели на снегу из сушеных поленьев и бересты небольшой костер, который, однако, осветил весь двор приятным ровным светом.

— Что, не ждали, собаки?— сказал с торжеством Спиридон.— Забыли о хозяевах, а?.. Так мы вам напомним. Ну-ка, начинайте!

У пленных были связаны только ноги, но так крепко, что те могли лишь переваливаться по снегу, беспомощно хватаясь руками за мерзлые комья навоза.

— Дайте-ка им!

Михей, Спиридон и еще двое конных тунгусов схватывали пленника, поднимали его на ноги, потом привязывали за руки к конскому столбу, стоящему у заднего забора.

— Ну-ка, начнем!

Две нагайки слева и справа со свистом полосовали обнаженное тело. Во дворе были три коновязи, наказывали сразу троих, в две нагайки каждого. Избиваемые выли, корчились, рвались, им вторили цепные собаки, которые не хотели признать старых хозяев и были, видно, на стороне восставших батраков.

— Молчите, сводочи!— крикнул со злобой Спиридон и хлестнул арапником молодого Пестряка и старого Утеля. Но собаки завывали громче прежнего. Изби-

ение продолжалось довольно долго. Насытив свою злобу, Спиридон коротко распорядился:

— Стащите их в избу, да смотрите, сторожите, чтоб никто не убежал.

Он схватил за волосы молодую Степаниду, которая раньше была доильщицей при стаде и в хозяйскую юрту редко заходила. Впрочем, старый Спиридон, случалось, навещал ее поздно ночью в далекой скотной избе. Теперь и она оказалась в усадьбе, и Спиридон наказывал ее собственноручно, с особенным тщанием. Степанида была совсем голая, рубашка, изорванная крепкими ударами, свалилась с плеч, на спине и груди вспухли багровые полосы. Она была в сознании и тихонько выла, как подшибленная на-смерть собака. Спиридон замотал себе на руку ее густые и жесткие черные косы и поволок ее к крыльцу, как телячью тушу или мешок с мукой. Растерзанная пазуха и кожаные шаровары несчастной скотницы были набиты комьями снега, то красного, то белого. Тело Степаниды ежилось не только от боли, но и от острого холода.

— Зябнешь? — сказал ядовито старый Спиридон. — Ничего, погодите, мы вас согреем.

Пленников стаскивали в горницу и клали на полу.

— Ты сторожи, — сказал Спиридон старому Кирьяку, тунгусу, — мы пойдем, кончим.

Выстрел разбудил пастухов, ночевавших по разным закоулкам обширной Спиридоновской усадьбы, но о защите не думал никто. Кто успел, выкатился в дверь, перемахнул через тын и опрометью кинулся в лес. Кто оплошал, того вязали, били чем попало и волокли в усадьбу.

— К стаду пойдемте! — сказал Спиридон.

Победившие хозяева шумной толпой вышли из ворот, отвязали лошадей и поехали на нижний луг, где пасся конский косяк старика Спиридона.

Старый Кирьяк сидел на колоде у широкого стола и молча смотрел на связанных пленников. На столе было мясо, вино; он отрезал себе кусок пожирнее, налил в широкую чашку сероватого питья, выпил, крикнул, потом закусил холодным жиром, немного поду-

мал и вылил самогон из бутылки в большой железный ковш. Поднес ковш к губам и стал тянуть медленно, мерно и не отрываясь. Ковш пустел, лицо Кирьяка темнело и словно наливалось этим мутным хлебовом. Последние капли... Кирьяк сразмаху хлопнул ковшом о тяжелый обеденный стол.

— Быйя!¹ — окликнул его с пола Степанчик, эвен.

— Ага,— ответил Кирьяк, не поворачивая головы.

Он держался прямо и твердо, но в лице его было что-то чужое, пустое, быть может, душа его улетела из пьяного тела и витала где-то в занебесных мирах, а тело сидело на колоде и глядело на пленных.

— Быйя!— настаивал Степанчик.— Есть ли в тебе сердце эвенское?

— Ну, есть,— ответил односложно Кирьяк.

— Мы тоже эвены,— настаивал Степанчик,— я да мой братик Уйбан.

Они лежали рядом, странно похожие и в то же время различные.

Кирьяк с видимым усилием повернул в их сторону свое квадратное лицо.

— Ага, двое вас,— сказал он по-эвенкийски.

— Ну, да, двое,— настаивал Степанчик,— нас двое эвенов.

— Вы — эвены, я — эвенк,— возразил Кирьяк,— наши матери разные.

— Матери разные,— согласился Степанчик,— а прабабушка общая, Дантра. Ай, больно!

Он с трудом повернул свою избитую спину.

Эвены и эвенки, ламуты и тунгусы, были два родственных народа, которые жили одинаковой жизнью, ездили верхом на оленях, промышляли и лося и белку и говорили на языках хотя и различных, но все же довольно схожих. Они происходили, по преданию, от пары медведей, старого Торгандры и сестры его Дантры. Торгандра женился на Дантре, и от их кровосмесительного брака родились эвены и эвенки. После того медвежья чета разделилась. Торгандра пошел на юго-запад, за ним пошли эвенки. Дантра побрела

¹ Обращение; собственно — «человек».

на северо-восток, и за нею пошли эвены. И оба племени все еще помнят свое кровное родство.

— Хорошо ли помогать якутам против собственных братьев? Наши оленчики чистые, якут пахнет конским по́том. Якут — как потник, тунгус — как попонка.

Якуты ездят на потных лошадях, тунгусы — на оленях, которые никогда не потеют. Оттого тунгусы дразнят якутов «потниками».

— Мы тоже «потники», — сурово возразил Кирьяк, — мы не оленщики, мы конники, мурчены, ездим по-господски, ноги в стремях, а кони в удилах.

Наступило тяжелое молчание. Уйбанчик вертелся на соломе, его руки были свободны. Руки у Степана были связаны. Уйбан повернулся к товарищу и стал зубами и руками развязывать узлы на его затекших кистях. Лицо Уйбанчика было разбито в кровь, и, вгрызаясь в веревки, он поминутно сплевывал в сторону красной слюною. Кирьяк глядел на эту странную работу, но сам не шевелился. Еще через минуту оба пленника могли встать на ноги, но Уйбанчик сумел только припасть на четвереньки и поползти, как избитая собака. Степанчик качнулся вперед и схватился руками за край стола, противоположный тому месту, где сидел Кирьяк.

— Отпусти нас, — сказал он срывающимся голосом.

Остальные пленные лежали на полу без чувств. Они были кроме того крепко связаны по рукам и по ногам. Но двое эвенов сумели освободиться. Они были жестоко избиты и совсем не пригодны для драки, один из них даже на ногах не держался. Но старый Кирьяк был жестоко пьян. Было неизвестно, смог ли бы он встать со своей крепкой колоды. Итак, один пьяный и двое избитых бойцов молча смотрели друг на друга и мерялись взглядами.

— Отпусти нас, тунгус, — еще раз сказал Степанчик. Кирьяк молчал.

— Не отпустишь, уйдем, — погрозился эвен слабо.

Так мог бы заяц грозиться сторожившей его лайке. Кирьяк слегка пожал плечами.

— Мне что, идите! — сказал он равнодушно. — Хотите закусить на дорожку? — предложил он довольно

дружелюбно.— Водку я выпил, а мясо — вот оно. Берите, не жалко.

Степанчик махнул рукой в знак отказа.

Оба эвенских мальчика, задыхаясь, шатаясь, поползли в глубину тайги, дающей защиту убегающему пленнику, двуногому или четвероногому.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Спиридон и его банда скакали по дороге, подгоняя косяк лошадей, захваченных в старой усадьбе. За ними пылало высокое зарево. Ночь была тихая, морозная, огонь вставал вертикальным столбом до самого неба, потом завивался метелкой. Крупные искры скакали из метелки и словно плясали лесной хоровод кругом неподвижных и бесстрастных звезд, холодно сверкавших на небе.

Первая пылавшая усадьба была зажжена не батраками, а хозяевами. Нападение Спиридоновой банды на его батраков было началом гражданской войны в этом диком округе огромной Якутии.

В соседних усадьбах, поголовно захваченных восставшей беднотой, начиналась тревога. Люди влезали на деревья на окраинах леса и старались получше разобрать, в какой стороне и какая усадьба горит. Подростки выезжали из ворот на неоседланных лошадях и мчались по дороге в сторону пожара.

Один из таких неудачных разведчиков наткнулся на банду Спиридона и угнанный ею табун. Но дальше не поехал и благоразумно вернулся назад. После того приезд и отъезд нападавших были определяемы с несравненною точностью: приехали тойоны, людей перебили и сожгли, лошадей отогнали, ускакали на восток...

С утра по восставшим усадьбам проехал вестовщик. Он держал на шесте клоч соломы, запачканный красной кровью. То была кровь молодого теленка, принесенного в жертву грозному богу Улу-Тойону. Но при желании можно было взять человеческой крови из разграбленной усадьбы Спиридона Кучука.

Окровавленная солома была знаком того, что началась кровавая война и надо готовиться к отпору.

Из разных усадеб и наслегов потянулись кучки верховых, по-двое и по-трое и порою по целому десятку, с ружьями, с копьями, с арканами, плетеными из волоса, даже порою с крепкими гнутыми луками, склеенными искусно из двух полос дерева и обклеенными гладкой берестой. В крепких руках тугой якутский лук мог при нужде соперничать с кремневым ружьем. Всадники вели в поводу лошадей, груженных запасами. Скоро собрались большие отряды, которые сливались все вместе и выросли в целую армию. Восставшая беднота, завладевшая усадьбами богатых и ныне потревоженная в своем мирном обладании, скакала на восток добивать своих старых врагов и, если возможно, стереть их с лица земли.

Миновали обжитую часть безбрежной якутской тайги. Поселки становились все реже, через каждые десять верст, через каждые двадцать верст. Дальше шли отдельные заимки, ютившиеся к берегу огромных озер, часто не нанесенных на карту и совсем неизвестных коренным жителям центральной Якутии. Каждая заимка все же имела при себе расчищенные тони для рыбной ловли и такие же расчищенные покосы на лесных и прибрежных лугах, поросших прекрасной травой.

Кончились обжитые места. Началась тайга, дикая, безлюдная, мало известная даже бродячим охотникам эвенкам и эвенкам. Она занимала многие десятки тысяч квадратных километров, но на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока неизвестная тайга была лишь ничтожным беловатым пятнышком.

Многолюдный отряд бедноты, несмотря на отсутствие дорог, шел по следам отступавших врагов. Конские следы, кочевница, привалы,— все это были как твердые этапы, как знаки, нанесенные пунктиром на огромной натуральной географической карте.

Три дня прошло в этой настойчивой и почти бесконечной погоне. Отряд ополчения, минуя привалы убежавших, выбирал себе новые ночлеги, но устанавливал их по тому же неизменному правилу: костры, у

костров ночёвища, палатки из синей дабы, отгон лошадей на лесные луга, рано поутру новое движение вперед.

На третий день к вечеру следы отступающих тойонов стали обозначаться яснее, потом из них выросла тропа, свежепротопанная, совершенно явственная. Было вполне очевидно: отступившие отряды богачей стали обживать безлюдную тайгу, осваивать рыбные ловли и лесные луга, быть может, ненадолго, на время гражданской войны, а быть может, надолго, навсегда. Оттого и обозначалась в заново обжитой тайге твердая тропа, проложенная новыми жителями.

Отряд бедноты заночевал у самой границы этого нового района, занятого беглыми врагами. Утром поехали вперед и сразу наткнулись на боевые заграждения враждебного отряда. То были засеки: тяжелые ряды вековых лиственниц и сосен, подсеченных под корень и упавших на землю валом рогатым, колючим и почти неприступным.

Нападавшие выслали разведчиков. Разведчики спешили, оставили в тылу лошадей и стали осторожно обходить лесную баррикаду, стараясь выйти ей в тыл или пробраться к поселкам врагов каким-нибудь другим путем.

Противники, однако, не дремали, они зорко следили за каждым движением наступающих, и в сторону разведчиков раздался залп, потом другой. Стреляли ружей в тридцать, а быть может и побольше, но пули пролетали без особого вреда для нападавших, ударяясь о древесные стволы или зарываясь в землю.

Разведчики стали смыкать свои цепи и все глубже пробирались вперед от дерева к дереву. Нежданно застучал пулемет, сбивая своим свинцовым градом сосновые шишки с нижних ветвей вековых деревьев. Пулемет оказался действеннее ружейного обстрела. Двое разведчиков упали почти рядом: один с пробитой головой, другой с перебитой ногой. Наступавшие сразу бросились на землю и поползли, как лисицы, из опасной обстреливаемой зоны.

На крайнем Севере гражданская война в общем велась лишь отчасти правильным боем, а скорее всего

измором, осадой, увозом продовольствия, уничтожением всякой продовольственной базы на пути неприятеля. Оттого так быстро окончилась первая неудачная разведка красных партизан против белых богачей, засевших в таежном поселке.

Ночью, в темноте, двоюродный брат Прокопея, убитого в усадьбе Спиридона, по имени Прохор, решил на разведку. Обоих двоюродных братьев звали Проньками. Один был Пронька-Прокол, другой был Пронька-Прохор.

Пронька-Прохор забрался на вражескую территорию незаметно, ползком от дерева к дереву, и все-таки попал в тыл древесной баррикады и вошел в линию поселка богачей. Это был, в сущности, не столько поселок, сколько ряд укрепленных дворов, разбросанных в тайге, на большом расстоянии, однако подкреплявших друг друга как точки одной стратегической сети. Усадьба защищалась крепким частоколом, а в стенах и в дверях были прорублены узкие бойницы. На самых высоких деревьях, примыкавших к поселку, были устроены «залазы»¹, где помещались дневные сторожа. Ночью с «залаза» в тайге все равно ничего не видно. Прохор обошел все расположение врагов и подсчитал их силы: двадцать укрепленных дворов, имевших в общем не менее пятисот защитников. Силы наступавших были гораздо значительнее — больше тысячи, но они были хуже вооружены.

Рано поутру под огромным раскидистым тополем собрался полевой совет отряда нападавших. Тут был Байбал (Павел) Сохнацкий — фельдфебель царской армии, которого раньше загнали из далекой Якутии на Польскую Бзуру, на фронт. Он два года просидел на Бзуре в вонючих солдатских окопах и заработал два Георгия, по Георгию в год. В то же самое время он стал непримиримым революционером, большевиком. Байбал был человек холодный и крутой, при случае не щадил ничьей жизни, ни чужой, ни собственной. После распада царского фронта он быстро пробрался на-

¹ Залазы — верхушка высокого дерева, частично освобожденная от ветвей.

зад, сначала в Иркутск, потом в Якутск, а оттуда на эту глухую и дикую окраину. У него была небольшая лесная заимка, и он взялся было за хозяйство, но не мог усидеть на месте. В воздухе пахло порохом. Спокойная Якутия бродила хмелем кровавой ненависти к тойонам — многоскотным богачам, издавна угнетавшим закабаленную ими бедноту.

При первых признаках гражданской войны «Байбал Пельпобель», как звали его в округе, посадил на коней своих двух братьев и подростка-сына и сделал набег на соседнюю заимку богатого якутского тойона Иннокентия Березкина. Усадьба была взята приступом, двое Березкиных убиты, остальные бежали. Сохнацкие забрали скот, одежду и меха и честно отвезли их в революционный центр, который сложился с большой быстротой в многолюдном поселке Салгитар.

Среди партизан, наступавших на таежную крепость, Байбал Пельпобель был самым решительным и твердым вожаком, который стоял за быстрые, решительные действия. Он не был общим вождем, вождя у партизан не было.

Вместе с ним был Василий Огонер, малорослый старичок лет пятидесяти. Последние годы своей жизни он пробыл домашним рабом-прихлебателем у своего же двоюродного племянника Максима и в конце концов возмутился и поднял бунт. Василий Огонер был тоже человек решительный. Во время восстания он погнался пешком по таежной дороге за Максимом, своим собственным племянником, постыдно убежавшим из усадьбы.

Максим был человек довольно высокий и тучный, что у якутов встречается редко. Василий Огонер, несмотря на свою старость, был на редкость легок на ногу. Он гнал своего племянника Максима неутомимо и немилосердно, с длинным копьем в руке. Он не хотел колоть его на-смерть, но каждый раз чувствительно покалывал его сзади, порою до крови. Максим с воплем подскакивал и надавал вперед с такой быстротой, как будто копье, прильнув на минутку к его телу, в виде деревянного хвоста, давало ему тут же незримые сильные крылья. Так они пробе-

жали через лес, и тут в конце концов Максим свалился на дорогу, как гнилая колода. Старик не спеша подошел к нему, потрогал сначала древком копыя, потом носком ноги.

— Ты жив? — сказал он спокойно, даже без особенной злобы.

— Убей меня! — прошипел Максим, задыхаясь от усталости.

Слова его вышли изо рта клубом розовой пены. Он, должно быть, порвал на бегу мелкие сосуды легких и захлебывался собственной кровью и слюной.

— Ну, черт с тобой, лежи, — сказал старик. — Падаль такая. Так все будете лежать на дорогах.

Он отвернулся от упавшего хозяина и быстро пошел на восток, направляясь в Салгитар.

Двое других вожakov были совсем подростки, чуть не мальчики, члены недавно возникшей группы комсомольцев. Один звался Петр, а другой — Федор, но оба эти имени произносились одинаково: Педур. Одного из них звали просто Педур, другого, высокого, Педур с Прибавкой. Педур с Прибавкой был из богатого рода, его деды и отцы были наследственными князьками в Бугуюнтайском улусе. У дяди его были большие покосы, сотня лошадей, три сотни рогатого скота, даже мешок золотой и серебряной монеты, хранившейся в течение многих поколений. Все они были люди спокойные, степенные, лишних слов не говорили, а из каждого подвластного выжимали сок обстоятельно и степенно. Педур с Прибавкой был не похож на родню. Безбоязненный, буйный, в гневе не боялся никого. Как-то повздоривши с дядей, бросил в него сразмаху тонким ножом, так называемым «якутским». Нож попал дяде в плечо, вонзился довольно глубоко, да так и остался на-весу, качаясь и дрожа. Старик выдернул нож и хотел броситься на обидчика. Но Педура и след простыл. Он выскочил на улицу, отвязал от столба дядиного жеребца и умчался, не помня себя, по дороге, ведущей в тайгу.

Педур отличался необузданной щедростью. За две недели до этой кровавой стычки он отбил от дядиного косяка большого холощенного коня, который был

В так называемом «белом жиру», и погнал его кругом небольшого озера в поселок Уулбут, где из года в год голодали четыре семьи беднейших якутских рыбаков. Жители поселка Уулбут годами не видели мяса, что для якута считается нищетой и позором. Педур решил подарить им коня и устроить праздник насыщения. Конь был во второй степени жира. У якутов считаются три степени ожирения скота: первое — «красный жир», второе — «белый жир» и третье — «полный жир». Конское мясо считается лучше коровьего и ценится дороже.

Уулбутские рыбаки коня, разумеется, тотчас зарезали, освежевали, потом собрались все вместе, с женами и грудными младенцами, и стали поедать драгоценную пищу.

Откуда-то на запах подошли придорожные эвенки, бродившие по округу, группа русских уголовных поселенцев, бессильных стариков, которые, даже получивши амнистию, остались на месте. Они не знали, куда ехать и зачем ехать. Больные пришли из больницы, несколько бывших солдат, по виду дезертиров, еще беспризорные старухи вместе с маленькими сиротами. Все они, усевшись на землю, стали расправляться с кониной, вареной и жареной, и дня через три от жирного коня остались лишь кости, и то все костяные трубки были разбиты, чтобы извлечь из них костный мозг.

Именно из-за этого странного поступка Педур с Прибавкой поссорился со своим солидным дядей.

Другой Педур был безродный сирота, подкидыш из воспитательного дома в городе Якутске. Он был, должно быть, русского происхождения. У него были светлые волосы, как будто льняная кудель, и голубые глаза. Но его отдали с раннего детства, еще с соской во рту, в дальний улус, на прокормление старухе Чубучихе, которая устроила в Якутске местную фабрику ангелов и за самую скромную плату охотно переводила маленьких детей.

Но Педур выжил, попрос в глухом таежном углу. Он вырос якутом среди якутов, не знал ни слова ни на каком другом языке, все его привычки и способы

работы были подлинные якутские. Потом он, однако, пристал к ссыльному черкесу, который уже двадцать лет промышлял плотничьим ремеслом. Круглый год они бродили от поселка к поселку, поправляя истлевшие и обветшалые юрты и срубы домов.

Педуру было только семнадцать лет. Он владел топором с редким искусством. Метнет свой плотничий топор на порядочное расстояние в пень, в доску — и всегда попадет. Наметит в вышине раскидистого дерева толстую ветку, бросит — и подрубит одним ударом. Он пробовал охотиться даже за проворными белками, вместо ружья, со своим летучим топором. Походит день по тайге и к вечеру принесет десятка два белок. Но беличьи туши были, разумеется, совсем изуродованы: которая без головы, которая разрублена как раз пополам, которая без ноги. Из-за этого редкого искусства его боялись сверстники и даже мужики постарше.

С Педуром с Прибавкой он имел общую черту: он не мог видеть голода и той ужасающей бедности, от которой страдают якутские рабы и иждивенцы, и в том же самом месяце, когда Педур с Прибавкой пригнал на Уулбут жирного коня своего дяди, Педур, в свою очередь, подрубил у богатого соседа Бережнова амбар с мороженой рыбой. Рыбу сложил на нарту, а нарту отволоч в ближайший поселок Крестях, где вся беднота тоже жестоко голодала. С минуту постоял на улице, потом поехал от юрты к юрте, надевая тяжелыми жирными чирами голодных жителей. Окончив раздачу, он уехал домой с пустою нартою. Последних три чира он привез своему хозяину, плотнику Учахову, который тоже не считался богатым.

Когда забродила революция, оба Педура собрали в поселке Салгитар многолюдную группу мальчишек с топорами, с ножами, даже с ружьями и стали ходить из поселка в поселок, водворяя справедливость. Они называли себя «молодыми коммунистами». Их коммунизм был потребительского свойства. Они отнимали у богачей лучшую пищу, устраивали на площади пир горой, съедали быка, сотню мороженных рыб, две

вязки юколы¹, остальное раздавали бедноте и шли дальше.

Этот потребительский коммунизм взбудоражил всю округу.

Группа молодежи была, в сущности, первым отрядом партизан в этом отдаленном краю. Но они не принимали никого старше двадцати лет, выписали из Якутска комсомольский устав, написанный, правда, по-русски, и с грехом пополам перевели его по-якутски, вызубрили наизусть и каждую неделю устраивали проверку своих знаний. Бывало порою, что очередное нападение на какой-нибудь жирный поселок, пир на площади и экзамен политграмоты совпадали во времени. Но молодые партизаны ничуть не стеснялись, сначала устраивали проверку, а потом длинные и четкие формулы заедали жирной кониной и запивали двухлетним кумысом большой силы и крепости.

Вместе с обоими Педурами была девица, немного постарше, высокая, видная собой. Ее звали «мужик-баба». Она легко поднимала на плечи трехпудовую суму, набитую мясом, тугую и гладкую, как скользкая рыба, и несла ее по тяжелой таежной дороге десять километров так легко и непринужденно, как будто это была небольшая дорожная сумка.

Среди молодых партизан были и другие женщины и девушки. Но Авдотья — «мужик-баба» — выдвинулась вперед как самая сильная и самая решительная. Мужчины даже среди бедняков косились на женщину. Но этот зародыш женского движения возник так же неудержимо, как бунт молодежи, и тоже стал заметным элементом в начинавшейся гражданской войне.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пятерка вождей сидела под тополем и судила и рядила о том, как справиться с злыми богачами, засевшими в усадьбе за крепким частоколом.

Мальчишки предложили:

¹ Юкола — вяленая рыба.

— Голодом возьмем. Отгоним стада, запасов у них мало, подтянут животы, выедут, поклонятся.

Огонер предложил:

— Жаждой возьмем. Поставим у речки засаду с ружьями, не пустим к воде. Можно ли жить без воды? Выедут, поклонятся.

Пельпелбел сказал:

— Не выйдет ни жаждой, ни голодом. Кровью возьмем. Берите топоры и ружья, трубите сбор, навалимся лавой и сзади и спереди, пузом задавим. Горло зубами перервем. Глаза дубиной вышибем.

Авдотья говорила последняя. Авдотья сказала:

— Не выйдет ни голодом, ни жаждой, ни кровью. Возьмем их огнем.

Все сразу согласились. Огонь был издавна злым врагом в дремучей тайге, наполненной стоячим сушняком, сухостоем, который вспыхивал порой, как порох, и сам загорался без всякой видимой причины, как будто от внутреннего жара.

Несколько десятков партизан вышли с топорами и ножами и стали обходить неприятельскую крепость с наветренной стороны. Они скоро нашли пласт сухостоя, четыре километра вдоль и поперек. Этот лес был не особенно давно опален лесным пожаром, но до конца не сгорел, а только обгорел. Он торчал к небесам крепкими и черными стволами, как будто огромной черной щетиной.

Этот участок сушняка был намечен как отправная точка лесного пожара.

Партизаны набирали груды сухих ветвей и складывали их в самых густых местах, где древесные стволы почти соприкасались друг с другом. Ребята тащили бересту, набранную рядом в молодом березняке, который своей свежестью и белизной представлял поразительный контраст с обгорелым сухостоем.

— Палите!

В десяти местах сразу сверкнули искры, высеченные сталью из огнистого кремня, заалелась береста, вспыхнули сухие листья, тонкие стружки сосны, специально настроганные, смолистые комья лиственничной слезы, выбегавшей из трещин коры пахучими и вязкими

подтеками. Змейки огня сверкнули, заструились, как живые. Лес словно ожил, сучья затрещали, огонь пополз по земле и стал взбираться на вершины наиболее ветвистых, раскидистых деревьев.

Окончив работу, партизаны ушли в свой лагерь. Но пожар не ушел. Он встал высокой стеною, завихрился в вышине огненными метлами и двинулся вперед, на приступ к усадьбе богачей. Ветер тянул ровно, как бы подгоняя это огненное войско и стараясь бросить его на враждебную крепость. Таежный ветер был настоящим вождем этого непримиримого огненного наступления. Небо затянулось дымом, кругом навис серый горячий туман, сверху на дорогу, на зеленые деревья сыпался пепел, летели крошечные угольки, как будто светящиеся мухи, и временами падали более крупные головешки, неведомо как поднимаемые вверх восходившей струей огня.

Теперь осажденные были в своей, огороженной деревом крепости, как крысы в норе. На них падали горячие уголья, у них загоралась сухая кора на кровлях домов и амбаров, порой головешка попадала прямо на человеческую голову, и волосы дымились и тлели на живой голове, как будто на высушенной кочке.

— Нет, не удержимся,— мрачно сказал Чемпан.

Он был в парадном мундире с медалями, опоясанный широким чеканным серебряным поясом, в руке у него вместо оружия была булава старого казачьего полка, которую некогда принес в Якутию отряд казаков-завоевателей. Булава досталась прадеду Чемпана за те же «прекрасные услуги» — измену соплеменникам, о которых говорила казенная надпись на дарованном штуцере.

— Идем,— крикнул Чемпан,— пока не испеклись, как чирьи на рожнах у костра! Вместе держитесь. Нипочем не отступайте. Мы еще пробьемся через этот огонь на свободу.

Ворота заскрипели. Мужчины и женщины двинулись решительно вперед с ружьями, саблями и копьями в руках. Осаждавшие встретили их залпами, но огонь не давал подойти. И стрельба на большом расстоянии не причинила особого вреда отступавшим.

Огонь был враг более непримиримый. Но они неутомимо и бесстрашно наступали на красную стену, рубили топорами и валили горящие деревья налево и направо, лезли в огонь, как будто саламандры, и проходили сквозь него невредимо, слегка опалив волосы, одежду и ноши. Впрочем, нош у них было мало, все свое богатство они оставили сзади, в покинутой крепости.

Два часа продолжалась эта невероятная, почти баснословная борьба отступающего отряда с пылающей жгучей стихией. В конце концов отступавшие пробились, оставив сзади десятка полтора человек, сгоревших или задохнувшихся, отуманенных дымом. Их никто не считал, о них никто не думал.

Стихия огня как будто признала окончание дела. Дым и туман сгустились в угрюмую тучу, упали первые крупные капли дождя, через несколько минут хлынула с неба другая стихия, которая была сильнее пылавшего огня.

Горевшие деревья задымились уже не от дыма, а от пара. Туман собирался в завитые клочья, как будто пушистые волосы. Уже через час огонь был залит по всей линии, лесные костры дотлевали последним белым паром, и над общей картиной разрушения выглянуло холодное желтое солнце.

Осаждавшие сидели в раскидном топольнике и ничуть не пострадали даже от дождя. Они не преследовали отступавших, и белый отряд успел отойти далеко. Осаждавшие вошли в завоеванную крепость, она досталась им без всякого кровопролития. Она была полна богатством, во всех юртах лежали кожаные сумы, набитые соболями и падевыми белками, связки лисьих, волчьих и рысьих шкур; охапки нарядной одежды, замшевые куртки, подбитые волчьими лапами, высокие сары, сапоги из конины, с мягкими подошвами, с щегольскими отворотами из черного плица, вышитого и выстроченного разноцветными шелками.

Они стали грузить это богатство на вьючных лошадей, чтобы скорее увезти его в свою бунтовскую столицу. Это был капитал революции, завоеванная казна;

и не надо было подвергать ее опасности разграбления и дележки на мелкие части.

О белом отряде никто особенно не думал. Белых вышибли из их укрепленного гнезда, в дальнейшем им некуда деться, рассеются, развеются, станут выходить к людям, и люди всех перебьют, как бешеных волков или старых облезлых собак.

Об отступавших никто не думал. Но сами о себе отступавшие подумали. В ту же ночь, вместо того чтобы уходить подалее в тайгу, они повернули назад, напали на собственное стадо, отбитое отрядом бедноты, перебили пастухов и сторожей, забрали верховых и вьючных лошадей и даже успели отбить несколько вьюков, набитых драгоценными мехами, одеждой и товарами.

Итак, они снова стали конным отрядом, с ружьями и луками, с русским товаром и ценной пушниной для покупки пропитания в тайге.

Впрочем, ружья и луки давали возможность, в случае нужды, добывать пропитание без всякой покупки.

Белоякутский отряд после набега сделал сразу тридцать верст на чужих лошадях. Наехал в тайге на небольшой поселок, взял его приступом, сналета, вырезал мужчин всех поголовно под самый корешок, женщин и девушек заставил варить и готовить постели, а утром, насытившись мясом зарезанных быков и телом обесчещенных девушек, убивать их не стал и двинулся дальше на север и в ближайшую ночь доехал до другого таежного поселка и сделал то же.

Они ехали самой окраиной якутской земли, от поселка к поселку на двадцать и тридцать верст, ночлеги свои обозначали грабежами и пожарами, забирали скот, увозили имущество и скакали на север. Вслед за ними поднималось поголовное, сплошное ополчение, вдогонку скакали отряды мстителей сотнями и даже тысячами, но они были неуловимы, они уходили вперед, и погоня заставляла только новые трупы, обгоревшие юрты, раненых старух и обесчещенных женщин.

Так продолжалось три дня, потом пять, потом десять. Белые якуты шли на север, редела, снижаясь,

тайга, малолюднее и реже становились людские поселки, начиналась лесо-тундра, потом обнажилась широкая, ровная, мшистая, мерзлая степь, вековая заполярная, приморская тундра.

Здесь жечь было нечего, убивать было некого. На тундре были волки да кочевники-чукчи со своими полудикими стадами, которые были малоуловимы для южных таежных якутов.

Белоякутский отряд в тундру пробираться не стал. Он повернул на запад и прошел почти по самому Полярному кругу, укрываясь в последних перелесках от налетавшего ветра и холода.

С тех пор следы его теряются. Якутская революция развивалась своим чередом. Восставшая беднота скоро забыла о бежавшем отряде богачей. Но этот отряд не исчез. Он добрался до Лены, потом перешел через Лену, добрался до Хатанги и ушел далеко на Таймыр, в места совершенно неизвестные, никогда не посещаемые русскими, где он нашел обильную охоту и рыбную ловлю, речную и морскую.

С тех пор отряд этот обитает на тундре, спускается к югу и обратно поднимается на север. Каждый приход его обозначается грабежами и пожарами, восстаниями кулаков и шаманов, злой подпольной агитацией.

Они приходят малыми группами: десяток, полтора. Сожгут кооператив, разграбят все товары, вырежут русских работников тузрика или сельсовета, не пощадят ни женщин, ни детей и тотчас же убегают обратно на оленях бывшего старосты или другого тундренного богача. Вслед за ними укочевывают на далекий неведомый Север остатки еще не раскулаченных полярных феодалов вместе со своими стадами. Поймать отряд до сих пор не удалось. Обозленные жители пускались в погоню на оленях и собаках. Северные стражи летали даже на аэропланах, но в тундре отряд — как иголка. Сверху, с аэроплана усмотришь его разве чудом.

И так безнаказанно этот кровавый отряд до сих пор скрывается в неизвестных пространствах далекого Севера. Жители называют его довольно метко:

«с того света люди». Они имеют в виду «тот свет» легендарный, но на деле это «тот свет» социальный, бывший общественный ад, который для нового поколения сделался и вправду почти легендарным.

Так этот страшный отряд странствует по тундре, как Летучий Голландец. Поселкам, расположенным на северной окраине тундры, приходится быть на-чеку и настойчиво помнить постоянное правило:

Революционный держите шаг,
Неугомонный не дремлет враг.

Однако «повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить».

Попался на афганской границе Хан Ибрагим, вождь басмачей. Попадется и Чемпан со своим отощальым зверьем в безвестных пустынях холодного Таймыра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шесть дней и шесть ночей не спит старый дед Чобтагир. С утра до полудня, с полудня до сумерек. А в сумерки только заведет глаза — и мнится ему, что дух его отлетает от тела и в образе соколем улетает в тридесятые миры, подземные и надземные, и вот он облетел все неизвестные области на востоке и на западе. На западе, там, где живут незнакомые русские черти: не люди и не духи — большевики. Звенит над землею жуткое неведомое имя: Ленин, и безумствует дух нечестивой заразы, жадность перемен, чтоб рушить все старое, бывалое, пришедшее от дедов и знакомое с детства, установленное предками, и строить потом небывалое, на потеху мальчишкам, бесстыдным и безбожным.

«Такая зараза проникла в самые далекие углы и даже заразила одунов, мальчишек и девчонок, заразила родного Кендыка», — с горечью думает дед.

Такое видит Чобтагир днем, и вечером, и в сумерки, и в ужасе закрывает глаза, и так сидит до полуночи, бессильный и смятенный.

И в полночь заводит Чобтагир глаза, и вот к нему

прилетают далекие духи, с востока прилетают, из прадедовской страны, знакомые и жадные, ведомые ранее, с костлявыми лицами, как старые покойники, с большими обнаженными зубами, с раздвинутыми челюстями; в запавших глазницах зияют провалы, и жгут зловещие взгляды: не пускай, уничтожь. Не нужно российской перемены, суетливой и богопротивной. И духи подговаривают его на жуткие кровавые дела и подсовывают ему знакомые орудия войны: ружье и натруску с порохом и свинцовыми жеребьями. Вылетает из ружья жеребей, как смертельная муха заразы, и жалит на-смерть. Духи подают ему лук с раздвоенной стрелой, и двуострое копье, и тяжелую палму с крепким широким рубилом. А самый знакомый дух-покровитель, по имени Хаха, собственный помощник и родной прадед старого Чобтагира, сует ему в руки оселок и привычный запоясный нож самого Чобтагира и шелчет, и шипит, как злой горностай:

— Вот этим зарежь, уничтожь....

Старый Чобтагир не знает, не понимает, но злобный прадед направляет его руки — и левую и правую. И левая движет оселок, а правая привычным движением точит знакомый старый нож, словно собрался Чобтагир на веселую работу: пластать и свежевать горячую тушу убитого оленя, и кожу отдирать от мяса, и мясо отдирать от костей.

Кого же пластать? Не знает, не понимает обезумевший шаман. И вот на смену прапрадеду Хахе прилетела Курынь. Не эта, здешняя Курынь — знакомая старая баба, а та, прежняя шаманка, которая когда-то уничтожила и съела весь род Балаганчиков. Ее руки замазаны кровью, и на шее висит ожерелье из розовых бус. И те бусы — прозрачные кончики детских пальчиков.

В печонке шамана Чобтагира засела острозубая Курынь и смеется и скалится: «Я съела вот этих ребятшек, — видите круглые пальчики? — Кендыка не съела, не сумела. Съела бы Кендыка, Кендыка, Кендыка».

И старый Чобтагир повторяет из-под низу: «Кендыка».

Старая шаманка сидит на нем верхом, внутри его собственной печени, верхом на его собственной старой шаманской душе и душит его, погоняет и приказывает: «Кендыка съешь, не упусти...»

Шаман широко раскрывает глаза и видит: широко разрывается мрак, как черная кожа, раскрывается солнечный блеск, пролегает стеклянная дорога, широкая река, и с берега сдвигается в воду легкий челнок, и в челноке Кендык с двуручным веслом. Какой это Кендык? Старый или новый, чужой или свой? Или не было двойного Кендыка, все тот же Кендык, вольнодумец и изменник, нечестивый беглец, он хочет убежать к чужеземным чертям и там выставить на позор, на посмеяние русским родных духов племени?

Сдвигается в воду другой челнок, и в челнок сразу прыгает старая Курынь, длиннозубая шаманка, и гонит за Кендыком, и кричит зловеще и жалобно, и плачет, и просит: «Пожалуйста, постой, подожди, дай догнать».

И так они гонят по светлой воде плесо, второе и третье — Кендык, и Курынь, и Чобтагир тоже тут. Он зажат внизу, и старая Курынь сидит на нем верхом и погоняет костлявыми пятками. Чобтагир — это лодка, и в нем сидит острозубая Курынь. Чобтагир — это длинное весло. Курынь рассекает им воду, и весло режет воду, как наточенный нож. И воля Курыни есть воля Чобтагира, и оба кричат одним общим голосом: «Постой, не уходи, дай догнать. Ух, ух, съела бы Кендыка!»

А прадед, помощник, он тоже не ушел, все ту же и крепче он водит рукою Чобтагира и точит старый шаманский прадедовский нож, попробовавший крови не дважды и не трижды, звериной, оленьей и заячьей крови, пролитой охотником, и крови жертвенной и крови человеческой.

«Съешь, не упусти!»

С жутким весельем щелкает Курынь зубами и пальцами. «Ух, ух, наддай, наддай!.. Съела бы Кендыка».

.....
Шесть ночей не спит молодой Кендык. Он спит

днем, сидя под кустом, на открытой полянке, дремлет, как заяц, с открытыми глазами, и только он заведет глаза,— улетаёт его жадная, ненасытная душа на запад, далеко, в неведомую русскую землю. Там ходят по блистающим дорогам юноши, такие же, как Кендык, с новыми ружьями, с красными флагами. Там большие, огромные постройки, дома в шесть рядов, один над другим, как соты в улье. Там живут тысячи народу, сотни двадцаток, кто знает, сколько. Ходят по улицам ночью и днем сани на колесах по длинным железным полозьям¹. Плошки горят на высоких столбах. Летает железная птица, полая, как ящик, в том ящике люди. Говорилка на столбах поет и разговаривает на сто голосов. Там светлые одежды, обильная пища, сахар, и масло, и белая мука. Там никто не знает страха, не ведаёт голода. Люди молодые, все новые и молодые, строят новую и молодую жизнь.

Играет, загорается сердце молодого Кендыка. Он полетел бы туда и остался бы там и назад не вернулся. Нет, вернулся бы Кендык, но не скоро. Не в шкуре горноста, не в перьях сокольных, как старые шаманы, взвился бы, вернулся бы в железной летающей птице. Но тело Кендыка все еще на этом постылом берегу, и нет у него крыльев железных и летучих.

А ночью Кендыку жутко. Он чувствует, что всюду грозит ему опасность: хотят его съесть, уничтожить, убить.

Только заводит глаза — надвигается жуткая дрема. Злые одунские духи — пожиратели душ человека, злокозненные предки, жадные к чужому. Они и шаманы отнимают последний кусок у бедного охотника. Духи ненавидят ослушников, ненавидят и его, Кендыка. С разинутым ртом, с длинными и острыми клыками, с копьем, и с ножом, и с ружьем надвигаются духи-убийцы, и ведет их Курынь, старая шаманка, не эта знакомая, старая тетка,— та, прежняя Курынь, людоедка, и вместе с Курынью — Чобтагир, его собственный дед; руки его растопырены, как крепкие весла, пальцы

¹ Рельсы.

его — как режущие стрелы, ладоши — как ножи. С поднятым ножом на-весу гонится старый Чобтагир, гребет долгокостными руками, как веслами: «Съели бы, съели бы нечестивого Кендыка».

Шесть дней, шесть ночей ждал, ужасаясь, Кендык, потом он решился на великое, дерзкое дело.

С сумкою за спиною, с длинным веслом на плече, на рассвете прокрался Кендык к сестренке Мотальдие¹. Молодая Моталка обратила к нему свое заспанное личико:

— Куда ты собрался, Кендык, так рано на охоту? Убей что-нибудь пожирнее, повкуснее.

— Нет, я собрался в далекий путь, уезжаю в неведомую землю, иду искать спасенья от нашей злобы, голода и темного ума.

Моталка подскочила на постели и встала на ноги.

— Куда идешь? Останься,— сказала она голосом все еще несколько сонным.— На охоту не ходи, потерпим без вкусного, вот брюхо подтянем.

— Нет,— сказал Кендык,— убьют меня.

— Кто убьет?

— Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати,—

проговорил Кендык нараспев.

Это был одунский перевод-переделка старинной русской сказки-песенки.

— Да вот, слышишь?

Моталка насторожилась. Откуда-то чуть слышно, настойчиво и призрачно доносился тихий свист металла по камню: зловещий, жестокий. Где-то действительно точили нож, чтоб кого-то резать.

— Ну, иди,— сказала Моталка упавшим голоском, похожим на шелест увядших листьев под осенним ветром.

Как во сне, пошел Кендык к темному берегу и стал двигать по мягкому песку свой легонький челнок, сбитый из трех лиственничных досок, со стенками не тол-

¹ Мотальдие — Наталья

ще картона. Челнок сошел в воду. Кендык сел и двинул веслом. И вдруг неожиданно ночную тишину прорезал отчаянный, плачущий крик огорченной Моталки:

— Братик, вернись, Кендык, дорогой, когда-нибудь после, вернись! Приди, приди, не забывай нас, погибнем без тебя.

И вот, позабыв об опасности, ответил другой голос, такой же молодой, ликующий и плачущий:

— Не забуду, вернусь с хлебом, с прекрасной едой, с отличными товарами, с русскими товарами, с ружьями, с жирной дичью, обильной рыбой. Ждите, вернусь. С кафтанами из алого сукна. С топорами и котлами, с газетой и с писанным словом — Ленин, вернусь...

Стойбище проснулось. Всех раньше очнулся Чобтагир. Злые духи от него отлетели, но сам он был страшнее и злее всякого злобного духа.

— Ушел, не дождался, теперь не поймаешь его! Ушел и грозит: вернусь.

Старик бросил в сторону оселок и нож, сдернул с берега свой собственный челнок, прыгнул сразмаху на узкое сиденье и, расплескивая воду гибким веслом, завыл, как ветер, как волк:

— Вернись, не смей, убью тебя! Убью тебя, вернись!

И так они мчались сквозь тусклый молочный рассвет, с одинаковой силой гребли, не отставая, не обгоняя, словно связанные незримой нитью. Кендык летел на крыльях надежды, и старый Чобтагир такими же мощными взмахами гнал свою утлую лодку в погоне за Кендыком.

Впереди раздавались слова: «Ленин — вернусь», а сзади: «Вернись — убью тебя».

Как будто и впрямь Чобтагир не рассчитывал догнать бежавшего мальчика и требовал с плачем и всем: «Вернись, убью тебя».

И вопил и приказывал старый Чобтагир своим духам-помощникам. Приказывал им, как хозяин обузданным зверям: «Верните его, загородите дорогу ему. Ты, злой горностаи, изгрызи его сердце. Дедушка, темный медведь, старший брат нашей бабушки Дантры, схвати его, выешь его печень, сломай ему спину, верни его!»

С мутного рассвета до яркого полудня вперегонки летели дед и внук, прочерчивая плесо за плесом по дикой молчаливой Шодыме.

Плеса у Шодымы длинные-длинные, прямые, как копье, только впереди неясно маячит в воздухе ряд деревьев, словно сказочное марево. Доедешь до марева, а там — крутой яр, забит под обрывом сплавным ветвистым лесом, и река поворачивает круто, как ножка кузнечика, прижатая к брюху, сдвоенная, как ножницы.

Новое плесо уходит вперед, как полет оперенной стрелы, еще прямее и еще долгомернее прежнего плеса.

Шесть плесов прочертили два поколения погибающего племени одунов. Последнее старое гналось за первым молодым и не могло догнать его.

И оба кричали одно и то же слово: «вернись — вернись». Но одно и то же слово в двух призывах звучало по-иному. В одном крике был голос убийства, в другом был голос надежды.

Так промахали они двенадцать речных плесов до широкой реки Одолоя, впадавшей в Шодыму, шесть плесов до полудня и шесть плесов после полудня.

За Одолоем Шодыма стала быстрее, давая подмогу плывущему.

И в устье Одолоя Чобтагир неожиданно направил свой челнок на плоский песок. Челнок легко проскользнул вверх, на сухой берег. И там старик выскочил на песок и упал ничком, взвыл в последний раз и смолк, признавая себя побежденным. А духи-помощники облетели побежденного шамана и все еще мчались вдогонку Кендыку. Злой горноста́й с человечесьей головой, и сокол четырехкрылый, и щука в полплеса длиной, подводная царица Шодымы. Догонит Кендыка щука, и съест она его, раскусит и тело и легкий челнок своими частокольными зубами. И черный медведь, судья всех живущих, царь-медведь, белогривый медведь крикнет вдогонку:

— К русским уезжаешь, вернешься, — погубим тебя. К русским за оружием уезжаешь, вернешься, — погубим тебя.

Догонит медведь, и хрустнут его косточки на крепких и желтых зубах.

— Медведя берегись, берегись!

И духи кричали ему вслед:

— Ушел, пропустили, жертва не убитая.

И совсем недалеко, ниже на полплеса, все еще гнал обезумевший Кендык свою быстроходную лодочку. Он был моложе и крепче своего старого деда.

Потом силы изменили Кендыку, он тоже изнемог и пристал к берегу, но не стал выбрасываться на песок, а просто примкнулся к косе-осередышу, осевшей на быстром фарватере, как широкая глыба, и ждал, замирая, конца. В ушах у Кендыка звенели все те же ужасные крики: «Убью, убью». Сердце трепетало и хотело выпрыгнуть вон, как гусенок из сетки.

Минуты проходили, никто не убивал: не падали удары. Никто не душил убежавшего Кендыка, никто не выгрызал его сердца и печени и маленькой робкой души. Это его собственная кровь хлопала, как бубен, в ушах.

И вот острозубая Курынь ослабела и упала на песок, и все духи, и слабые и сильные, упали вниз и влипли в тину, как гнилые стволы, и сохли, как блеклые листья, и, свертываясь, падали в воду, и река их уносила вперед и топила на крутых поворотах.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже второй день, убежав от погони, Кендык плыл по пустынной Шодыме, направляясь на север. Плесо за плесом оставались позади, река становилась полноводнее, шире, и конца ей не было. На двадцать дней быстрого челночного хода протянулась Шодыма, от далеких одунских становищ до самого устья. Но эта огромная река все же впадала не в океан, а в другую реку, еще большую, Родыму, которая уже доносила все собранные воды северо-восточной тундры до самого Ледовитого моря. Родыма мало чем поменьше Волги, но в сибирском масштабе она — река второго разряда, уступая огромным великанам, родствен-

ной четвёрке: Оби, Ёнисею, Лене и братцу их, Амуру.

Река Шодыма до крайности пустынна. Это была неоглядная область, некогда занятая поселками одунов, которые с тех пор вымерли почти поголовно. Среди северо-восточных кочевников и рыболовов эта опустевшая область носила зловещее имя «Вымороки». Безлюдные одунские поселки все еще стояли на Шодыме, лепились по всем ее притокам: Одолою, Палугену, Погиндену, Молонде и Колонде. О них говорили в тайге, что там обитают мертвецы зримые и в то же время незримые. Черепа и скелеты, и кости валяются под изорванными полами шатров, белеют в землянках под стенками из облезлого дерна. Но в зримых костях обитают незримые духи, предки, мертвецы, которые все еще распоряжаются окрестною странюю. Они собрали себе всю лесную копытную дичь и пушного зверя, рыбу ходовую, рыбу жилую, ревниво сохраняя ее для себя и не отдавая даже самой малой части жалкому обрывку уцелевших соплеменников.

Однако Кендык уже с первого дня не испытывал недостатка в пище. У него было с собою несколько комков обычного дорожного запаса одунских рыболовов и охотников. То была рыба, стертая в муку и медленно изжаренная в рыбьем жиру, толченая щучья икра, крепко засушенная на солнце и ветру, было несколько узких полос и обрезков жесткого лосиного мяса. Но жил он не этим. Длинным метательным дротиком, пущенным с узкой дощечки, он убивал с поразительной легкостью жирных гуськов, увесистых, полувзрослых, с нежным и сочным мясом. На ночлеге выставлял небольшую изодранную сетку, захваченную в последнюю минуту, почти машинально. И в цепкие петли попадали жирнейшие чирьи и вертлявые мелкие нельмы, на десять и пятнадцать фунтов весу. У него был прибор для раздувания огня: трут, и кремень, и кресало. Впрочем, огня он сперва не разводил и даже ночевал, не раздеваясь, прямо в челноке, примкнувшись лодочным носом в каком-нибудь укромном уголке, оставаясь на воде и не подымаясь на берег. Но потом он осмелел, даже стал кипятить воду в бу-

раке, искусно свернутом из тоненькой бересты. Тонкая береста на огне совсем не прогорает, только чернеет от дыма и копоти. Рыбу Кендык жарил у костра на палочках, птицу пек в горячей золе, разрезав на части, и в своем берестяном котелке заваривал вместо чая душистые листья шиповника, придававшие воде горький привкус и чуть слышный, тонкий аромат.

Мертвецы опустелой страны принимали молодого Кендыка довольно благосклонно. Погода стояла ясная, солнечная. Ехать было привольно, тепло, никто не обижал запуганного мальчика — ни бури, ни звери, ни злые сны, ни опасные виденья въявь перед глазами. Однако в стране мертвецов не было недостатка даже в самых крупных зверях:

На одном ночлего Кендык развел огонек. Надоели комары и оводы, и без дыма сидеть было тягостно даже для привычного речного человека.

Когда разгорелся костер и крепко потянуло искрами и дымом, Кендык неожиданно увидел лесное чудо. Из лесу, над яром, выбежал лосенок, высокий, долговязый, длинноногий, сделал несколько нелепых прыжков, отбрыкиваясь от мучивших его оводов, а потом подскочил к костру и встал в струе дыма, относившей в сторону злые полчища несносного гнуса.

Кендык сидел не шевелясь, совершенно неподвижно, и глядел на пришельца. То был лось — мальчик, какой же юный, как и несчастный изгнанник.

— Здравствуй, лось, — сказал мальчик, шевеля губами совершенно беззвучно, как подобает разговаривать с лесными гостями и братьями.

Лосенок своенравно мотнул головой. Это могло означать приветствие.

— Какие вести? — вежливо шепнул Кендык. Так подобало приветствовать гостя при встрече, по уставу пустыни.

У лосенка вообще могло быть поручение от тех, кто прислал его, от мертвых хозяев страны, его нельзя было оставить без привета.

Но вместо ответа лосенок высоко подскочил, взбрыкнул, сделал поворот в воздухе и опять остановился почти на том же месте.

— Тпруси,— издал губами соответственный звук Кендык.

Так эвенские конники-мурчены окликают непокорных жеребят, лончаков¹, таких же пугливых, как дикие лесные звери.

— Тпруси, товарищ пиедже², давай поиграем.— Кендык даже привстал и сделал движение, как бы потянулся к холке неожиданного гостя.

Лосенок подскочил вдвое выше прежнего и встал на дыбы, сделал второй поворот, достойный цирковой лошади, и кинулся в дремучую, таинственную, все скрывающую чащу. Он, может быть, действительно знался с лесными мертвецами, но у него не было желания вступать в сношения с этим незнакомым, непрощеным пришельцем из страны живых охотников. Он не был, очевидно, посланцем от таинственных хозяев страны.

Еще день и два плыл Кендык вперед, но не являлись ему лесные мертвецы из своих недоступных и таинственных поселков. Он плыл среди реки по так называемой речной трубе (фарватер), а досельные жители селились в укромных местечках — в долинах, кулигах и заводах.

Иногда на речном берегу появлялась расчистка. Деревья были подсечены, и от них оставались обомшелые пеньки. Деревья были рублены железом, но некоторые с изъеденным краем, восходившим спиралью, словно были объедены острыми и мелкими звериными зубами. Эти спиральные следы были, очевидно, оставлены самыми старинными каменными топорами.

Здесь помещалось некогда одунское сельбище, но не было видно угловатых одунских построек. Быть может, они завалились от ветхости или стояли поглубже. Кендык не решался исследовать место и быстро уплывал дальше.

Но на другой день, к обеду, неожиданно на речном повороте вывернулся целый поселок. Должно быть,

¹ Лончак — прошлогодний, лонись — в прошлом году (северно-сибирское наречие).

² Пиедже — дось (по-юкагирски).

поселок когда-то был большой. Берег был очищен от коряг и выглажен на довольно большом протяжении. Здесь некогда приставали одунские лодки и сушились морды¹, мережи² и сети. Повыше стояло шеств жилищ: два кожаных шатра, две землянки одунского строя, крытые дерном и обмазанные глиной, и двестройки квадратные, рубленные в лапу, по-русски, в подражание казачьим избушкам. Привязи для собак, корыта для собачьего корма... Знакомая картина.

Вся обстановка была одунская, до такой степени привычная взгляду Кендыка, что ему захотелось взойти на косогор и пройти под навес, чтоб там поздороваться с женщинами, которые, очевидно, занимались обычной летней работой. Кендык почти произвольно приткнулся к берегу и остановился, словно выжидая, что кто-нибудь выйдет из-под навеса и окликнет его обычным приветствием.

Но из-под навеса никто не выходил, селение было пусто, не было ни женщин, ни мужчин, ни шумливых детей, ни сонных и ленивых, по летнему времени, собак. Или, если и были они, то — незримы людскому глазу и неслышны человеческому уху Кендыка.

Только на огромном камне, лежавшем у раскрытого входа в широкий рваный шатер, сидел горноста́й в летней грязно-серой шубке и глядел на прибывшего.

Если в селении были, действительно, зримые люди, то звери их нисколько не пугались, а может, и не видели их, как не видел их и сам Кендык.

Тогда неожиданно Кендык пошел на разведку. Решительным ударом весла он продвинул свою лодку на угол, выскочил, быстро взошел вверх и, остановившись на площадке, громко сказал:

— Ого, хозяева.

Никто не отозвался. Только горноста́й вспрыгнул с камня, скользнул к входу в дом и остановился, ожидая, что будет дальше.

¹ Морда — верша, корзинка, плетеная из ивы для ловли рыбы.

² Мережа — сеть в виде большого двойного мешка.

— Слушайте меня, старики,— так же громко еще раз воззвал Кендык,— зримые или незримые, есть вы здесь или нет вас? Слушайте, слушайте.

«Вот я, Кендык, сын Эгеди, внук Чобтагира, юноша одун, ушел из поселка живых, из родного Коркодима на реке Шодыме. От голода ушел, от вечного страха, от лесной, звериной темноты. Ушел навеки, не вернусь никогда, ушел от старого, ища нового, если есть новое. Новое солнце, новую пищу, новое умение работать ищу. К старому назад не вернусь. Новое найдя, привезу с собою домой. Старое гибнет, кончается наша одунская жизнь.

«Досельные деды, если вы тут и лишь мои живые глаза вас не видят, помогите мне выйти на новую дорогу. Покажите дорогу...

Он помолчал, но никто не ответил.

— Или помешайте мне, если есть у вас силы!..

«Отцы отцов, прадеды прадедов, благословите Кендыка на новую жизнь!

Он опять помолчал.

— Ах, проклятые вы, незримые!¹ — крикнул Кендык с вызовом в голосе.

Он долго ждал, но никто не отозвался.

— Молчите вы,— сказал он горько,— видно, вас нет вовсе, все обман, ложь, старые выдумки. Есть только гнилые доскутья и ломаные бревна да кости — песцовые объедки...

«Мертвые живым не помогают, прощайте, старики...

«Ленин! — провозгласил он в первый раз во время своей фантастической поездки победоносный крик, прилетевший к нему через многие тысячи километров из самого центра огромного круга Советской земли, и также из центра другого, более обширного круга наступавшей всемирной революции.

«К Ленину иду!

Нельзя сказать, осердились ли старые деды из мертвого поселка на вызов Кендыка, или это духи — помощники живого шамана Чобтагира — с большим опозданием догнали, наконец, убежавшего мальчика и

¹ Незримый — ругательство.

успели забежать вперед и пересечь ему дорогу. Звериные духи — помощники шамана — и во главе их царь-медведь, который соединяет в одном свирепом образе старую силу прадедов и живую жестокость шамана, — догнали Кендыка.

В ближайшую ночь Кендык имел первое серьезное приключение на своем длинном проплыве по широкой и спокойной Шодыме.

Он почувствовал себя к вечеру совсем усталым, ему захотелось отдохнуть не в зыбком своем челноке, а на твердой земле, свободно раскинуть вправо и влево руки и ноги, сжатые и скорченные в узком деревянном гробу.

По обычаю охотников, он выбрал песчаный островок-осередыш на самой середине реки, на котором ничего не было, кроме зарослей и низких кустов охты — черной смородины, даже наносного топлива не было, и его пришлось привезти с противоположного берега. Охта крупнее и слаще российской смородины, ею любят лакомиться и люди, и звери, и птицы, белки, лисицы и сойки, и сороки, и вороны.

Но белки и сороки спят по ночам, человеку они не опасны и днем. А от главного и страшного зверя, хозяина северного леса — всеильного медведя, не было свежих следов. Правда, на узенькой, чуть приметной дорожке, неизвестно кем протоптанной, лежали две кучки медвежьего помета. Они были истлевшие, старые, и их можно было определить только по зернышкам охты, до сих пор не истлевшим.

Кендык поставил челнок у берега, расчистив место на песке, развел огонек, напился горячего чаю из земляничного листа и улегся на охалке свежих веток охты и груды стеблей тоненькой «гусиной травы», которую тоже любят поедать северные звери и птицы.

Растянувшись во весь рост и тщательно расправив руки, затекшие от вечного весла, и скорченную спину, Кендык спокойно и сладко уснул, как некогда засыпал на таких же островках-осередышах против поселка Коркодима, на пятьсот километров выше по реке Шодыме.

На самом разымчивом развале предутреннего сна

внутренний сторож, живущий в каждом живом существе и никогда не засыпающий даже в глухую полночь, донес Кендыку предупреждение о неожиданной опасности. Оно пришло в виде сновидения из привычного прошлого: дед Чобтагир опять был тут, он шаманил, бил в бубен и призывал своих духов-помощников: Сокола и Горностая и крохотного Ездока на Мышах, с погонялкой из корешка осоки, того маленького человечка, который боится лицемерия большого человека и неохотно приходит на зов даже к сильнейшему шаману. Вместе с тем этот человечек является опытным охотником на огромных лосей, которых он бьет без промаха крошечной стрелкой из тоненькой острой былинки. Даже собственный свой помет Чобтагир призывал на подмогу, и помет появлялся в виде старичка с красноватой морщинистой кожей. Все они были вот тут, под руками, под глазами. Кендык мог видеть их, мог даже руку протянуть и гладить их по трепетной спинке, как пленного зайчонка или лисенка.

Чобтагир без усталости звал своих духов. Они прилетали один за другим и падали сквозь верхнее отверстие шатра, как вялые листья, и кружились над огнем. Чобтагир подставлял свой широкий бубен, они падали в бубен и шуршали и жужжали, как мухи, свивались, как черви, гудели, как мелкие пчелки, звенели, как комары.

Чобтагир тряс без усталости свой бубен, духов становилось все больше и больше. Бубен был полон доверху духами, и широким движением шаман вытряхивал их в огонь, и все они сгорали, с пеплом и дымом взлетали в вышину. Сгорали духи полевые, независимые, человеку непокорные, и духи враждебные, злые убийцы. Переплавившись в огне, они возвращались уже укрощенные, покорные воле шамана.

— Придите, придите, придите,— звал неумолчно Чобтагир. И каждого духа называл поочередно по имени. И они приходили на зов.

Кендык слышал это сотни раз и отвык удивляться и выкрикам деда, и его очередным прыжкам, и трюкам, и фокусам. Даже и теперь, во сне, он не стал удивляться, когда заклекотал проворный коричневый Со-

кол, и Лебедь закикал, поматывая долгою шеей, и зафыркал Горноста́й и зашикал сердито и задорно.

И тогда шаман стал призывать начальника духов — Медведя. И Кендык услышал Медведя. Он завозился в кустах, тяжело засопел и пошел по песку, поднявшись на задние лапы. Кендык слышал его все яснее и отчетливее. Медведь приближался к ночлегу лежавшего, спавшего мальчика. И вдруг, как игла, пронизала сознание догадка: острый вопрос и четкая уверенность. Это медведь совсем не из далекого шаманского действия, за полтысячи километров, попал сюда на этот мелкий остров. Это настоящий медведь, тяжело сопя, ступает по песку.

Кендык сразу очнулся и вскинулся словно на пружинах с своего травянистого ложа прямо к челноку. Медведь, действительно, подходил. Он был тут, близко. В тусклом сиянии наплывшего рассвета мальчик видел отчетливо его острое рыло, приносившееся к лакомому запаху человеческой добычи: «ахм, ахм».

Он видел разинутую пасть, оскаленный клык с правой стороны, с которого стекал тонкий шнурочек слюны. У Кендыка не было ни ружья, ни лука, ни копья. Но, следуя дорожному обычаю, он сделал на всякий случай старинное копьё из длинного крепкого ратовья, сведенного на-нет в верхушке. В этой приостренной верхушке была укреплена тоненькая косточка, кругло отточенная заподлицо с ратовьем и колкая, как жало.

Это было оружие каменного века, но оно не уступало, пожалуй, стальному копью.

Медведь подходил. Кендык мог бы в своем челноке отплыть от берега одним быстрым движением, но сердце его загорелось негодованием и жаждой борьбы.

— Пришел ты, ага,— крикнул он запальчиво,— на, получай!

Он прыгнул вперед и изо всей силы ткнул медведя своим костяным копьём. Медведь резко рванулся, древко хрустнуло и переломилось на четверть от медвежьей груди. Медведь ринулся вперед на Кендыка, но мальчик проворней горноста́й или бедки уже уплы-

вал на широкую воду длинными размашистыми взгребками. Он не оборачивался, но слышал за собою, как медведь плевался кровью и в бессильной ярости хватал траву и камни с берега, траву запихивал в рану, а камни бросал вслед ускользнувшему врагу.

Много часов прилежно, без отдыха работал Кендык веслом и на новом повороте увидел еще одно новое диво. То был длинный челнок, в челноке сидел мальчик одунского вида, с таким же двуручным веслом. И на переднем пангиле (распорке) лежало копье, такое же длинное, как в челноке у самого Кендыка.

Все это было так похоже на самого Кендыка, на его двойника, отражение, тень, что мальчик невольно бросил взгляд на воду, отыскивая, есть ли другая, привычная тень. Но под Кендыком была его собственная тень, а у встречного мальчика тоже было свое отражение, распещренное рябью от гребущего весла.

Это был не двойник, а живой человек. Лицо его исказилось удивлением и страхом. Он выхватил из лодки тонкую палочку и наставил навстречу Кендыку. Кендык узнал старую колотушку от бубна, которую какой-то шаман дал неизвестному мальчику для защиты против духов. Мальчик принимал Кендыка за духа, за пришельца из таинственного мира и старался защититься от него.

Кендык в духов не особенно верил, а с дедом-шаманом был в непримиримой ссоре и не мог бы получить от него никаких магических орудий. У него оставался только осколок изломанного древка от его самодельного копья. Он поднял его, наставил навстречу противнику. И так они проплыли мимо друг друга, подгребая одной стороной весла, а с другой стороны защищаясь своим непрочным оружием. Минута — и они разошлись и вышли один у другого из поля зрения.

«Кто же это?» — подумал Кендык.

Встречный противник все-таки мог быть двойником, живой человеческой порчей, которую злые шаманы насылают на людей, обреченных их гневу, для коварного их уловления, смотря по их личным свойствам. Девиде подсылают красавца, который соблазняет ее

и потом убивает первым зловещим, злокозненным объятием. Юноше подсылают соперника-бойца с волшебным орудием, бьющим без промаха. Подсылают охотнику колдовского враждебного барана, который завлекает его в горные теснины, в опасные пропасти. Выстрелит охотник, вспрыгнет подраненный баран, и охотник поскользнется на неверной тропе и скатится в пропасть.

Но Кендык освобождался от веры в старые сказки, от веры в привидения и порчи с каждым взмахом своего деревянного весла. Противник ведь тоже был напуган и проплыл мимо и никакого удара не нанес.

«Одунский мальчишка живой,— подумал Кендык.— Остались живые одуны, прячутся где-то в заливах, в протоках, живут. Расспросить бы его... А ну его! — решил он бесповоротно.— Есть, должно быть, не одни молодые, есть старые, злые...»

И перед его умственным взором промелькнуло, как будто живое, лицо его деда в другом варианте, новом, но также знакомом, враждебном и опасном.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Наутро, после ночи, когда убежал Кендык, на Коркодымском стойбище было великое смятение. Не было на стойбище Кендыка, не стало Чобтагира, но все слышали вопли старика и выкрики Кендыка, плеск весел, которые гребли взапуски. Мальчишки узнали подробности побега от сестренки Кендыка Моталки. Да и вообще в таком маленьком обществе все давно знали и чувствовали, что надвигается взрыв. Все знали более или менее о том, что было, но никто не знал, что будет после. Старики пытались расспрашивать Шоромоха, но он угрюмо молчал.

— Подождите,— отозвался он наконец.— Вернется старик и устроим суглан. Пусть скажет.

Этими словами он слагал ответственность за все происшедшее на своего двоюродного брата. Племя покорилось и стало ждать в молчании.

Чобтагир вернулся поздно ночью. Он должен был проехать обратно те же шесть речных плесов, но уже против течения, что, разумеется, гораздо труднее и медленнее. Вместо того чтобы грести, он толкался на шестиках, но ему пришлось вести постоянную борьбу с течением. Он выглядел очень усталым. Его лицо и шея были в поту, что редко бывает на севере даже летом. Руки его примахались и словно хотели выскочить из суставов.

Проглотив несколько горстей порсы, жареной рыбьей муки, и выпив ковшик того же брусничного горячего навара, который заменял одунам чай, старик угрюмо осмотрелся. Племя сидело кругом и ждало начала совещания. Суглан был в полном сборе, даже матери с детьми, с грудными младенцами, Лошия и Кия, тоже пришли. Младенцы лежали на траве; один из них мирно сучил ножками, другой спал крепким сном.

Племя было в сборе, но сидело оно не по-обычному. В нем обозначились новые группировки: началось расслоение, как будто один звук имени Ленина вызвал новые силы, ведущие к разрыву эту полумертво-застывшую родовую дрему. Дети сидели налево все вместе, среди них выделялись Моталка и Чапкан, такой же молоденький мальчик, моложе Кендыка, но очень задорный, крикун, говорун, которого всегда унимали на сборищах унылого племени. Близ них сидели женщины, старухи и молодницы,— все, даже девушки, были здесь. Это была группа наиболее угнетенная, которая к тому же больше всего страдала при общем голоде и за себя, и за детей своих, и за своих домочадцев. Гнев старой Курыни зажег все женские сердца, и по-своему они ненавидели Чобтагира, не меньше, чем юный Кендык. Подальше сидели мужчины, старые и молодые. Но два представителя власти — Чобтагир и Шоромох — сидели поодаль. Другие мужчины отодвинулись от них, как будто от подсудимых.

Шоромох пытался бодриться и продолжал выполнять свои функции.

— Говори,— обратился он суровым голосом к неудачливому духовопрошателю.

Чобтагир развел руками.

— Моя вина, не догнал,— сказал он упавшим голосом.

— А что теперь будет?— выразил общее жуткое недоумение Спиридон, тоже родственник Чобтагира, охотник уже пожилой, но еще очень крепкий.

Его перебил задорный, нетерпеливый вопрос мальчишки Чапкана.

— А зачем гнал?— спросил он, обращаясь к Чобтагиру в упор.

Это было неслыханное нарушение родового этикета. Мальчишки вообще не имели права голоса на собраниях и могли присутствовать только в качестве молчаливой толпы.

Но Чобтагир ответил Чапкану, как равному:

— Жизнь хотел переменить, к русским убежал.

— Проклятая жизнь,— властно и жестоко сказала старая Курынъ.

Со времени последней голодовки она находилась в состоянии открытого бунта против мужа и его брата.

— Проклятая старая жизнь,— продолжала Курынъ все так же неумолимо,— и старость наша такая же проклятая.

— Да что с ним толковать,— сказала с презрением Кия.— Он — ровно тетерев — все юдно долбит. А вот скажи лучше ты, Шоромох, что с нами будет теперь?

— А я знаю?.. Русские, должно быть, придут...

Но старого шамана словно прорвало:

— Русские придут, с ружьями, с длинными ножами, с саблями, отнимут последних белок, лисиц, без всякой платы, объедят до последнего куска. Девушек, женщин опоганят. Так было, так будет. Русские придут, потом придет смерть.

Племя заволновалось. Приход русских всегда был нестерпимым бедствием, хуже голода, хуже мора.

Старая Курынъ внезапно переменяла фронт.

— Мы уйдем в леса,— сказала она.— Мы, женщины с девчонками, с младенцами. Одни, без мужчин, без мальчишек.— На слове «мальчишек» Курынъ запнулась.

— О мальчишках обсудим потом, а мужчин нам не надо, слабосильную команду. Не охотники, а только

ёдоки, по мясу резчики. А пуще не надо стариков, вот этого, вот этого.

Она решительно указала пальцем на двух представителей власти, социальной и духовной. Но мальчишка Чапкан еще раз удивил собрание.

— Мы не пойдем в лес, не надо убегать, мы знаем... нам Кендык говорил, Моталке и мне, мальчишкам и девчонкам. За хлебом ушел Кендык, за новой едою, за новыми товарами. Русские — не те русские, злые начальники, грабители, черти,— эти русские большие, большаки, большие дела, большие товары, большая и новая жизнь.

Племя слушало, затаив дыхание, эту странную речь. Даже Кендык никогда не решился бы высказать так ясно свои новые желания, а, быть может, и не сумел бы высказать. Но этот мальчишка выразил их так коротко и четко. Чапкан подождал и крикнул: «Ленин» — лозунг знакомый, уже звучавший однажды в этом захолустном углу.

И несколько детских голосов, Моталка и другая девчонка Аннайка и еще трое одноклассников повторили нестройно, несмело этот новый лозунг, раньше незнакомый, а теперь уже более привычный. Вместе с Кендыком это было уже больше пятидесяти процентов голосов молодежи за новые порядки, за новую большую жизнь.

Всеми забытый, оставленный, просидел шаман Чобтагир на берегу до поздней ночи.

Шодыма неуклонно бежала мимо, и в ропоте ее струй старику непрерывно слышался упрек и напоминание: «Ушел, упустил, не поймал, упустил, не поймал, ушел, не поймал!»

Он понимал отчетливее всех соплеменников, что старая жизнь бесповоротно кончилась. Он не сумел вернуть Кендыка, но Кендык вернется. Придут русские, такие или иные, старые разбойники или новые нечестивцы, противники богов, все равно,— старая ветхая постройка одунской жизни, последний, истлевший, обветшалый обломок старины рушится без всякого остатка. Уходить надо.

Семь дней и семь ночей не ложился спать, не отдыхал Чобтагир. Его утомленная голова невольно клонилась на грудь, он засыпал сидя. Но одиночество его было нарушено. Обычные спутники Чобтагира — духи-помощники, подвластная ему дружина, и духи-убийцы — враждебная, сравнительно мало знакомая сила, несмотря на вечные сражения в течение полувека, — все они опять были тут.

Покорные звери и птицы, с вопросительным взглядом, искавшим поручений хозяина, зубастые духи болезней и смертей, готовые к предательскому нападению, приходили, возвращались, кружились в каком-то бесконечном хороводе и все повторяли всё тот же возглас: «уходить надо».

Многие из духов явно готовились в путь, снимали шатры и увязывали снаряжение в тюки, готовили и запрягали сани.

Женщины духов со стоном прощались с насиженными местами: уходить надо.

Старая жизнь, очевидно, кончалась, не только естественно для слабых людей, но также сверхъестественно для духов.

Однако, собираясь к уходу, духи не хотели оставлять позади также и одунов и в особенности главного виновника всей этой передряги — Чобтагира.

«Вы тоже уходите! — приказывали они. — Ты уходи!»

Они взлетели над поселком, разбились на рабочие партии и, подлетая к каждому шатру, каждой хижине, принимались согласно и дружно трясти и раскачивать четыре основные жерди, сведенные вместе над центром ее, очагом.

— Эй, ух! — выкрикивали они в такт.

— Эй, ух! — выкрикивал невольно и Чобтагир. — Ух, вот как... Я вам тоже помогу.

Он взлетел над землей и подлетел к группе, раскачивавшей столбы его собственного дома.

Внизу спали враждебная отныне Курынь, ее сестра Айяка, племянница Лелого; только Моталки не было тут, она была где-то с чужими ребятами.

Чобтагир мог видеть, как нападавшие вместе со столбами его дома вытаскивали души из спящих жен-

щин, и, по мере качания жердей, души вырывались у женщин из груди или изо рта и сначала удлинялись и тянулись, а потом отскакивали в обратном качании, съезживались и исчезали, возвращаясь обратно на место.

Но духи не хотели отстать. Разрушая жилища, они хотели захватить души обитавших людей в качестве верной охотничьей добычи для дорожного запаса.

— Го, го, гок, гок,— запел главный из духов старый трудовой ритмический припев, звучавший как русские ритмы: «подернем, подернем».

Четыре центральных столба вышли из гнезд и выхлестнули души из спавших людей. Тела их остались на земле, как опустевшие мешки. Чобтагир ждал, что все упадет и обрушится с грохотом, но столбы не упали. Они стали двигаться в воздухе, качаться, мелькать то там, то сям, и из них складывалась новая форма — четырехугольная, с кровлей, с трубой — знакомого вида, несказанно-противного Чобтагиру.

Духи с жалобным стоном отлетели в сторону. Из сдвинутой хижины чудесно сложилась четырехугольная изба с печью, с кровлей — русская изба.

Духи отказались бороться. Они оставили шатры и хижины, выпустили схваченные души и улетели на запад, как стая огромных черных птиц или ночных теней. Но, пролетая мимо Чобтагира, они окидывали его последним взглядом ненависти..

— Проклятый, жертва недобитая.

О ком говорили они? Так вчера кричал он сам вслед Кендыку во время его быстролетного бегства. Но теперь это гневное имя перешло на него самого — на смятого, неудачного зачинщика ссоры, Чобтагира.

И Чобтагир встрепенулся. Ему пришло в голову, что не все еще потеряно.

Можно одну жертву заменить другой. Послать человеческую душу вслед улетающим духам, может быть, они смилуются и вернуться. Закусив душою человека, они окрепнут, насытятся, вернуться и поспорят с духами русских, с духами Кендыка.

Чобтагир быстро побежал к своему дому. Дом по-прежнему стоял на месте, женщины внутри его спали.

Чобтагир сдернул тонкий ремешок, висевший у двери, и пошел к лесу, сплошной стеной облежавшему поселок.

Он завязал ремень вокруг тонкой и гибкой осины, проворно влез на нее и привязал ремень к верхушке, потом на ремне спустился на землю, тяжестью собственного тела сгибая осиновый ствол и сводя его в дугу. Очувившись на земле, он еще проворней захлестнул ременную петлю на соседнюю крепкую лиственницу и с большой, нестарческой силой стал тянуть ремень, все дальше сгибая осину, словно приготавливая ее для заячьей петли.

Таким способом одуны ловили зайца на всем скаку. Заяц попадал головой в раздвинутый в воздухе круг ремня, сдергивая его с места. Освобожденное дерево взлетало вертикально вверх, и добыча, пойманная, можно сказать, на лету, со свистом взвивалась над землей.

Но эта петля, судя по ее величине, предназначалась не для зайца, а для волка или молодого оленя.

Чобтагир раскинул, как надо, петлю, устроил спуск, закрепил и курок и насторожку, и гибкая ременная ловушка повисла в пространстве, предлагая всему пробежавшему воздушную смерть.

Но никто не пробежал, ни заяц, ни волк, и вместо мохнатой добычи старый шаман сунул в петлю свою собственную голову. «Ешьте, духи!» — воскликнул он, быстрым движением отдернув петлю от лиственницы.

Движение это было так быстро, что неоконченный крик оборвался в горле самоповешенного, и вышло: «еш-ш-ш...» Вершина всхлестнулась дыбом вверх и взметнула над землей тело шамана...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Река Шодыма стала совсем полноводная, но текла она медленно. Выморочные села одунов остались далеко позади. Кендык греб неустанно с раннего утра до позднего вечера. Он чувствовал вполне определенно, что вышел из границ старинной одунской жизни, но в

Новую область, русскую или якутскую, еще не вступил, и он поспешал, чтоб увидеть хоть первые знаки этой жизни, незнакомой, невиданной и более богатой.

Знаки показались на следующий день, но в них не было ничего необычного. Это были затесы на деревьях, сделанные русским топором, железным и даже стальным. Однако топоры из железа, хотя и похуже качеством, были уже давно у самих одунов.

Вечером Кендык подъехал к заимке. Это была, в сущности, одинокая рыбацья поварня — промысловая избушка, загруженная сетями, самострельными луками, свитками лосиных ремней и прочим скарбом. Это была несомненно русская заимка. Людей в поварне не было, но были корбасья¹, униженные сплошными рядами вяленых чиров и максунов².

Кендык ночевал в поварне, закусил русской сушеной юколой. Она была жирнее и нежнее юколы одунской, так как рыба шла из моря в реки и тощала на каждой сотне километров, а лишняя тысяча километров, пройденная вверх по Шодыме, превращала даже жирнейшую низовскую бело-розовую нельму в сухую и жесткую доску.

Рано поутру Кендык отплыл от поварни искать встречи с русскими. Они были, конечно, тут недалеко...

Сорок лет назад по такой же дороге проехал Кендык Старший, спасая свое тело от зубов людоедки Курьни. Он несомненно ночевал в такой же безлюдной поварне, ужинал такой же рыбой и с таким же замиранием сердца выехал отсюда навстречу своей неизбежной судьбе.

Его судьба была печальна. Кендык Младший знал о ней довольно из рассказов того же Чобтагира, из женских обрядовых песен, которые все еще вспоминали старую людоедку Курьнь.

Тогда русские встретили Кендыка сначала приветливо, накормили и одели его, а потом отвезли его в

¹ Корбасья — шесты.

² Чир и максун — породы местной рыбы. Максун — ходовая порода, приходящая из моря, а чир — отчасти ходовая, приходящая из западных озер, а отчасти жилавая, оседлая в реке.

Родымск, к главному начальнику всей Родымской области.

Начальник стал спрашивать Кендыка:

— Человечье мясо ел?

— Меня самого чуть не съели,— ответил словоохотливо мальчик.

— Но ты сам ел ли? — допытывал исправник.

— Ага, ел, конечно, не то бы зарезали меня,— доверчиво признался Кендык.— Ты был бы, тоже ел бы,— сказал он исправнику.

Но по местному закону, туземному и русскому, то был грех великий, непрощаемый. Людоеды были как демоны, как черти, исправник относился к ним так же, как и бедные одуны.

— Я не могу судить тебя. Я пошлю тебя к высшему начальнику в полуденную сторону.

— А что сделает со мной тот высший начальник? — спросил Кендык упавшим голосом. Он искал спасения и попал из огня в полымя.— Голову срубит?..

Исправник был из бывших офицеров, человек исполнительный, хотя и суетливый. В ту же ночь из Одунска выступили две казачьих экспедиции: одна направлялась на восток, через горные хребты и быстроводные разбоистые реки, разыскивать виновных одунов-людоедов. Другая увозила на юг, к далекому Якутску, самую последнюю несъеденную жертву. Она в должное время добралась до Якутска.

Кендык по дороге дичился и со страхом посматривал на длинные сабли-сеledки своих казачьих спутников. В дремучем алданском лесу он сделал попытку бежать и без труда ушел от сонных казаков, унес ружье и даже одну саблю в ножнах.

Но на первом же ночлеге ему стали мерещиться две женщины, поедавшие детей.

По одунским понятиям людоедством занимаются лишь злые духи, и поэтому две зловещие одунки после того, как поели человеческого мяса, стали злыми духами. Было совершенно естественно, чтобы ныне они приступили к последней несъеденной жертве.

Кендык просидел страшную ночь нагишом среди четырех пылающих костров, ибо пламя защищает от не-

зримых нападений, но потом на рассвете пустился обратно к своим сторожам. Он считал их теперь защитниками от злых людоедов. Но казаки рассердились и избили его и связали по рукам и по ногам. Однако везти связанного человека по тундре невозможно. Через несколько часов казаки развязали Кендыка, но присматривали за ним более тщательно. Впрочем, теперь в этом не было особенной надобности. На другую встречу с мертвецами-людоедками Кендык рискнуть не желал.

В Якутске, по небывалой затейливости преступления, Кендыка судить не стали, а послали его в Иркутск. Быть может, хотели угодить иркутскому генерал-губернатору, пресловутому Фалалееву, которому непочтительные гимназисты по его непомерной глупости, ретивости и склонности к похабщине дали неприличное, но бойкое латинское прозвище. Прозвище это, кстати, было созвучно его фамилии.

Фалалеев любил разные монстры и раритеты. Он оценил и этот людоедский случай, Кендыка заточил в тюрьму, а из далекого Якутска выписал пресловутые вещественные доказательства, привезенные казаками. Кости были похоронены в земле, в берестяном туесе. За ними пришлось снаряжать новую экспедицию. Судили Кендыка еще через два года. Он к тому времени представлял только тень человека, серо-прозрачную, тусклую и тонкую, как пленка.

Судили его с сословными представителями.

Городской голова Фадеев спросил через переводчика у подсудимого-людоеда:

— Можете ли вы среди этого дерьма указать кости, лично объединенные вами?

Кости к тому времени совершенно сгнили.

Кендык ответил по-русски, ибо к тому времени он сносно научился болтать на языке своих сторожей и союзников.

Ответил жестко и смело:

— Дерьмо о дерьме спрашивает.

Фадеев рассердился.

Кендыка по дерзкому ответу признали опасным и нераскаянным и приговорили его к шести годам ка-

торги, без зачета предварительных трех лет заключения.

Дальше след Кендыка теряется.

Каторга съедала и более крепких людей, чем этот несчастный, замученный мальчишка из одунского леса.

Одуны передавали отрывки из этой примечательной истории, но о конце самого Кендыка говорили угрюмо и кратко: «съели одуна».

Они были по-своему правы. Две людоедки съели родовичей, соплеменников одуна Кендыка, но два генерала съели самого одуна и даже не поперхнулись, и тотчас же забыли о Кендыке.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Кендык Младший вспоминал эту жуткую историю, проезжая два последних поворота родной Шодымы, перед ее впадением в Родыму.

Убегая от голода, от собственного деда, от его шаманского ножа, спасая свою жизнь, наподобие старшего Кендыка, он не имел ни досуга, ни желания подумать о том, что с ним будет, когда он переступит одунскую околицу, но теперь время это наступало, он приближался к порогу, подходил к воротам.

Но он не имел особых опасений, за ним не было вины. У родных его одунов не было людоедства, а от злого убийства Кендык своим поспешным бегством спасся сам и спас своих родных. Он был не такой, как прежний Кендык. Да и русские, конечно, были не те, а иные: большие русские, больших дел русские.

С каждым новым ударом весла выростало вместо страха нетерпение. Дойти бы скорей, увидеть, ухватить. Вырваться из этого загона, хотя и с неоглядной оградой, на настоящую волю, на широкий простор...

Еще поворот, и совсем неожиданно Кендык наехал на промыслы. Два карбаса плыли по воде, ведя перед собой двойной спаренный невод. Невод шел поперечной стеной, саженой на полтораста, так медленно и важно сплывая сверху вниз по реке. И слева и справа две лодки подбирали ближайшие ставы, вынимали из

них трепетавшую рыбу и сбрасывали ее на дно. Это был сплавной лов омуля, похожий на прекрасную игру. Так не промышляют на скудных и узких верховских реках, где впору обернуть лишь одну лодку и один короткий невод.

Минута удивления. Промысел не прекратился, ибо невод нельзя было бросить на произвол судьбы. К тому же омуль шел грудно и все время «ячеился», застревал серебристыми головками в верхних ячеях вязаных столбов невода. В конце тони невод предстояло выбрать обратно в лодку и вернуться вверх, к началу тони. Но до этого было еще далеко.

Однако на берегу началось движение, выскочила юркая фигурка, потом две, потом еще две. Спустили челноки, шаткие, вертлявые и бойкие, как у самого Кендыка. Еще два. Шесть человек поехали вверх перехватить беглого. Приезд его не был совершенно неожидан. Весть о том, что «какие-то едут сверху», возникла на поселке Чайдуван еще вчера поутру, неведомо как и откуда.

Видел ли Кендыка кто-нибудь из русских ребятишек, проехавших вверх по реке поохотиться за линиями гусями, или впрямь полоумный Алеха Выпивоха увидел Кендыка во сне; как о том рассказали соседки, но никто не сомневался, что едет чужой. Он уже был на виду, на учете еще до приезда.

«Едет беглый» — и даже не беглый, а беглые. Не едет, а едут. «Едут многие».

Легенда о беглых жила на Родыме с самого нашествия казаков, ибо с казаками вместе просачивались вольные люди, гулящие, бестяглые, бесписьменные. С петровского времени к ним прибавились настоящие беглые, убежавшие рекруты и солдаты, тюремные сидельцы и каторжные, подневольные колодники. Целые слободки и заимки на самом крайнем Севере пошли от Безыменных, от Непомнящих, от Беспрованых, которые, обжившись на месте, попадали, наконец, под вопрос заседателя: «Откуда пришел, и как звать тебя?» И они отвечали по-старому, по-бывалому: «Андрюшка Непомнящий» или «Иван Беспрованный».

Так же и в самые недавние годы последние волны

гражданской войны доплескивались сюда в виде осколков беглых банд, белых и зеленых, и попросту разбойничьих.

Эти последние беглые, белые, внушали населению ненависть и страх, более определенный, чем старые отдельные бедняки-беглецы. Эти шли группами, грабили, убивали; оттого и об одиноком одунском беглеце уже сказали в поселке на низу: «не едет, а едут». Это первый разведчик.

Лет двести назад русские были по преимуществу мужчины, а женщины — туземного, местного корня, но теперь человеческое тесто стало однородным. В бытовом отношении преобладал туземный уклад жизни, полученный по наследству от бабушек и матерей.

От русских поречане получили язык, обилие песен и сказок, а главное — надменное сознание своего превосходства над жалкими «полевыми людишками», «тунгусишками», «якутишками».

В прежние годы занятия у них были разные: с одной стороны, охота с различной снастью, с лисьими и заячьими пастями¹, рыболовство ивовыми вершами, часто голод, панический страх перед начальством, а с другой стороны — мельчайшая торговля и перепродажа через десятки рук русских товаров, пришедших с далекого юга: чая с табаком и пороха со свинцом, холщевой нити и конопляной пеньки для сетей и неводов.

К одунам и эвенам эти далекие продукты новейшей цивилизации доходили мельчайшими частицами. Кирпич чая разрезался по восьмушкам, папуша табаку разбиралась по листочкам, свинец шел по жеребейкам, а порох — по зарядам. И за каждую частицу требовалась белка, горностай, лисья головка, а то и целая лисица.

Суровое время царской войны и войны гражданской, а затем разрухи закупорило узкую трубочку северной торговли на целое десятилетие, и пред тяжелой бестоварицей сравнялись туземные жители Севера — русские и «инородцы», бывшие завоеватели и потомки завоеванных племен. Теперь появились, наконец, то-

¹ Паст ь — падающая ловушка.

вары и новые власти, но власти эти были иные, чем прежде.

В жестокой борьбе — в борьбе между скупщиком и охотником, — которая шла непрерывно на севере, как и на юге, власть впервые стала на сторону охотника. Но скупщик, даже мелкий, называл себя русским. Все лучшее было русское, не только привозное, но даже местное. Была русская собачья упряжка с красным сукном на шлеях, русская нарта, разрисованная яркими красками, как старые московские сани, с колокольчиком у верхней дуги, рыболовная сеть «русанка» с большими ячейками на двенадцать перстов ширины, пригодная для ловли царицы северных рыб — полуторапудовой нельмы.

Однако пронырливые окраинные старожилы живо учуяли разницу и даже забежали вперед. Новое начальство хотело помогать инородцам, которых сначала называли «туземцами», а потом — «националами». Русская «смешница» в окружных городках и поселках, бывшие казаки и мещане и обрусевшие остатки полуистребленных туземных родов теперь стали называться не по отцам, а по матерям или по старым «ревизским сказкам», как они писались еще в XVIII веке: чуванцы, юкагиры. Они воскресили имена племен, вымерших за два столетия назад или вовсе не существовавших, и собирали, например, омокские и анаульские съезды, хотя анаулы лишь мелькнули в казачьих отписках сибирским воеводам, а омоки существовали только в полицейских отчетах.

Однако внутри этих полурусских и полуобрусевших групп действовали собственные классовые противоречия, и бедные охотники и рыбаки, говорившие по-русски, ненавидели собственных скупщиков, торговцев и рыбопромышленников не меньше, чем бедные одуны и эвены. Вперемежку с обрусевшими группами обитали другие, еще более пестрые, потерявшие народность и язык в пользу ближайших туземных соседей более сильного культурного состава. Были, например, самодские группы, принявшие зырянские обычаи, так называемые яраны. Были долганы, племя неизвестного происхождения, принявшие якутский язык, жестоко

угнетаемые якутскими скупщиками с юга. Были обуряченные ороконы тунгусского корня и объжученные мурчены, конные тунгусы — эвенкийцы. На устьи Енисея жили, напротив, затундренные крестьяне настоящего русского корня, которые утратили русский язык, говорили на долганско-якутском наречии и переняли долганский уклад жизни.

В этом пестром северном затундренном и лесотундренном углу, между Нижним Енисеем и Хатангой, жители, устав разбираться в национальных переплетках и противоречиях, постепенно ввели особую номенклатуру на основе промыслов и взаимных экономических отношений. Все рыболовы любого происхождения назывались долганями, оленеводы, в том числе долганы и якуты, — самоедами, охотники — тунгусами. Все скотоводы назывались якутами, а торговцы и чиновники, приезжавшие с юга, по крови и по языку преимущественно якуты, назывались русскими.

Рыбачьи жители русских поселков Чайдувана, Томилина и Шестистенной отнеслись с недоверием к странному одунскому юноше и его несвязный рассказ о столкновении с собственным дедом, да еще с шаманом, приняли враждебно.

— Стариков надо слушать, — сердито сказал Ребров, тоже глубокий старик, хозяин того дома, куда завезли Кендыка. — Вишь, чего выдумал, мразь, неверная морда. Ну, да как начальство посмотрит...

Первая встреча Кендыка с новым начальством произошла в Родымске, где был рик. Ответственным секретарем работал приезжий из Москвы, Андрей Алексеевич Лукошкин, по прозвищу «Темп». Такое прозвище дали ему местные чиновники из старого состава, потому что он всегда заговаривал о темпах работы. Сами они работали совсем по-старинному, и темп их работы в течение десятилетий равнялся нулю, а пожалуй, представлял собой минус.

При царском режиме чиновники северных областей присылались из южной Сибири или прямо из Москвы и Петербурга. Они отличались неслыханной дрянностью. Это были в большинстве злые неудачники, запойные пьяницы или просто полусыльные, наказан-

ные таким назначением за казнокрадство и другие худые дела. Были еще авантюристы, привлекаемые льготами по пенсиям и тысячными подъемными и проездными. Попадались между ними прямые преступники, даже с обычной чиновничьей точки зрения. Можно назвать колымского исправника Виноградова, который в 1838 году отравил присланного из Якутска ревизора Ринка и похоронил его с молниеносной быстротой.

О другом чрезвычайном ревизоре Келихове, приехавшем в тот же Колымск уже в самом конце XIX века, ходила зловещая легенда, что это был беглый каторжанин, бывший почтовый чиновник, убивший настоящего Келихова и захвативший его документы.

Иные из этих чиновников, проворовавшись на новых местах, утонув в подлогах и хищениях, попадали под суд, но отвечали отказом на судебные вызовы с юга, и в конце концов их судили заочно, осуждали, лишали прав, и они становились настоящими ссыльно-поселенцами, даже каторжанами. Вывести их силой на юг не было возможности. И они продолжали служить, после некоторого перерыва, на каких-нибудь новых должностях, в сущности, с теми же правами и полномочиями.

В первые годы царской войны состав этой злой администрации еще ухудшился. Самые отважные из них связались с белыми отрядами и бандами, которые попали на Север в начале двадцатых годов, грабили и убивали, расстреливали и топили местных партизан, молодежь и всякого, кто подвернется под руку. Эти потом убежали с последними белыми бандами через весь континент на восток, в Аляску и в Японию. Другие, более осторожные и хитрые, с укреплением советской власти перекрасились и остались на месте, оставаясь такими же злыми хищниками и вредителями. Потом, наконец, появились первые советские люди.

Лукошкин был один из пионеров волны советских работников. Он имел представление о национальностях и классовых противоречиях дальнего Севера и искренно старался разобраться в этих своеобразных условиях. Он ухватился за Кендыка. Кендык ему показался одновременно выходцем из другого мира, живым звеном, которое поможет связать этот первобытный загадочный мир с растущей советской властью.

Первая встреча их была весьма характерна. Комната Лукошкина, хотя с протекающим потолком и с плесенью во всех углах, была все же рабочим кабинетом. В ней находились большие столы, заваленные бумагами, полки с газетами и даже с книгами.

Видя такое обилие слова, начерченного на бумаге, Кендык даже забыл о хозяине и жадно протянул руки, не зная, за что ухватиться. В конце концов он схватил большой газетный номер, лежавший сверху. Потом вытащил из своей берестяной тавлинки жалкие газетные клочки, служившие ему талисманами. Это были частички того же издания. Кендык развернул новый номер и ткнул пальцем в крутой заголовок: «Правда».

Общего языка у них, разумеется, не было. Кендык по-русски не знал ничего, а говорил немного по-якутски. Но в Нижнем Родымске не было уже якутов, земли которых начинались гораздо южнее, вместе с заливыми лугами, дававшими место разведению скота.

Темп все же разобрал, что этот странный мальчик хочет знать значение заголовка.

— «П-р-а-в-д-а»,— прочитал он громко.— Газета такая.

Старый писарь Запалов, работавший в рике впредь до замещения, на правах вольнонаемного, порылся в своей памяти и наконец отыскал якутское слово «кырдык»¹. И Кендык понял.

— Ага, ичугей кырдык²,— сказал он по-якутски,—

¹ Кырдык — правда.

² Ага, ичугей кырдык — да, хорошо, правда.

juwu¹, — перевёл он на свой собственный одунский язык.

— Откуда ты? — спросил Лукошкин, который разбирался в местной географии по старым печатным и писанным картам лучше, чем в отношении местных народностей.

— Одун, Шодыма, Коркодым, — ответил Кендык.

Первые два имени Лукошкин разобрал вполне, а о далеком Коркодыме он слышал рассказы полубаснословные. Он даже не мог решить, не есть ли это одна из легенд о «незнаемых народах», которые вообще циркулируют на Севере в великом множестве. К старым московским рассказам о Песьеглавцах и о Зонтичноногих людях Север прибавил рассказы о людях-половинках, с одною рукою, с одною ногою, о закатных тунгусах, которые с вечера выходят из-под земли, а утром уходят назад, о людях Беломедведных, которые обитают в океане, во льдах, питаются нерпою, о людях Дельфиньих, которые имеют три образа и одновременно являются в океане дельфинами-касатками, рвущими на части китов, а после выходят на сушу, становятся волками, нападают на олени стада и тоже терзают и рвут. Далее волки уходят на юг и становятся страшными людьми-людоедами.

Коркодымских одунов легенда тоже называла людоедами, должно быть, в память о гибели полурода Балаганчиков при старой шаманке Курыни.

— Ого, Коркодым, — попробовал Темп получить разъяснение. — Люди-кушай нету?

И он выразительно закусил зубами свою собственную руку.

— Сох, сох!² — решительно затряс головою Кендык.

Он стал гримасами и жестами объяснять свою историю. Лукошкин не понял ничего, а старый Запалов еще хуже того — понял Кендыжа превратно.

Кендык в разгаре рассказа вытащил ножик и махнул им в воздухе. Он хотел показать, что его собственный дед собирался его убить в Коркодыме.

¹ juwu¹ — правда (по-юкаогирски).

² Нет, нет (якутск.)

Запалов испугался и отскочил назад.

— Перестань!— крикнул он.— Должно быть, убил кого-нибудь и убежал оттуда.

Темп покачал головой и высказал догадку, более близкую к истине:

— Не его ли хотели убить?

В конце концов Кендык вернулся к теме, более занимавшей его внимание.

— Г-а-з-е-т-а,— выговорил он довольно чисто.— Давай...— прибавил он второе русское слово, знакомое на всем Севере, ибо его повтсряли постоянно исправники, взимавшие ясак, и попы, взимавшие белок и лиsic за свои христианские требы.

— Давай, давай.

На этот раз туземный юноша обратился с требованием к русским пришельцам из неведомого далека.

— Давай «Правду» — кырдык — juwci... — Мальчик, очевидно, требовал, чтобы его научили читать и понимать всю эту правду, напечатанную черными знаками на таких широких бумажных листах.

Темп не был учителем, но все-таки с газетой не стал возиться, а вытащил свежинку — букварь, который только что попал на северную тундру из далекого Ленинграда, за десять тысяч километров.

То был русский букварь для северных народностей, составленный довольно старомодно, но с северными темами, а главное, с хорошими рисунками. Кендык жадно схватил эту книжку, как будто кусок пищи, даже руки у него затряслись. Он увидел на обложке северного человека, который едет на нарте, запряженной оленями.

Быстро перелистывая страницу за страницей, он радостно смеялся, тыкал, пальцами в занятные картинки и даже подпрыгивал от радости. Тут были соболи и белки, упряжные собаки и упряжные олени, ловушки и охотники. Наконец он нашел картинку: юкагир на лесной охоте. Там ехал человек на узком челноке, с шатиной, метательным копьем, предназначенным для птицы. Кендык пришел в необычайное волнение.

— На, на, смотри,— подскочил он к Темпу,— это я, это Кендык, вот мой челнок, вот мое лицо.

И он тыкал поочередно пальцем в нарисованного человека и в свою собственную грудь.

Темп заинтересовался. Они стали искать вместе общий язык.

Кендык указывал на оленя и говорил по-одунски:
— Кудеде.

Темп переводил по-русски и прочитывал:

— Олени.

Так они занимались часа два. Трудно с непривычки приходилось и Кендыку и Темпу. Темп даже вспотел с натуги.

— Ну, темпы,— сказал он,— пойдем, пообедаем.

Кендык поселился при рике, в каморке, соседней с кабинетом Лукошкина. Но с самого начала вышли осложнения. Каморка была узкая и низкая, с одним окошечком. Кендык никак не соглашался закрыть дверь, а ночью закрыл на минутку, посидел и выскочил стремительно наружу.

— Ты бы меня в табакерку посадил,— бросил он в виде упрека своему новому другу.

И для большей вразумительности вынул из кармана свою берестяную тавлинку.

Видя недоумение Темпа, он обвел глазами кабинет, увидел легкую палатку из синей добы, лежавшую в углу, и сейчас же нашелся, вытащил палатку из избы и втащил ее на плоскую кровлю. Одна половина рика была построена по-новому, с покатою тесовою кровлей, а другая — по старине, плоская, покрытая лиственным войлоком и засыпанная плотно землею.

Там, на плоской кровле Кендык тотчас же разбил свой шатер и указал на него с торжеством своему новому другу.

Темп не поленился тоже полезть на крышу вместе с самодельным фонарем, он светил Кендыку и даже помогал. Таким образом Кендык поселился в пределах владений Лукошкина, если не в доме, то все же на доме, на той же обитаемой почве.

Они подружились, называли друг друга на «ты» и даже имена подобрали похожие: Кендык — Андек.

Кендык называл Лукошкина Андек, в сокращении из имени Андрей.

Так прошло несколько дней. Мальчик ревностно учился русскому языку, чтению, отчасти при помощи Лукошкина, отчасти помимо него. Каждый час его жизни в Родымске был, в сущности, ученьем. Разговаривая с русскими, он был всегда настороже, подлавливал, запоминал новые слова, и самое учение он называл «охотой за словами». Через месяц он научился довольно сносно говорить по-русски, конечно, о ближайших житейских предметах, более или менее знакомых.

Другие особенности новой невиданной жизни он воспринимал, напротив, до крайности туго. Эту странную неприспособленность он вносил даже в свою учебу.

Писать он научился отчасти на родине, срисовывая на-глаз печатные буквы и слова, еще совершенно непонятные. Он писал эти слова своими собственными орудиями: углем, кончиком ножа, потом острою палочкой, обмакнутой в ягодный сок. Но здесь, к удивлению Темпа, он наотрез отказался от чернил и пера, которые употребляли все окружающие. При первом же опыте он опрокинул высокий пузырек с чернилами, залил бумагу и вымазал руки, щеки и нос.

Тогда с раздражением он схватил пузырек, как хватают злого кусливого зверька, вынес его на улицу и выбросил вон.

К карандашу он оказался более терпимым, хотя первый карандаш хрустнул и сломался в его напряженных пальцах. Он бросил обломки, потом поднял, посмотрел и стал наконец писать, точнее — рисовать обломком карандаша, стиснув его в кулаке, как острие кинжала, и опять-таки наотрез отказался переменить прием.

Обычные приемы и объекты труда в захолустном Родымске, пища, жилище, посуда были, в сущности, те же, что и в далеком Коркодыме. Та же река, рыба, речные избушки, мережи и сети для лова, звериные шкурки, осторожно сдираемые с тушки и расправляемые на пале для сушения. Но каждая малейшая неизвестная

подробность ставила Кендыка в тупик. Прибор для еды, например. Он ловко управлялся с ложкой и складным ножом для разрезывания пищи, но, попробовав взять вилку, больно, до крови наколол щеку.

Тогда с обычным раздражением он ткнул вилку в стол, глубоко всадил ее в дерево, дернул, сломал и выкинул в окошко.

Мясо, рыбу, сухари, даже квашеный печеный хлеб он ел без стеснения, но однажды к завтраку Темп открыл жестянку со шпротами. Кендык попробовал их, и его жестоко вырвало.

— Железный хлеб, худо...— сказал Кендык. Он хотел объяснить, что пища из железной коробки пахнет паяльной кислотой, которой не может выносить человеческий желудок.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Кендык внимательно присматривался к своему новому другу. В поселке Родымск и других приречных поселениях, жители которых говорили по-русски, Темп чувствовал себя, как рыба в воде. Он входил во все подробности жизни, старался помогать беднейшим, выписывал для них на казенные средства сети, невода, даже новые лодки — вельботы, которые доставлялись с большими затруднениями в разобранном виде зимою на санях, а летом на вьюках.

Темп проводил политику Советов — он пресекал угнетение слабых сильными, порою незаметно и мягко, а порою очень настойчиво и жестко.

Полурусское население Родымска было глубоко развращено своими вековыми привилегиями. Оно привыкло жить торгашеством, мелким и даже мельчайшим, но при случае и довольно крупным. Объектом для обмана был инородец, «полевой человек», а нередко также и собственный сосед — мещанин, и даже казак.

Богатые и бедные были опутаны узами родства и свойства. Какой-нибудь двоюродный дядя лучше всего высасывал кровь именно из своих обедневших, осиро-

тевших малолетних племянников. Часто получались довольно запутанные случаи. Темп разрешал их осторожно и умело, как опытный хирург.

Один такой случай произошел при Кендыке. Бытовые подробности жизни родымцев выросли, в сущности, на той же одунско-чуванской основе, и Кендык легко понимал, что и к чему.

В 1919 году, в эпоху жестокого голода, неулова рыбы, недозова товаров, старуха Румянцева продала Федьке Кошелеву свою малолетнюю дочку Феньку. Кошелев был мелкий скупщик, собиравший у чукоч оленьи шкурье и готовую одежду. Федька, как многие другие родымские мещане, был холост, не имел семьи, а для разных домашних услуг приискивал девочек вроде румянцевской Феньки.

Федька Кошелев приходился старухе Румянцевой кумом и принял Феньку в дочери, однако не навсегда, а только на десять лет.

Такая покупка на срок часто встречалась на Севере. Для девочки она начиналась работой, а кончалась сожительством, порой добровольным, а порою насильственным, после чего, отбывши свой срок, откупленная дочка могла вернуться обратно в свою первоначальную семью.

Фенька работала для Федора лет пять без всяких приключений. Не досыпала, не доедала, носила обноски, как водится повсюду в подобных случаях. Федор присматривался к ней и ждал, когда она созреет и войдет в свою девичью силу. Потом в половине откупленного срока он попытался осуществить свои «отцовские права». Но Фенька встретила названного отца ногтями и зубами и выскочила в одной рубашке, босая вон из избы. Соседи изловили ее и привели обратно к Федору: «Возьми свою беглую сучонку да поучи ее жезлом»¹.

Фенька, однако, оказалась такой отчаянной, что Федор не решился действовать жезлом. Он пробовал даже ласковые уговоры, но Фенька ничего не хотела слышать и через две недели ушла опять, и более

¹ Жезл — здесь: палка, к которой привязывают упряжных собак.

удачно, чем прежде, на этот раз не одна, а вместе с троюродным братом, тоже Румянцевым, Микшей. Микша Румянцев был тоже безродный сирота и такой же отчаянный, как Фенька. Они убежали из Родымска в деревню Коретову, за семьдесят верст, и оттуда послали письмо своему старшему дяде:

«Попробуй, достань нас, все кишки выпустим!»

Они поселились в Коретовой у старухи Натальи Сельдихи, которая давала убежище и возможную защиту бабам и девушкам, попавшим в беду. Наталья слыла в околотке под именем Сельдихи Справедливой. Федор прождал с полгода, ничего не предпринимая. А теперь он дождался приезда большого начальства. Недолго думая, он подал Лукошкину жалобу на обеих женщин: Феньку Румянцеву и Наталью Сельдиху. Феньку он обвинил в краже ситцевого платья, коврового платка, суконной шубки и шапки, одним словом, всего того барахла, которое было на ней надето во время бегства. Наталью он обвинял в укрывательстве и просил привезти обеих казенными средствами из Коретовой в Родымск для разбора его жалобы. Лукошкин призвал Кошелева и расспрашивал его внимательно, даже сочувственно.

— Кем вам приходится беглая Фенька Румянцева?

— А я ей откупной отец, по-вашему, стало быть, приемный отец. Она мне выходит, с одной стороны, трехродная племянница, а с другой стороны, откупленная дочка. Я ли об ней не заботился? Вырастил, выкормил. Думал пользу себе получить, а она осрамила меня при старости лет, зубами изгрызла, рубаху на мне изорвала и к мальчишке ушла, такому же безродному нищему...

Федор называл самые рискованные вещи простыми именами и готов был рассказать Лукошкину интимнейшие подробности своих походов с откупленной девчонкой.

Лукошкин немного подумал.

— Грех, стало быть, вышел,— сказал он наконец.

— Как же не грех,— с готовностью подтвердил Федор,— если с мальчишкой ушла. Совсем простоволодая, так и живет с непокрытой головой.

— Надо, стало быть, прикрыть,— мягко предложил Лукошкин.— «Венцом» прикрыть, пускай живут да каются. Ежели оба такие отчаянные, так будут они каяться. По-вашему как?

Федор потупился.

— Ваша воля,— сказал он неприязненно и глухо.

— А вы, стало быть, как дядя и отец,— веско продолжал Лукошкин,— вы дайте ей приданое, какое полагается, а свадьбу отпразднуйте в собственном доме, честь-честью.

Федору пришлось покориться и отпраздновать свадьбу своих ненавистных обидчиков.

В конце концов он не ударил лицом в грязь, отпраздновал свадьбу на славу и даже выставил три бутылки спирту, которые прятал в подпольи для чукотского торга весною.

Со старухой Румянцевой они встретились как старые друзья, пили, обнимались, плакали и пели.

Таким образом, волею судьбы и Лукошкина, Федор Кошелев вошел в положение настоящего отца.

Этот поворот запутанного дела, которое при старом начальстве кончилось бы, наверное, жестокою поркой для обоих беглецов, сразу привлек к Лукошкину умы и сердца всего родымского молодняка, мужского и женского.

Кендык относился к родымской молодежи свысока. «Так себе людишки,— говорил он с презрением.— Им бы попеть, поплясать да с девкой поиграть. Меженный народ, живут на меже, от одунов отстали, а к русским не пристали. Скучно мне с ними».

Хуже всего было то, что Кендык не находил применения своему труду. Обычная работа жителей— сети, невода, лодки и собаки— не интересовала его. Его привлекали предметы новые: радио и громкоговоритель, граммофон, кино.

Началось с громкоговорителя. Увидев в первый раз железный разинутый зев и услышав ревущие звуки, он сначала отскочил.

— Русские духи— шаманы,— сказал он с трепетом.

Из железной трубы несся неизвестно чей голос, на-

поминавший ближе всего загадочные голоса шаманских духов-помощников, тоже прилетавших неизвестно откуда под действием искусства шамана-исполнителя.

Темп пожал плечами.

— Машина: — человек говорит, далеко говорит, а сюда долетает без всякого духа.

Кендык немного подумал и внимательно прислушался. Шаманские голоса всегда говорили недолго, ибо шаман действовал чревовещанием и утомлялся от напряжения. Кендык знал и о чревовещании. «Из брюха говорят. Духи забираются в брюхо».

Но этот голос раздавался без всякого утомления, ровно, однообразно, как стук весел при гребле. Кендык посмотрел на отверстие трубы, на проволоку и спросил Темпа с большим спокойствием:

— Кто это сделал?

— Люди сделали, — сказал Темп. — Сделали руками, инструментом, на фабрике, в большом доме работы.

И Кендык понял. Это было ремесленное, рукомерное дело, сделанное орудием, продукт человеческого труда, подчиненный человеку. Стало быть, здесь не было духов и шаманства. Ибо шаман, его голоса были сверхъестественные, они не подчинялись человеку, а сами подчиняли себе человека.

Труд, его орудия и навыки были искони чужды и враждебны шаманству. Ибо методы труда были просты и естественны, а методы шаманства запутанны, странны и жутки.

После этого Кендык стал понимать, что звуки граммофона и радио, мелькающие тени кино — это не шаманство, а такое же создание труда, как нож и сукно, как лодка и невод.

Но ближе подойти к кино и радио ни Темп, ни Кендык не умели.

У Темпа был фотоаппарат. И, в отличие от пера и чернил, Кендык с обезьяньим проворством быстро перенял не особенно мудреное искусство портить и чернить невинные белые пластинки. Впрочем, он дважды попробовал на вкус реактивы, один раз безнаказанно, а другой раз отравился и заболел довольно серьезно.

Все химикалии, даже уксусная кислота, горчица и другие приправы, действовали скверно на его непривычный желудок, сердце и печень. После двух-трех неудачных опытов он стал к ним относиться с отвращением и страхом.

До крайности заинтересовался Кендык аэропланом, который летает так быстро и далеко и может прилететь с далекого юга, из Москвы, из Ленинграда, прямо в эту пустынную область, на устье реки Родымы и даже на верховья еще более далекой Шодымы.

Правда, вначале были некоторые недоразумения.

«Что это — аэроплан? Как он летает?»

Дедовские сказки говорили о летучем челноке, который поднимался чудесно в высоту и улетал в неведомые страны, потом возвращался обратно. Так же и шаманы будто бы летали в тридевятое царство на бубне вместо челнока. Бубен-челнок был крылатый, летучий.

Но Темп объяснил, что аэроплан тоже машина, сделанная из железа, и летать на нем может всякий, даже хотя бы сам Кендык, если научится.

Но больше всего впечатления произвела на Кендыка моторная лодка. Аэроплан — это была фантастика, в сущности, только рассказ, цветная картинка. Радио, кино и фото — это были забавы, игрушки. Моторная лодка — это была, наконец, вещь бытовая, серьезная, нужная для разездов, для промыслов, для жизни.

«Двигалка» — назвал ее Кендык.

В Беринговом море эскимосы, в Аляске и на русском берегу, уже с начала XX века ездят на моторках за тюленями. И так и называют моторную лодку: «двигалка». В Родымске тоже были две моторные лодки: маленькая и побольше.

Кендык приладился к маленькой, съездил раз, другой, сначала пассажиром, присматриваясь к управлению, а потом попробовал сам управлять и чуть не сломал механизма. Но в конце концов научился и стал ездить не хуже того, чем ездили другие служащие и даже сам Темп. Настоящего устройства механизма он, разумеется, вполне не понимал.

На большой мотолодке он ездил с Темпом верст за

двести вверх по реке, до якутского поселка Кресты, но большого восторга не чувствовал.

— Твердо идет,— сказал он,— но как-то тиховато.

Он все-таки мечтал об аэропланах, о птичьих чудесных перелетах.

Минуя радио и кино, Кендык окрестил моторную лодку — «Первая новость».

— Почему «первая»? — спрашивал Темп.

— Так, первая. Там,— и он указал рукою на восток, разумея царство Чобтагира,— там все последнее: последние шаманы, последние лоси... одуны последние,— прибавил он с горечью,— были, есть, но, может быть, не будут... А это вот первая, новая. Не было, есть и дальше наверное будет.

Два месяца прожил Кендык в Родымске, а потом заскучал и неожиданно скрылся. Его не было три дня. Темп хотел уже организовать поисковую партию, хотя разыскивать бежавшего туземца в тайге так же безнадежно, как вылавливать снова из широкой реки вертлявого щуренка, по недосмотру выскочившего из невода.

На третий вечер Кендык неожиданно явился.

— Где был? — спросил Темп.

Кендык помолчал и потом все же отозвался:

— Дорогу искал.

— Куда? — с удивлением спросил Темп.

Кендык на этот раз не ответил ничего. Он провел эти три дня в неистойой гребле вверх по реке Родыме, которая с ее нависшими ярами и бесконечными плесами казалась ему продолжением его родной Шодымы. Он греб вперед и действительно искал дорогу, сам не зная куда. Не то на родину, не то, пожалуй, в фантастическую область шаманских скитаний старого Чобтагира, которая тоже осталась где-то далеко позади. Но родина лежала совсем в другой стороне, а тридцатое царство шамана Чобтагира было как острый, тревожный, наполовину рассеянный сон. Пред ним, далеко впереди, лежала другая фантастическая область, та, откуда долетали говорливое радио и мелькающие тени кино. Но в эту область он тоже не знал дороги.

Наутро Кендык попросил у Темпа:

— Отпусти меня.

— Куда отпустить? — спросил Темп со стесненным сердцем.

Его соединительное звено, человек из другого мира, будто хотел убежать назад, в неизвестность.

— Нет, отошли меня, — поправился Кендык. — И на что я тебе сдался? — горячо продолжал он. — Тут скучно у вас, пусто, речные людишки. Кто они: русские, наши? Так себе, вздор. Учиться нечему. Играешь мною, не надо играть.

— Куда же ты хочешь? — спросил Темп, удивляясь глубине этого внезапного запроса.

— Туда хочу, — Кендык указал рукой на юг, — в город Ленина.

Он объединил в этом имени обе столицы: одну — носившую имя Ленина, а другую — где после смерти у кремлевской стены лежал сам Ленин.

— Как сделаю? — сказал Темп опять. — Пароход будет осенью, поздно, надо ждать.

— Зачем пароход? Ты вызови аэроплан. Летать будем. Сам править буду, — объяснил он с уверенностью. — Вчера летал.

И с неожиданной доверчивостью он рассказал своему другу, что в три минувшие ночи он действительно летал на аэроплане, даже сидел за рулем, как он видел это на раскрашенной картинке плаката.

Это было, конечно, лишь сонное видение, но первобытные души не совсем четко отличают сон от действительности. Кендык от всего нового пришел в такое возбуждение, что оно могло оказаться даже опасным и свести его с ума.

— Ну, ну, темпы! — сказал Темп и даже руками развел. — Ждать надо. Аэроплан нам с тобой не пришлют. Но можно письмо написать. Знаешь, давай напишем письмо в «Совет-комитет». Напишем о тебе. Пускай они знают.

Совет-комитет на их языке означало высшую советскую власть, в том числе и Комитет Севера при ВЦИКе в Москве, образованный для содействия мадым народам Севера,

Темпы-то у Кендыка оказались более стремительными, чем у его русского друга и опекуна.

Они сочиняли и писали три дня и в конце концов сочинили замечательный документ, который хранится донныне в архиве Института народов Севера даже под особым названием: «Хартия Кендыка». Привожу этот документ полностью:

«Податель сего юноша Кендык, одунского племени, с верховьев реки Шодымы, командирруется за получением образования в школах Советского союза, чтоб, вернувшись по прошествии нескольких лет к себе на родину, поделиться полученными знаниями со своими сородичами.

Ибо сородичи его вымирают и могут быть спасены только прививкой культуры, принесенной извне, но продвинутой внутрь их собственным решением.

Вся жизнь Кендыка прошла в неприютной тайге, в такой своеобразной обстановке, которая присуща лишь полярному Северу. Дикая страна, откуда он едет, совсем не похожа на Москву и Ленинград. Нужно опасаться, что там, в Ленинграде, ему придется не раз нести большие лишения и по незнанию русского языка и обычаев попадать в безвыходное положение.

Кроме того немало страдания может получиться для него из-за особенностей его душевного склада, как, например, своеобразного самолюбия и чрезмерной впечатлительности.

Несмотря на свою молодость, он пережил великие несчастья и смертельную опасность и спасся от гибели только своей неустанной энергией.

Те, кому придется прочесть это послание, к вам глубокая просьба: окажите Кендыку возможное содействие, когда он будет обращаться к вам в нужде. Он вполне заслуживает этого, ибо, несмотря на совершенную неграмотность, является весьма одаренным и по своему умственному развитию и любознательности ничуть не уступает наилучшим детям западных народностей, выросших в более счастливой и культурной обстановке. В Кендыке таится масса возможностей, которые усилиями советской школы будут безусловно

извлечены на поверхность и будут служить на пользу его соплеменникам.

Своими заботами о судьбе этого юноши вы можете сделать первые шаги в деле просвещения самого обездоленного племени, живущего на нашем крайнем северо-востоке и пришедшего на край гибели духовной и физической. Воскреснуть к новой жизни племя это может только чудом. И Кендык представляет именно такое неожиданное чудо. Помогите ему из чудесного сделаться фактом реальным, идущим навстречу советской культуре, ее проводником и деятелем.

Интересуясь и заботясь о судьбе Кендыка, просим всех лиц, кому он покажет настоящее письмо, расспросить его о нуждах и желаниях и при надобности телеграфировать по адресу: Родымск, на реке Родыме, тов. Лукошкину. В запросе обозначить, куда отвечать и кому».

— Вот это пошлем,— с гордостью сказал Лукошкин, кое-как объяснив своему питомцу содержание этой замечательной хартии.—И тебе такое же спишу. Завяжи его в ладанку, повесь себе на шею и никогда не бросай. Когда с тобой случится самое худое, вели прочитать, что написано, и послать на крылатую почту. Я получу — помогу, где бы ты ни был, я постараюсь помочь.

Крылатую почту посылают через тундру самым простым способом: заделывают ее в деревянные дощечки, припечатывают к дощечке сургучом лебединое или орлиное перо в знак того, что почта должна лететь, как на крыльях, а потом отдают ее первому встречному туземцу, едущему на оленях или собаках. Указывают на словах направление, куда гнать почту: на запад или на восток. Почта мчится через тундру на сменных оленях, от ездока к ездоку, и проходит за сутки километров триста-четыреста.

Но в данном случае Лукошкин имел в виду не старую крылатую почту, а новую почту-телеграмму, которая мчится через все лицо земли с быстротой, недоступной для самых легких птиц.

В вагоне железной дороги, на полдороге между Хабаровском и Новосибирском, едет Кендык вместе с товарищами. Их всего восемнадцать человек. Эти восемнадцать человек представляют одиннадцать народностей, малых, отсталых народностей далекого севера и северо-востока. И каждое племя имеет два названия: одно — данное историей и насмешливыми завоевателями, другое — подлинное название, которое советская эпоха вызвала впервые на поверхность из глубины народного сознания. Тут были прежде всего гольды-нанай, обитающие ближе всего к городу Хабаровску — столице Дальнего Востока. Ближайший поселок гольдов-нанай находится всего в восьмидесяти верстах от Хабаровска.

Гольдов было трое, и все трое разного типа: один был из гольдов обруселых, другой из гольдов окитаенных, и только третий был из гольдов настоящих, не тронутых ассимиляцией.

Было двое гиляков-нивхов, один — с устья Амура, другой — с Сахалина. Был один ороц с Приморья, один удэге и один таза, из тех же удэге, но уже совершенно поработанных, окитаенных китайскими торговцами, хунхузами, переселенцами. Был эвен с Охотского побережья, называвший себя камчадалом, но Камчатки в глаза не видавший. Один камчадал, из давно обруселых поселков, чьи деды уже говорили по-русски. И другой камчадал-ительмен с западной Камчатки, еще говоривший на родном ительменском, камчадалском языке.

Был коряк-нымылан с Берингова побережья, и другой нымылан с Охотского моря. Оба они плохо понимали друг друга и ни слова не понимали ни на одном из других языков.

С устьев Енисея был долган, говоривший по-якутски, но все же якутов ненавидевший, то есть, в сущности, не якутов, а якутских торговцев и чиновников. И, наконец, один кет, из племени самого загадочного, наполовину вымершего, быть может, древнейшего в Сибири и связанного какими-то не вполне выяснен-

ными узами с населением далекого Тибета. Было, наконец, двое эвенков, из разных округов, отдаленных один от другого на добрую тысячу километров. Эти понимали друг друга, хотя их роды, быть может, не встречались уж тысячу лет.

Народности Севера окружают население внутренней Сибири растрепанным венком по северо-восточным окраинам. Они первобытнее и несравненно малочисленнее своих ближайших соседей: коми-зырян, якутов и бурятов. С незапамятных времен живут они рыболовством и охотой, отчасти оленеводством, не зная земледелия и разведения рогатого скота. Еще до появления казаков они были оттеснены в глубь тайги, отчасти уже истреблены. Но жестокость Ермака и Семена Дежнева, Михаила Стадухина и Петра Атласова и других завоевателей Сибири приложила к их истреблению свою беспощадную руку, вооруженную «огненным боем», фитильною пищалью, кремневым ружьем. Русские торговцы споили их водкой, наградили их наследственным сифилисом. Царская война и белая разруха привели их разрозненные клочья на край гибели.

В советскую эпоху они стали оживать для жизни, для гражданственности, для новой социалистической стройки. Прежде всего на местах завелись школы, быстро наполнившиеся учениками. Самые активные из них устремились в местные столицы — Хабаровск, Новосибирск, а потом и в центральные столицы: Москву, Ленинград. — Учиться, сравняться с ушедшими вперед, догнать русских, украинцев и другие, более счастливые народности!..

А пока, в настоящую минуту, эти восемнадцать юношей, которые ехали в Москву и Ленинград усвоить основы советской культуры и потом принести ее своим соплеменникам, эти восемнадцать северных пионеров-разведчиков чувствовали себя сиротливо и жутко. Они жались в своем углу вагона, подавленные впечатлениями. По-русски они почти не говорили, да если иные и знали язык, то их северное русское наречие с множеством туземных слов и оборотов было непонятно другим пассажирам вагона,

Больше всего их угнетала эта бегущая повозка на колесах, целый караван бегущих телег, которые мчатся вперед днем, и вечером, и в полночь, и в зыбком рассвете. Где-нибудь остановятся на малое время и опять летят дальше. Почти все они, эти северные странники, до того времени никогда не видели самой простой, обыкновенной телеги, не знали даже колеса. И единственное прозвище, которое они могли дать железнодорожному вагону во всем разнообразии своих языков, было: «сани на катках», «нарта на круглых полозьях».

В качестве единственного наблюдателя и хранителя с северянами ехал русский студент-рабфаковец, тоже направлявшийся в Москву. Но ему было не до них. Это и для него была первая далекая поездка по железной дороге в неведомую зауральскую Русь, дорожных условий он тоже не знал, и северные юноши были предоставлены сами себе.

На остановках постоянно случались маленькие трагедии. Северные странники сперва боялись выходить из вагона, но сидеть безвыходно в этой крытой повозке им было невмозготу. И уже после первого полудня на каждой остановке они спускались вниз и выпрыгивали на волю, как засидевшиеся зайцы или кролики. И при каждой отправке в путь кто-нибудь непременно отставал и тотчас же пускался бежать сбоку поезда, бросался на лету на подножку, даже на буфер. У каждого из них было такое чувство, что отстать от своих и остаться в человеческом потоке, в неизвестной стране — все равно, что выброситься в океане с бегущей байдары и остаться в воде на произвол ветра и волн.

Два раза совсем отставали: сперва нивх-гиляк, потом — ительмен-камчадал, но товарищи, даже не обращаясь к поезвному начальству, оба раза поднимали такой визг и вой, что его слышал машинист и собственной властью замедлял ход. Весь состав поезда и пассажиры знали о диковинных студентах-первобытниках, ехавших на запад. Гольд-нанаи из Хабаровского округа, который вначале задавал форсу своей близостью к столице Дальнего Востока и мнимым зна-

нием городского обхода, ужасно оскандалился. Он ухитрился потерять из бумажника все свои деньги, документы и, разумеется, также железнодорожный билет.

При первой проверке контролер хотел его объявить безбилетным пассажиром, но товарищи опять-таки подняли вой, и начальство отступилось. Документы, конечно, можно было восстановить, но дорожные деньги пропали безнадежно. Пришлось для растеряхи сделать сбор с других по рублю, по полтиннику. Держать свои дорожные деньги и документы вместе, у общего старосты, они не могли. Пожалуй, такой временный староста мог бы при случае потерять все сразу.

Их донимала и мучила также непривычная пища. Во Владивостоке и Хабаровске их кормили хотя не особенно важно, но там была постоянно горячая похлебка и в ней кусочек мяса. Северные юноши всю свою жизнь питались мясом и рыбою. От хлеба и каши у них пучило живот и делалась отрыжка. Здесь, в дороге, пришлось отказаться от горячей похлебки и перейти на хлеб и овощи, холодный вареный картофель, огурцы, лук.

Особенно для коряков это было непривычно и странно. Вся эта растительная пища на их языке называлась общим именем: «трава», «травяное питание». И один из них не вытерпел и возопил:

— Что я вам — корова, что вы кормите меня полевыми корешками, мне непривычными?

— А может, привыкнешь, — сказал другой коряк, настроенный более оптимистически.

— Ну, да, привыкнешь, — сердито возразил пессимист. — Скорее подохну... А ежели привыкну и вернусь домой, то придется отвыкать, — прибавил он рассудительно. — Где я возьму там такое, хлеб, корешки?..

Это было уже проявление встречной критики, направленной на старые условия жизни.

День, пятидневка, декада... Вагоны летели на запад, отмеривая километры десятком за десятком.

— Куда они торопятся, зачем? — спрашивали стран-

ники друг у друга. И тут они стали понимать, что чем дальше на запад, тем жизнь бежит все торопливее.

Даже притаившийся одун вспомнил Лукошкина с его постоянными темпами. Но темпы на Родыме были только на словах. Время на Родыме не имело ценности. Здесь же все говорило о пропущенных минутах, летело вперед, стараясь нагнать и наверстать потерянное.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Кендык первое время действительно сидел совершенно тихо и судорожно сжимал на груди кожаный мешочек, где были спрятаны деньги и документы, и самое ценное — послание Лукошкина. Он постепенно привык его считать каким-то талисманом, который в тяжелую минуту все объяснит и даст спасение.

Кстати сказать, такие бумаги и письма были не у одного Кендыка, а также и у многих других. Новые советские работники на Севере относились к уезжающим юношам с особенным вниманием, трогательным и даже сентиментальным. Некоторые юноши, побойчее, сочиняли послания сами и везли их с собой на предмет предъявления новым властям и учителям в далеком Ленинграде.

Уже в самом конце путешествия один из бурятских эвенков, сидевший с Кендыком на одной скамейке, показал ему под страшным секретом письмо, саморучно написанное им на имя директора Института народов Севера. Письмо это не было отправлено. Эвенк вез его с собой в виде своеобразной авторекомендации. Письмо называлось: «Резолюция студента Обуглеева Бурятской республики, эвенкской народности, на имя директора Института народов Севера... Первым делом, я прошу принять от меня огнерасплавленный привет и очень большую благодарность за то, что вы меня примете на учебе. И также прошу принять от меня резолюцию по поводу ваших лекций. Я — приехавший из далекой тайги Сибири на северной окраине Бурято-Монгольской республики в Ленинградский

рабфак. Я лично заявляю, что я буду стоять за просвещение своего туземного народа и клянусь довести начатое великое дело советской власти до самого победного конца».

Мимо окон проносились деревни и села, леса, и луга, и огромные поля. Что было на полях? — Хлеб, человеческая пища, — рожь, и овес, и ячмень. Часть хлеба была скошена или сжата и лежала снопами на жниве.

Как растет эта диковинная пища! — Зернышко к зернышку, былинка к былинке. И тут впервые северные студенты наглядно увидели и поняли, что главнейшая пища российских народов — хлеб — вырастает действительно миллиардами былинки, а потом созревает такими же несчетными горами мелких одинаковых, однообразных зерен.

У одного был сибирский букварь, и в букваре отрывок из Некрасова:

Выйдут не бужены,
Встанут не прошены,
Горы по зернышку
Жита наношены.

Особенно дивились морские охотники с Берингова моря:

— Ну, разве не диво: нас только сотни, а питаемся огромными китами, моржами. Бывает, на целый поселок хватит одного хорошего кита. А этих тысячи тысяч, и пища для них вырастает по травинкам, по крупинкам, а хватает для всех. Мы постоянно голодаем, а они вот и сыты бывают и другим посылают от сытости своей.

В приуртышских степях стали попадаться многочисленные отары овец.

— Мельче оленей, — тотчас же решили эвены и эвенки, привыкшие к оленеводству. — А счетом их больше, — согласились они добросовестно.

— У нас и оленей не меньше, — возразили приморские коряки, вспоминая многочисленные стада своих оленных соплеменников.

Обе стороны заспорили: «Мельче — многосчетнее...»

Но тут показались огромные степные быки с гро-

мадными рогами, ничуть не похожие на мелких коров и бычков полярного скотоводства.

— Больше лосей,—говорили с восхищением лесные охотники, для которых лось был самым крупным зверем.— А наши-то коровы — вроде маленьких телят, вот этакому дяде можно под брюхо подсунуть, он даже не заметит.

И тогда показались верблюды, целый караван каких-то живых призраков с длинной гусиной шеей, с горбатыми вьюками на горбатых спинах. Восторг и возбуждение северных странников были неопишуты.

— О, какие большие, огромные,—говорили они.— Кто это? Слоны, горбороги?

Они вспоминали по книжкам и картинкам случайно увиденных крупных животных тропических стран. И, разумеется, путали все имена. Так, носорога они именовали «горборогом» и именно это название хотели приклеить к горбатым и странным верблюдам.

В Черембассе они видели угольные вышки и груды угля на станциях и также заметили, что в угольном районе все — множество людей, и стены, и самая зелень — все было покрыто угольной пылью.

На крупных станциях северяне видели железнодорожное депо и в предместьях городов проезжали мимо заводов с длинными трубами, откуда выходил дым. Они видели высокий переплет железных балок и долговязые подъемные краны, пробегавшие вверх.

Здесь раздавались удары парового молота, заглушая скрипение поезда. Здесь ковали железо и сталь, делали машины. Эти места им представлялись еще чудеснее, чем хлеб и быки и верблюды.

— Здесь настоящие работники,—говорили они.— Умнейшие здесь.

Этот термин, как было указано выше, в некоторых северных наречиях применяется к коммунистам. Но эти северные странники считали, что «умнейшие из умных» — это, конечно, металлисты.

После первых десяти дней дорога стала утомлять их.

— Скорее бы,—говорили они.

Им казалось, что вагоны идут невыносимо медленно.

На подъезде к Омску они видели аэроплан, который плавно и быстро проплыл над железнодорожным полотном, без усилия обогнал их поезд и улетел вперед.

— Железная птица,— говорили они.— Летучее железное судно...

— Где он остановится? — спросил Кендык.

— В Омске,— объяснили ему.

Когда поезд подошел к Омску, Кендык, недолго думая, с обычной решимостью взял свой сундучок и направился к выходу.

— Куда ты, куда? — спросили товарищи.

— Довольно мне ехать этим тюленьим ходом,— объяснил Кендык сердито.

Тюлени, проворные в воде, на суше мучительно медленны, хотя и предпринимают порою сухопутные походы на несколько десятков километров. Ход поезда уже казался Кендыку медлительно-тюленьим.

— Я полечу на железной птице,— заявил он уверенно.

Его, однако, удержали. Пришел студент-проводитель и объяснил, что в Москве и Ленинграде довольно самолетов и он сможет полетать при случае.

— Я буду не только летать,— твердо говорил Кендык.— Я буду ямщиком и погонщиком этого железного орла.

Уже недалеко от Москвы сахалинский гиляк заболел, и настолько серьезно, что его пришлось снять с поезда и отвезти в больницу. Он съел два яблока, зеленых и грязных, скорее всего из любопытства. Съел и бранился, и плевался, и, в довершение всего, захворал чуть ли не дизентерией.

Москва осталась в стороне. Знакомство с нею было отложено до зимней экскурсии. В Ленинграде на вокзале студентов встретил воспитатель ИНСа, подали грузовик, погрузили багаж, а сами путешественники отправились в лавру, как водится, пешком.

В эту ночь они ночевали в общежитии, где им предстояло провести три или четыре года. Тут они разбились по группам, по степени знаний, отчасти по национальностям. Но Кендык отделился от дорожных

товарищей, с которыми он вообще не особенно сблизился.

Институт малых народностей Севера на первое время подавил его своей необычайной обстановкой. Он мог подавить человека и более искушенного в восприятии культуры, чем этот полудикий одун.

Институт начинал второе пятилетие. За первые пять лет своего существования он развился, вырос и далеко ушел вперед. Сперва это был скромный рабфак при Ленинградском университете, плохо обставленный, бедный, потом рабфак перешел в ведение ЦИКа и стал Северным факультетом при ЛИЖВЯ — Ленинградском институте живых восточных языков. При этом он был переведен в Детское Село, в полуразрушенное здание, которое было отремонтировано.

После того как бывший рабфак и факультет преобразовался в самостоятельный институт — ИНС, он был переведен обратно в город и за неимением места помещен в Александро-невской лавре, в бывшем здании Духовной академии. Много приключений пришлось испытать ИНСу и много трудностей одолеть на своем недолгом пути. Здание Духовной академии тоже было полуразрушенным и нуждалось в ремонте. За оградой лавры, в пристройках академии ютились группы дефективных детей.

Некоторые из этих дефективных ребят были долговязые и крепкие, с четырьмя судимостями в прошлом.

Их пришлось долго и настойчиво выселять и вывозить. Двенадцать групп выселилось, а тринадцатая группа — самая закаленная — так и осталась на территории Духовной академии, правда, не в главном здании, а в одной из пристроек.

Эта тринадцатая группа гнездилась в своем каменном логовище, по испытанному образу жизни беспризорных кошкодавов. Сняли потолок и пол, поставили долговязую печку-буржуйку и жили, зарывшись в солому. Промышляла эта группа воровством и даже убийством, давая приют лиговской пьяной шпане.

ИНС тоже был одним из объектов постоянной грабильки, начиная от запасов кирпича и проволоки и

кончая куртками и кепками, которые порою беспризорные снимали с северных студентов, приходивших домой слишком поздно.

Кончилось это большим столкновением, даже настоящим сражением северян с беспризорными. После того были применены решительные меры, и беспризорные со всем своим преступным активом и штабом покинули здание лавры.

Все это, впрочем, было давно позабыто, и теперь квартал у лавры был совершенно мирный. Институт быстро рос, ежегодно приходилось делать ремонт, перестройку и новую стройку.

Духовная академия была высшим рассадником православия в огромной стране, а эти наиболее угнетенные и затоптанные народности тяжелой России были наполовину «язычники» — анимисты и шаманисты, никогда не крещенные даже формально.

На старых толстейших стенах академии пришлось местами прогрунтовать и побелить образа святых и ангелов, не представлявшие, впрочем, никакой художественной ценности. Но для новых студентов православие было настолько чуждо, что, устраивая первую ячейку безбожия, им пришлось направить острие своего отрицания не против православия, а против собственных духов, богов и божков, против собственных шаманов, «черных полевых попов», как называли их с большим беспристрастием русские православные соседи. Шаман был «полевым попом», помощник его — «черным полевым дьячком». Шаман священнодействовал в особом облачении, с целым ритуалом обрядов.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Уже к приезду Кендыка ИНС выравнился в учебное заведение, небывалое, неслыханное где бы то ни было на земле. Здесь было четыреста студентов, представлявших двадцать пять народностей, которые растянулись на карте Севера больше чем на десять тысяч километров, от Колы до Колымы, от Берингова пролива до китайской границы южнее Владивостока.

Даже собирать их в Ленинград представляло большие трудности, в особенности вначале. Ибо местные власти северных округов считали совершенно излишним посылать таких полудиких детей в далекую столицу. Они посылали вместо них якутов и зырян и даже северных русских.

Это, впрочем, скоро уладилось, и зыряне с якутами попали в другие, более соответственные рабфаки, но были другие северные группы, действительно потерявшие свою национальность: ненецкие озырянненные яраны, обруселые камчадалы, чуванцы и юкагиры. Эти группы попадали сюда и создавали постоянные трудности. Они тоже имели право на образование и стремились в институт, занимая места и стипендии настоящих нацменов.

Восточный институт в прежние годы подбросил сюда зарубежные группы: сойотов из Танну-Тувы и монголов из Монгольской республики, и их перевести в более подходящее место было трудно.

Помимо этих смешанных групп, в институте было большое разнообразие настоящих северных языков и антропологических типов. Белокурые лопари с узкими скулами и голубыми глазами встречались с широколицыми эвенками и орочами, представлявшими желтую расу. На тех же скамейках сидели смуглые стройные алеуты с Командорских островов и оленные чукчи с приземистыми, крепкими фигурами, с тяжелыми лицами.

Енисейские кеты, какие-то разномастные, с глазами то серыми, то карими, с каштановыми волосами, сухопарые коряки, напоминавшие североамериканских индейцев,— все говорило об осколках древнейших народностей, о всяких племенных обрывках и смешениях.

Также и языки были всяческих групп: финно-угорские, турецкие, тунгусо-манчжурские и палеоазиатские, и азиатско-эскимосские,— последние по конструкции своей более близкие Америке, чем Азии.

Было неизвестно, на каком языке учить этих студентов. И, естественно, сочетались и отчасти боролись две тенденции: обучение по-русски и обучение на род-

ном языке. Эти обе тенденции были также и у самих студентов. Одни всемерно отстаивали русский язык и собственного языка чуждались, другие, напротив, увлекаясь примером автономных республик и областей азиатской части СССР, столь же ревностно настаивали на применении своих собственных языков.

Пестрота и различие были также и в возрасте. Были молоденькие мальчики двенадцати-четырнадцати лет, которых на родине учить было негде. Были совсем взрослые, даже женатые, приехавшие с женами, с грудными младенцами. Другие, увлекаясь желанием учиться, оставляли на родине своих маленьких детей, а потом тосковали о них, с тоски заболели.

Со студентами были студентки, тридцать-сорок девиц и девчонок, даже от таких народностей, где женщина совсем угнетена и до сих пор являлась предметом продажи, как скот. И, несмотря на крайнюю молодость или даже именно благодаря ей, студенты женились на студентках, юноши и девушки сходились, скрещивая различные человеческие типы. Черномазый алеут, как будто обшитый сапожным голенищем, сам себя называвший креолом, женился на беленькой остячке из Обдорска, повидимому с примесью русской крови, и молодая чета долго не могла решить, куда ей ехать работать: на западно-сибирскую Обь или на дальневосточные острова — Берингов и Медный?

Общим языком института, естественно, стал русский. Но разные народности говорили разным русским языком, в значительной степени малопонятным другим.

Самоеды из Большеземельской тундры и юкагиры с низовьев Омолона картавили и пришепетывали, но совсем по-разному.

Туземные слова в русском языке у остяков были совсем не похожи на туземные слова у обруселых камчадалов.

Были кроме того и общие севернорусские слова, неведомого туземного корня, которые никак не сводились хотя бы к одному из туземных языков: нарта — сани, юкола — сушеная рыба, алык — собачья шлея, каюр — собачий ямщик и т. д. Эти слова, по местным рассказам, шли от неведомой чуди, которая некогда

обитала на Севере, а потом растаяла, исчезла неизвестно куда.

В севернорусских наречиях были также слова древнейшего русского корня, даже древнейшего славянского корня, родственные старо-чешскому и старопольскому языкам. Северных собак привязывали на деревянных «жезлах», лошадей пасли на «пажитях», шею кутали «огонкой», сшитой из хвостов песцовых или беличьих. Севернорусская «огонка» была сродни польскому слову «ogon» — хвост.

В туземных языках тоже были постоянные недоразумения. У русских лопарей боролись три наречия, не говоря уже о лопарях зарубежных, живших в Финляндии, Норвегии и Швеции. У гольдов-нанай соперничали два диалекта. Одиннадцать групп эвенков, разбросанных на огромном пространстве от Оби до Сахалина, до Камчатки и до Чаунской губы на Полярном океане, с недоумением прислушивались к этой суматохе диалектов, но потом постепенно, отчасти помимо воли, вырабатывали общий эвенкский язык.

Такая же разница была и в культуре и в уровне знаний. Иные, хорошо говорившие по-русски, окончившие местную школу, сразу поступали на первый курс и быстро шли вперед.

Другие, совершенно сырые, прямо из глубины тайги или тундры, не знали ничего и оставались по году и по два на двух подготовительных отделениях: младшем и старшем.

Возникло опасение, что первые в конце концов оторвутся от Севера и останутся в западной стране, встречавшей их так гостеприимно. Более захолустные пришельцы, напротив, тяготились климатом и обстановкой и страстно мечтали о возвращении на родину, в первобытные, суровые и дикие условия Севера.

Впрочем, опасения, что кто-нибудь останется совсем в Ленинградской или Московской областях, были малоосновательны. Каждую весною начиналось одно и то же: тундренные и таежные выходцы, устав от жизни взаперти, в четырех стенах института, без постоянных скитаний на чистом, свежем воздухе, на

вольных охотничьих просторах, даже без моциона, без привычного физического труда, настойчиво рвались на каникулы домой. Они словно вставляли на дыбы, как волки и лисицы поднимаются на задние лапы и бунтуют в зверинцах весной. Приходилось поневоле отпускать их домой, но для некоторых было невозможно добраться домой даже в трехмесячный срок. Они застревали по дороге и проводили все каникулы в постоянной езде. Другие выезжали домой на зиму, на год, но потом постоянно стремились вернуться обратно и, действительно, возвращались хотя бы через два года.

Городская обстановка была для большинства не только тягостна, но прямо опасна. Сырость помещения, непривычная пища, а в особенности микробы заразных болезней, к которым мы притерпелись и которых даже не замечаем, представляли для студентов-северян реальную опасность. Туберкулез, и трахома, и другие болезни, дыхательные и глазные, поражали глаза и легкие, гланды и железы и особенно подстерегали самых крепких, выносливых людей. Больше всех страдали чукчи с Берингова моря, удивительно здоровый народ у себя на Севере. Иные юноши прямо с вокзала попадали в больницу, в больнице проводили зиму, а потом уезжали домой. Бывали и такие, что даже не успевали в своей мученической жизни заглянуть в институт.

Для северных студентов Ленинград являлся настоящим боевым фронтом, не менее опасным, чем фронт подлинной кровавой войны.

Были постоянные трагедии. Тевлянто с Анадыря три раза болел глазными болезнями, сидел в темной комнате, не мог учиться и поневоле уезжал домой. Но потом возвращался обратно. И только на третий год его организм наконец приспособился к ленинградским мельчайшим вредителям, водяным и воздушным.

По признаку социальному большая часть студентов были дети батраков и бедняков, даже безродные сироты, которые, отбившись от своего рода, скитались, где попало. Они жили и работали у русских и у соб-

ственных богатеев и вели очень тяжелую и малообеспеченную жизнь.

Впрочем, и здесь было весьма любопытное различие. В племенах, обитавших ближе к русским и более подверженных воздействию культуры, хотя бы через десятые руки, местные эксплуататоры успели оценить значение и важность образования. Бывшие князья, скупщики, торговцы старались так или иначе определить своих детей в школы.

Из обруселых и полуобруселых племен постоянно приезжали дети чиновников, волостных и улусных старшин, переводчиков и прочих. Некоторые приезжали даже с поддельными путевками, конечно, попадались и должны были уезжать обратно, проделать весь долгий путь назад, те же тысячи километров. Надо помнить, что туземцам приехать из Анадырского устья и из Хатангской тундры прямо в Ленинград почти так же трудно, как нам переехать на Луну или на Марс, и не менее опасно для здоровья и для жизни.

Оттого кулаки не часто рисковали посылать своих детей на такие тяжелые приключения.

Но «бедность смела и готова на риск», по чукотскому присловью. Бедняки и сироты без оглядки записывались на поездку в Ленинград.

Кроме того постоянно попадались добровольцы и самовольцы, которые пускались в дорогу, помимо всяких записей и контрольных проверок, и так добирались до Москвы и далее, до места назначения.

Один юкагир из Нижней Колымы ехал до Ленинграда более двух лет через местности, еще не очищенные окончательно от белых банд. На реке Индигирке в Абийском улусе он попал в плен к белогвардейцам и даже был продан в рабство одному из местных старшин. Потом он бежал от него и в конце концов добрался до Якутска.

Однако, при всем разнообразии своего происхождения, всех этих юношей объединяла непреклонная жажда ученья. Им было все равно, чему учиться: счету и письму, политграмоте, физкультуре, советскому праву, медицине, кооперативному строительству. Они брались за все, не довольствовались длинными учебными

часами, организовывали общества и кружки, даже кружок красноречия.

Они словно отстали на десять тысяч лет и теперь хотели догнать и наверстать потерянное в какие-нибудь два-три года: молчали сто веков и теперь стали говорить, говорили три года и не могли умолкнуть.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Кендык сел на кровать и ноги спустил на землю. Над входом, под самым потолком дребезжала железная штука, круглая такая, вроде опрокинутой чашки. Круглая штука дрожала, напрягаясь от резкого звона. От звона было больно ушам и даже рябило в глазах.

«Какая злая»,— подумал Кендык. И сразу отвернулся и посмотрел налево и направо.

Комната была огромная, но как-то похожая на тот же вагон, в котором Кендык приехал с востока. Только этот вагон был огромный, в десять, в двадцать раз больше, чем тот. Повсюду стояли кровати, налево и направо, у кроватей — табуретки, на кроватях — товарищи Кендыка. Они одевались, оправляли постели и деятельно готовились к наступающему дню. Кендык сидел попрежнему голый, спустив ноги на пол.

— Что сидишь, одевайся! — ткнул его в голый живот Чурка, гиляцкий мальчишка, ближайший сосед. — Слышишь звонок: динь, дилинь, дилинь, дилинь, — передразнил он звенящую чашку.

Кендык думал об одном: как бы сбегать на улицу. Но земля была там внизу, а здесь, за стеклом, торчала вершина большого дерева. С такой высоты не прыгнешь. Бежать по всем этим огромным запутанным законам, по кривым коридорам и проходам. Как бежать? Кендык не знает дороги. Он даже не знает, где выход. В тундре дорогу он знает, а здесь вот не знает. Он ощущал со стыдом, с унижением свою телесную потребность.

— Мне надо, — сказал он соседу и дополнил жестом.

— Ладно, идем.

Чурка вскочил на ноги, поправил штаны и двинулся к двери. Кендык тоже вскочил и бросился за ним. Все захохотали. Двое соседей — Кешка-коряк и Пирерканинец — схватили его без всякой церемонии. Но он двинул локтями, и они отлетели долой.

— У, голопузый!

Путугир-эвенк бросил ему в лицо штаны и рубаху:

— Ну, на, одевайся!

Кендык проворно оделся и быстро побежал по коридору. Но Чурка опередил его. Он уже стоял в другой большой комнате. Из всех стен лилась вода, в середине и снизу вливалась в большие железные котлы и стекала по жолобу вниз. Чурка стоял над котлом и старательно мылся мылом, скреб ногтями голову и тер ладонями шею.

Так мылся в Родымске начальник Лукошкин, но и то не каждый день, а разве по праздникам.

Кендык подошел к другому котлу и, подражая движениям Чурки, пустил воду и стал мыться мылом, но он не умел вовремя закрыть глаз, едкое мыло залезло под веки, зашипало, закололо. Он замотал головой и фыркнул, как тюлень.

— Теперь зубы,— сказал ему Чурка.

Кендык послушно набрал порошку на белую щетку, набрал старательно, едва не целый воз, сунул щетку в рот глубоко, до самого горла и тоже не очень удачно. Порошок задушил его, он поперхнулся, закашлялся и выплюнул белое месиво.

— У-у, балда! Еще раз, вот так.

Стоя перед Кендыком, Чурка с таким же старательным ожесточением тер порошком свои собственные зубы. Порошок был белый, щетка белая, и зубы тоже ослепительно-белые.

Кендык стал делать то же самое. Стоя друг против друга, они чистили зубы, утирали глаза полотенцем. Чурка служил для Кендыка как бы живым плакатом или отражением в зеркале.

Впрочем, на стене висел настоящий плакат, там были нарисованы мальчишки и девчонки, которые делали то же, что Чурка с Кендыком. Под плакатом была преогромная надпись: «Мойте шею и уши».

— Теперь штаны! — Чурка платяной щеткой стал чистить свои порыжелые брюки.

— Теперь сапоги. — Сапожною щеткой Чурка на-чистил свои ветхие ботинки, тоже весьма порыжелые.

Кендык послушно и старательно следовал примеру товарища. Правда, с непривычки он натер гуталином штаны, потом стал стирать гуталин, запачкался весь, и ему опять пришлось мыться бегущей водой.

Так совершилось посвящение Кендыка в тайны культуры.

Колокольчик звенел без умолку.

— В класс, в класс! — кричали в коридоре.

Мальчишки бежали с тетрадами, с книгами. Колонка малышей проходила коридором, маршируя по правилам военной физкультуры:

— Раз, раз, левой, левой!

Одни от усердия мотали головами, другие размахивали книгами.

Этим согласованным движением они возбуждали в себе готовность к согласованным занятиям в скучном классе, с бумагою, с мелом, где приходится сидеть неподвижно на узкой скамье, неудобной и твердой.

— Ну, садись!

Чурка пихнул Кендыка на деревянное сиденье. Кендык скорчился, в живот ему уперлась доска. Он положил локти на доску. Как сидеть на этом? Но слезть было некуда, слева была гладкая и белая стена, а справа уселся мальчишка, моложе Кендыка, вертлявый, с насмешливым взглядом.

В комнате было еще три десятка человек. Тут были маленькие и средние и даже настоящие большие. На скамье впереди сидел краснощекий парнюга с гладко-стриженным черепом, похожим на круглую опрокинутую ступу. То был Игънькеу из племени кереков, до сих пор почти не знавший русского языка. Он был в институте уже второй год и все еще объяснялся по преимуществу знаками. Ему было, впрочем, весело, и лицо его сияло широкой улыбкой. Налево сидел Мадуга, столь же большой и тяжелый, из племени селькупов, лесных ненцев. Селькупов было двое во всем институте, и они могли разговаривать только друг с

другом. Но другой сель-куп заболел гриппом, и его взяли в лазарет. Мадуга чувствовал себя совсем одиноким. Но еще более одиноким чувствовал себя Кендык. Он был убежден, что другого одуна в институте нет и быть не может. Он был один, и как ему учиться, он не знал. Он хотел научиться всему, всему... Но руки его были скованы, глаза его были как будто закрыты и не видели науки. Он был как голодный перед новой едой,— еда эта заперта в ларчике, и ларчик из железа, и ключа у него нет, и какая там еда, Кендык не знает, не видит.

В комнату вошла женщина, большая, как жирная нерпа, с добрыми глазами, будто у новотельной важенки. Волосы у ней были рыжие, пушистые, как облако.

Из-под короткого подола видны были обтянутые чулками ноги. Женские наряды в Ленинграде смущали Кендыка. Женщины и девушки его собственного племени ходили тщательно закутанные в кожу и в мех.

Черная доска стояла у задней стены на деревянных подпорках. Учительница взяла белый камешек и стала чертить на доске. Кендык видел такое в Родымске, у русских. Учительница показала большую картинку. На картинке была нарисована лисица с таким же рыжим волосом, как у самой учительницы, но только облизанно-гладким. Учительница написала на доске крупными буквами: л-и-с-а.

— Л-и-с-а,— сказала она, и класс завопил на десять языков:

- Хуляки¹.
- Кабихак².
- Рикук³.

Учительница стояла, как потерянная. Это вавилонское столпотворение языков постоянно смущало ее. Мальчишки по-русски говорили очень плохо, а она, разумеется, не знала ни одного из туземных языков.

— Пишите,— сказала учительница.

¹ По-тунгусски.

² По-азиатско-эскимосски.

³ По-чукотски.

Кендык пожал плечами. Он научился в Родымске списывать из книги такие простые слова. Он взял карандаш, стиснул его в кулаке и стал выводить буквы на сером листочке тетрадки.

— Не так.

Сосед ткнул его в бок и указал на чернильницы, вделанные в парты. Он сам писал чернилами, и его пальцы были запачканы и лоснились черно и мокро. Кендык усмехнулся и покачал головою. Этого опыта он не хотел проделывать снова.

— Не так, не так,— настаивал сосед.

Перед Кендыком на парте лежала его собственная ручка. Насмешливый мальчишка отложил свое перо и стал вынимать у Кендыка карандаш из кулака, намереваясь вложить перо.

Кендык не сопротивлялся, но карандаша не отдал. Другие обернулись на шум, подошла учительница.

— Отчего ты не пишешь чернилами?

Кендык посмотрел красноречивым взглядом на опасную черную жидкость, на мокрые пальцы соседа, на жирную кляксу, размазанную на его тетради. Учительница улыбнулась.

— Ну, пусть карандаш. Держишь не так. Дай-ка.

Она осторожно и твердо отобрала у Кендыка его карандашное шило, вложила между пальцами, как надо, сжала его жесткие пальцы своей мягкой большой рукой и стала осторожно выводить на бумаге четкие буквы: «л-и-с-а». Надпись выходила красиво и ровно, совсем как на доске.

От прикосновения белой, холеной руки у Кендыка даже мурашки пробежали по телу. Он первый раз в жизни видел русскую ученую женщину. Пальцы его послушно выводили закругленные черты, и совсем неожиданно на глазах проступили от напряжения слезы.

— Ах, какой чувствительный,— сказала учительница, подняла свою руку и широко погладила Кендыка по голове.

— Ну, сам пиши!

Кендык, не разжимая пальцев, сдвинул руку ниже и вывел такую же красивую, четкую и ровную над-

пись: «л-и-с-а». Еще раз пониже: «л-и-с-а». Это было как будто внушение. Умелая ласка учительницы сразу научила его держать карандаш и писать, как надо.

— Теперь читать,—сказала учительница.—Вылка, к доске.

Вертлявый мальчишка, сидевший рядом с Кендыком, с удовольствием оставил ручку и вышел к доске. Учительница дала ему большую рукописную книгу, написанную четко и чисто.

— Читай ненецкий рассказ.

Вылка, из народа ненцев — самоедов, стал читать рассказ: «Моя охота».

«Мы с дедушкой ходили стрелять уток. Однажды я шел впереди, а дедушка сзади. Смотрю, вдали что-то блестит. Подошел ближе, а это лежала утка, которая убилась о телеграфный столб. Я страшно обрадовался и закричал: «Дедушка, дедушка, я нашел убитую утку».

Рассказ продолжался в том же стиле и описывал, как самоеды собирают уток, которые убились о телеграфные столбы.

«В ту зиму я еще раз нашел куропатку, которая убилась о телеграфную проволоку. Когда я принес куропатку домой, бабушка ее сварила, и мы вкусно пообедали».

Эту рукописную книгу с такими странными рассказами собрала и составила учительница Голубовская после двухлетней работы вместе с ребятами. Ребята диктовали, а она записывала. Были рассказы ненецкие, эвенкские, остяцкие, гиляцкие, чукотские и всякие другие. Мальчишки диктовали, а учительница писала и слегка исправляла язык. Книга была издана литографским способом, на правах рукописи¹. В ней были прекрасные рисунки, сделанные тоже детьми. Русский язык был довольно простой, и дети его понимали, но содержание книги было странное. Рядом с ненецким рассказом об охоте на уток, убитых телеграфной про-

¹ В последние два года, уже после того как был написан мой роман, в ИНСе широко развернулось составление настоящих учебников на разных туземных языках.

волокой, был вогульский рассказ о сиротке Коте. У Коти были братишка Лева и сестренка Тоня, а потом их мать умерла, а отец женился, взял ребятишкам новую мать:

«Злая она была и сразу невзлюбила сирот. Заставила их работать, мыть полы, стирать белье. И кормила плохо».

Далее рассказывались трогательные подробности о жизни сирот и о том, как маленький Лева осенью пошел в лес и решил там кончить свою жизнь. Взял ружье, поднял курок, вынул шомпол, нажал на спуск и выстрелил себе прямо в грудь. Школьники, читая этот рассказ, нередко плакали. Но в этом рассказе речь, конечно, шла о каких-то городских, обруселых вогулах, которые живут в настоящих домах и у которых даже ребятишки моют полы и стирают белье.

Кроме рассказов, в книге были не менее странные пословицы неизвестного происхождения, во всяком случае не туземного. Например пословица: «языком все сделаешь, а руками призадумашься». Уже через год Кендык читал эти рассказы и пословицы и никак не мог понять, как это можно «призадуматься руками»...

Была еще одна пословица: «умный во время ученья мучится, а глупому все легко».

Кендыку сначала ученье давалось очень туго, а потом ему стало легко. По пословице выходило, что сначала он был умный, а потом стал глупее.

Эта книга представляла один из первых опытов создания учебника для народностей Севера.

Еще звонок. Ребята повскакали с мест.

— Вставай, идем,— дернул Кендыка сосед.

Кендык сразу не мог встать, ноги совсем затекли, и спину ломило.

Только что вышел из двери, прошел по коридору,— новый звонок. Надо опять возвращаться, садиться.

Новая учительница была маленькая, проворная, сухая. Она показала счетную таблицу с нарисованными маленькими оленчиками. Один оленчик, два оленчика, три оленчика. Внизу стояли цифры: 1, 2, 3, 4. Рисунки тоже были северной туземной работы. Учительница

показывала на каждую кучку оленей, для ясности отгибала на пальцах, потом громко говорила по-русски: «п-я-т-ь». И ученики повторяли хором: «п-я-т-ь», «п-я-т-с-ь», «п-е-т-с-ь» — с разными акцентами. А потом в виде объяснения все же называли по-туземному: tupna¹, tojnga², mьlьnen³, samlang⁴, и Кендык невольно прибавил на своем языке inganboj⁵.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Опять затрещал надоедливый звонок.

— Обедать, обедать! — весело закричали ребята.

Вслед за другими Кендык без особых приключений спустился в подвальную кухню-столовую. Там стоял у прилавка длинный хвост учеников с ложками и хлебом. За длинными столами, без всяких скатертей, некоторые счастливы уже энергично справлялись с незатейливым обедом. Суп, мятая котлета с тертою картошкой, по обычной студенческой мерке — обед хороший. Кендык проглотил свою порцию мигом и вышел на двор. Он потянулся, вздохнул, над ним было синее небо, а кругом — деревья, редкие, большие, ветвистые, с сочными листьями; и ветви и листья на них были ласковые. Кендык медленно и вяло пошел по двору. На открытом конце двора ребяташки играли в волейбол, и крупный мяч, как птица, прилетел и спустился к Кендыку. Кендык вдруг ожил, развернулся, как пружина, подпрыгнул, поймал мяч на лету и изо всей силы запустил в сторону игравших.

За воротами запел, загремел, пробегая, трамвай. В душе Кендыка что-то взыграло веселое, буйное: ведь это Ленинград, Ленинград, большое, незнакомое. Не только бумага и мел, ведь это тысячи, тысячи домов, которые наставлены рядом один на другой, как рассказывал Андек Лукошкин. Люди, текущие, как каша,

¹ По-эвенски.

² По-гольдски.

³ По-чукотски.

⁴ По-ненецки.

⁵ По-юкагирски.

как вода, сани на колесах, без всяких лошадей, без оленей, бегущие собственной силой, одни за другими, как целые стада. Пойти, посмотреть, нырнуть в эту людскую реку, проплыть, переплыть и выбраться на какой-нибудь другой берег...

С присущей ему решительностью Кендык пошел со двора, перешел через рельсы и вошел сквозь ворота в бывшую лавру. Здесь было странное смешение культур, заметное даже для его неопытного глаза. Направо были церкви, высокие, с огромными дверями, а налево широкие двери различных райучреждений: райштаб культпохода, раймузей, райнаробраз.

Прямо на дереве была прибита жестянка с надписью: «Коопвенстул — фабрика гнутой мебели».

Навстречу Кендыку валила молодежь, рабочие, красноармейцы, и вдруг между ними прошел монах, огромный, в стоячем клобуке, в широком суконном кафтане.

«Ого! — удивился Кендык. — Русские шаманы из русских шаманских домов. Пойти, посмотреть».

Но двери «шаманских» домов были закрыты.

Широкое пространство было заставлено могилами. Тут были разные могилы — и старые, и новенькие, чисто окрашенные, совсем с игопочки. Христианские кресты в славянских буквах, с титлами, с твердыми знаками, и новые кресты, исписанные по-новому, и темные колонки без всякого креста, с советскою звездой. Отдельной группой стояли пропеллеры на могилах убившихся летчиков. Они были какие-то особые, с виду как будто кресты, а на деле — совсем не кресты, а бывшие вертушки, которые раньше давали самолету летучее движение, а теперь остановились и замерли навеки вместе с их мертвым хозяином.

Кендык сразу узнал их. И долго стоял перед ними. Их было так много, и они говорили о том, что полеты в вышину не всегда кончаются удачно. Потом в душе его что-то как будто отвердело. «Все равно, — сказал он себе, — все помирают и падают. Даже бывает, что птицы летают и падают». Он вспомнил, как было на родной Шодыме лет пять тому назад, в летнее время на охоте. Одуны стреляли из ружей в пролетающих птиц. Иногда попадали в них, а чаще — в неогляд-

ное синее небо. Северные охотники плохо попадают в летящую птицу. Черда лебедей потянула высоко, далеко за пределом одунского выстрела. Их было восемь. Белые перья слегка золотились на солнце. Вытянув длинные шеи, они кикали, трубили низким и густым тоном: «Киооо, киооо!» И вдруг передний вожак как будто наткнулся на что-то незримое, бессильно сложил свои крылья, уронил свою крепкую голову и шлепнулся на землю в трех шагах от Кендыка. Он упал очень близко, и первую секунду мальчику казалось, что он попадет ему прямо на голову. Кендык подскочил к упавшему лебедю,— лебедь трепетал последним движением жизни, глаза его закрылись, из полураскрытого клюва выбежала струйка крови, темной, густой, тягучей...

Кендык прошел через мостик над узким каналом, вышел на площадь, потом перешел на панель и смело пустился по Старо-Невскому проспекту. Солнце еще не садилось, было тепло и светло, мимо пробежали красные трамваи, звеня и громыхая на ходу. Катили проворные форды, ныряли грузовики, виляя тяжелым квадратным хвостом, окованным крепким железом. Вот прошел грузовик, огромный — гора, груженная деревянными ящиками. Вот другой проскрежетал крепкими полосами тяжелого железа. Кендык уверенно шел по панели. Ему навстречу текла толпа, вместе с ним протекала другая, отдельные люди были как щепки, как капли, они задевали один за другого, сцеплялись и расплеплялись.

Кендык вышел на другую широкую площадь. Вот преогромный дворец, куда приходили и приходят вечером, утром и днем вагоны с людьми и товарами. Сюда-то и приехали Кендык и другие ребяташки. На площади, на камне, как будто на высоком сундуке, верхом на коне сидел медный литой человек. Конь был с обрезанным хвостом, с тупой безобразной мордой. Кендыку сказали потом, что это злой царь, который не очень давно мучил и грабил и вешал рабочих, все больше молодых. Он грабил и северных охотников, собирал соболей и лисиц, а взамен не давал ничего. И за это теперь, когда стала народная власть, управа

трудящихся, рабочих, крестьян-хлебоделов и охотников, он стоит, вылитый из меди, на позор себе и на смех проходящим.

Кендык обошел площадь, взглянул вперед и чуть не отскочил назад. Перед ним расстилалась длинная широкая прямая просека, аллея домов. Такой дороги, совершенно прямой и широкой, Кендык не видел никогда, не мог видеть даже во сне. По обе стороны вздымались, как речные яры, те самые дома, о которых рассказывал Андек, шесть рядов, как будто пчелиные соты. Улица текла между этими крутыми берегами, плитами широких панелей, камнями мостовой, длинными двойными железными рельсами, вязкою толпою лошадей, экипажей. Кендык видел все эти подробности одну за другой, его глаза, и мысли, и самый мозг жадно их впитывали. Но он не знал, как назвать их. Его бесхитростный одунский язык не знал названий для рельсов, многоэтажных домов, автобусов, автомобилей.

На другом конце улицы, далеко впереди, сияла высокая круглая башня, вонзаясь в небеса позолоченным копьём. Кендыку чудилось, что она пронизала облака, пробилла нижний слой небес, волнистый и легкий, как пух, и все-таки тянется вверх и хочет прободать все девять небес и добраться до того бородатого русского бога, который живет на самой макушке вселенной.

Это была несравненная улица такой же несравненной северной столицы, бывшая Невская перспектива, которую потом воспевали поэты и прозаики под именем Невского проспекта. Она называется ныне проспектом 25 Октября, настойчиво напоминая каждой именной дощечкой своей о начале великой революции.

Кендык стоял на месте и глядел вдоль проспекта. Вот она, книга, живая, чудесная, небывалая, неслыханная, невиданная. Вот о чем он мечтал в своем захламленном и диком, голодном углу. Здесь надо учиться, здесь вся человеческая мудрость, кипение работы, трепетание желаний. Он сделал несколько шагов и словно погрузился в упругие, вязкие волны улицы-реки. Она подняла его, понесла вперед. «Назад не приходиться бы», — думалось Кендыку. Зачем ребятишки, бумага, ученые бабы, ученые слова? Кендык шел впе-

ред, пред ним открывались одно за другим несравненные зрелища.

Высоко на жилах из меди висел яркоглазый фонарь. Он был живой, и глаз его менялся: вспыхивал красный, как кровь, и словно рассекал бегущую дорогу. Большие, и средние, и малые повозки застревали и спирались, как длинный трепещущий хвост. По самой середине перекрестка стоял человек в серой шапке торчком, как у красноармейца, с белою круглою палкой. Палка упиралась в налетающий воздух, она удерживала красное пламя в глазу, и глаз удерживал идущую толпу повозок на колесах.

Человек опускал палку, и глаз послушно мигал зеленой и светлой травой, незримые ворота открывались, и улица текла вперед.

На втором перерыве в уличную реку влилась другая река, такая же прямая, бесконечная, с трамваями, с домами.

На этом перерыве Кендык стоял дольше прежнего, не решаясь нырнуть в толпу грузовых лошадей, в кашу грузовых и легковых машин, в непрерывный поток пешеходов. Здесь с ним произошло второе неожиданное чудо: пока он стоял и глядел на бегущие чортовы повозки, кто-то ударил его по плечу снизу вверх. Кендык оглянулся, словно уколотый. За ним стоял тоненький Вылка, тот самый насмешливый мальчишка, который утром в классе учил его писать чернилами отчасти на бумаге, отчасти на собственном лбу.

— Видишь, какой ты,— сказал Вылка, поглядывая на Кендыка с заметным дружелюбием.— Ушел бродить, стало быть, а я увидел и пошел за тобой. От самой лавры иду, а ты не замечаешь. Я тоже смерть люблю шляться! Пойдем, стало быть, вместе. День пройдем до вечера, а ночь до утра. Я буду тебе рассказывать, что и к чему,— сказал он с забавной важностью.

Дальше была настоящая речка с водою, с широким мостом, на мосту были лошади, при лошадях люди, все это литое из бронзы. Лошади вставали на дыбы, вырывались и бились, а люди их тянули крепким бронзовым поводом.

— Знаешь, какие это лошади? — спросил Вылка.— Это нашей земли люди, все равно, мы с тобой. Передняя лошадка — это русский народ, а задняя лошадка — это сибирский народ. А держат их чиновники на коротком поводу. Так было прежде. А теперь поиному...

Еще поперечная улица-река. На самом перекрестке огромный белый дом, как белый утес. Кендык оставил Вылку и подошел к другому человеку в сером сукне, который высоко поднимал такую же белую толстую круглую палку.

— Что там? — спросил он, указывая рукою на дом.

— Книги, — коротко ответил человек. — Эй, берегись! — Он схватил Кендыка за шиворот и быстро отдернул его в сторону от наезжавшего грузовика.

Однако по мановению белого жезла повозки остановились.

Кендык и Вылка воспользовались остановкой и вслед за другими перебежали вперед на панель. «Книги, да! — думал Кендык. — Сколько их там? Тысячи тысяч, выше предела познания»¹.

Он представлял себе книги, связанные в пачки, лежавшие высокими рядами, как будто дрова. Поленницы, залежи, книжные утесы. «Кто собирал их? — спрашивал Кендык себя. — Кто прочитает их все? Если на каждого из этих проходивших дать хоть по книжке, как выйдет? Хватит ли книжек, или, напротив, хватит ли этих людей, хватит ли рук, чтоб держать эту несчетную грамоту, и глаз, чтобы читать, языков, чтобы вслух выговаривать?»

Кендык шел дальше; на площадке налево была огромная церковь несравненной красоты. Но креста на ней не было, вместо креста высоко и гордо реял красный флаг.

«Это тоже по-нашему», — радостно подумал Кендык.

Напротив стояло высокое черное здание, с башенкой сверху, похожей на круглый рог.

— А тут что? — спросил опять Кендык у первого прохожего.

¹ «Выше предела познания» — тьма, множество.

Прохожий ответил:

— Не знаю.

На нем был дерюжный армяк, шапка с ушами, несмотря на теплую погоду, а на ногах традиционные лыковые белые лапти. Это был приезжий из деревни.

— Что там? — спросил Кендык настойчиво у другого прохожего, повыше ростом и одетого почище.

— Дом книги, — выпалил резко прохожий и побежал по своим делам.

«Опять книги, — подумал Кендык с удивлением. — Тут, видно, надо учиться весь век: от кожаной малой пеленки до самого входа в долбленную гробовую колоду».

На этом месте Кендык долго стоял и глядел вперед, назад.

Про эту улицу ему говорили другие. Рассказывал даже Андек в далеком Родымске. Он говорил, что в большие советские праздники, два раза в год, весной и осенью, улица с утра набивается народом, как льдинами во время ледохода. Проходит завод за заводом, фабрика за фабрикой, школа за школой, вздыбившись красными флагами. Есть маленькие флаги, как будто полевые цветы, и огромные, алые, как пламя пожара, как яркость восходящего солнца. Трубят бесконечные трубы, играют оркестры. Проходят телеги с высокими куклами, там лица друзей и врагов. На флагах все те же знакомые надписи: «Бедные рабочие всех стран, соединяйтесь». «Пятилетняя работа обновит и поднимет Советскую страну».

Кендык закрывал глаза, и пред ним вставал воочию этот высокий ледоход, никогда им не виданный. «Куда же припрятали флаги, повозки и фигуры? Эх, посмотреть бы!» — вздыхал он завистливо.

Но и без того на улицах было довольно чудесного. Над входами в кино, — Кендык понял, что это кино, — подымались огромные зеленые и красные афиши с мужскими и женскими лицами.

Кендык трудно и долго читал букву за буквой, слог за слогом, одолевая в конце концов мудреные звуки, но чаще всего не понимая их значения.

Окна магазинов были зеркальные. Кендык не думал никогда, что бывают на свете такие большие зеркальные и светлые стекла. Под стеклами были товары: ткани, посуда и кожа. Был ряд окон, где струились потоки мехов, такие большие, каких не бывало в шодымских лесах, сидели, притаившись, лисицы, поблескивая красными глазками. Кендык подумал, что вся Шодыма, одуны и якуты за целый год охоты не могли бы собрать столько драгоценных мехов, сколько их здесь, в этой одной лавке.

— Смотри, смотри,— со смехом сказал Вылка.

Он выскочил вперед и весело плясал перед окном магазина.

За огромным зеркальным окном, во всю ширину магазина был выставлен кусок тайги, зеленой, корявой и мшистой. Кендык сначала подумал, что это настоящая тайга, потом пригляделся поближе и усомнился.

На гладкой, утопанной земле два красавца-черныша, с алым гребешком, с задорно распушенными крыльями, шли навстречу друг другу, видимо, готовые драться. Было очень тихо, и лесные петухи стояли неподвижно на месте, бросая друг на друга сердитые взгляды.

— Что это, охота? — наивно спросил Кендык вертявого Вылку.

Вылка усмехнулся.

— Какая тут охота, на улице, в толпе. Так, подделано.

На вывесках были крупные надписи: зеленые, красные, разные. Кендык читал их, но окончательно ничего не понимал: «П-р-о-м-к-о-о-п-и-н-т-о-р-г». Кто мог бы объяснить по слогам наивному одунскому гостю это многоэтажное скопление слогов?

Кендык прошел до конца и вышел на третью широкую площадь. На площади стоял высокий круглый столб, а на столбе был ангел с крыльями, с высоким крестом. «Вот тебе на! — подумал Кендык. — Отчего его не снимут?» Но столб был гладкий и круглый; ангел забрался на такую высоту, что достать его было трудно.

Перед крестом расплылся огромный дворец, как плоская гора с обсеченными стенами.

— Здесь когда-то царь жил,— объяснил Вылка.

Он вступил, наконец, в права объяснителя и стал рассказывать:

— У этого дворца крыша в то время была ледяная, нetaющий лед (стекло). Тоже и полы были из нetaющего льда, а как солнце взойдет, так солнечный луч сверлился сквозь жаркую крышу прямо царю на кровать. А ниже, под полом из нetaющего льда огромная река, или озеро, или море, я не знаю, которое,— бегущая вода. Эта бегущая вода была переполнена рыбой. Вот царь и его помощники лежали на кроватях и прямо с кровати ловили рыбу из светлой воды. Этим сами кормились и кормили гостей своих.

— Я тоже слышал,— припомнил Кендык рассказ эвенского гостя в далеком Коркодыме.

Этим рассказом когда-то открылся для Кендыка новый путь, неслыханный, невероятный.

— А вот там, перед входом, говорят, была такая глубокая дыра, до самого пупа земного. А в этой дыре, в глубине, сидел такой дьявол, злой дух с четырьмя головами, у каждой головы было по четыре лица, и в каждом лице по зубастой пасти. И был этот дьявол голодный и все кричал, выл, требовал еды. И был он как белая мушка, как моль. Знаешь — моль, которая меха поедает. Так же и этого духа кормили мехами, отборными, лучшими лисицами, песцами, белками, горностаями. А если мехов не хватало, то надо было добавлять головы казачьих детей. Детей отдавали чередою, и так череда доходила до царского детеныша. Был он такой хилый и слабый, ноги под ним не держались, и кровь в его жилах не держалась и все выливалась то внутрь, то наружу. А царь его страшно берег, своего кровавого уродца, и затем собирал яски со всего сибирского народа злого духа кормить и своего сына тешить.

То была наивная легенда далекого Севера о царе и ясачных мехах. И неведомо как в нее проскочили подробности о последнем цареныше династии Романовых, которого ноги не держали.

Кендык выслушал рассказ и покачал головой.

— Не веришь? — спросил Вылка. — Ну, ладно, может, я тоже не верю, а выходит складно. Теперь вот не стало царя, и, стало быть, не стало ясака. Никто не собирает, и никто не дает. Оттого и подземного духа не стало, может, он глубже ушел или с голоду помер. Пойдем, я покажу тебе, где того царя убили.

Они пошли на берег канала, там стояла небольшая церковь, похожая на каменный пирог.

— Вот здесь это было, — указывал Вылка. — Был этот царь-царице, и вышел к нему российский мальчишка, такой молодой, не старше нас с тобой, и был он наевшись этим взрывным порошком и бросился царю прямо под ноги. Тут его и разорвало, да и царица вместе... А вон там, подальше, там другой дворец. Там другого убили царя. Этого убили тайно, в ночное время, его собственные помощники. Собрались все вместе, схватили, шею закрутили удавкой так, что язык вывалился вон чуть не на пол-локтя. Царь только сучит ногами, да и то не помогает. Наутро и его выставили в открытом гробу на посмеяние народу.

Так рассказывал Вылка жуткие рассказы и легенды грозного невского города о прошлых убийствах царей, и Кендык удивился и спросил:

— Теперь же не стало царей. На что поминать их, лучше покажи теперешних начальников.

Они прошли по улицам в обратную сторону и так дошли до третьего дворца.

— Вот здесь обитают они, — Вылка указал на дорогу меж колонн. — Мы называем их «умнейшие» и еще называем «старейшие». Они оттого умнейшие, что мы были очень глупые. Посадили себе чорта на шею, а они его сбросили. А старейшие они потому, что стали на место старшин, а теперь не по роду старейшие, как это было в старину, а просто по уму, по достоинству.

Это описание коммунистической партии в преломлении Севера некогда дошло до Кендыка в его захолустный Коркодым. Оно его встретило снова и здесь, в северном новом гнезде, возникшем в городе Ленина.

На улице давно потемнело. Зажглись на столбах высокие круглые лампы. Вывески над магазинами за-светились сверкающими мухами. Огненные буквы выскакивали и опять исчезали. В одном месте кто-то незримый водил огромным пальцем в вышине, выписывая огненное слово:

Сбором утильсырья охватим все районы

Слова зажигались и опять исчезали одно за другим.

Ноги тундренных студентов, привычные к пешей охоте, не знали устали. Но студенты проголодались. Впрочем, у Вылки оказалась в кармане краюха черного хлеба. Они разделили ее по-братски, запили водой из бочки, стоявшей на улице с подвешенной кружкой. Так подкрепившись, снова пошли вперед, ненасытно и неутомимо разглядывая живую книгу города. Они долго стояли перед высоким желтым домом, где наверху медные лошади везли пустую повозку неизвестно откуда и куда. Перед домом стояли на площади десятки машин и ждали людей, которые были в середине. Изнутри доносились музыка, крики и говор. Там было весело.

— Ну-ка, пойдем да посмотрим,—предложил Кендык.

Вылка засмеялся.

— Билет есть? — спросил он.

— Нету.

— А деньги есть?

— Нету.

— Без билета и денег не пустят нас ни за что.

— Может, назад пойдем,—вдруг предложил Кендык.

Он вдруг почувствовал усталость не столько от ходьбы, сколько от множества пестрых впечатлений. У него словно голову распирало. Брюхо его было пусто, а голова полна.

— Только я дороги не помню... Дивное дело,—сказал он задумчиво.—На тундре, в тайге, всякую до-

рогу запомню. Сквозь вьюгу, сквозь белую пургу пройду без ошибки, как надо. А здесь вот не тайга, люди, людские дома, среди людских домов дорогу потерял. А ты дорогу знаешь?

— Знаю,—беспечно ответил Вылка.—А только далеко идти, да поздно, заперли ворота, и нас не пропустят ни за что. Только нарвемся на ругань. Может быть, как-нибудь здесь приютимся, ночь, видишь, теплая. Здешнее небо не злится на нас.

Но вышло как раз по-иному. Неверное невское небо тотчас же обмануло доверие полярного мальчишки, нахмурилось и словно осело пониже над каменным городом, брызнуло дождиком, сначала помельче, а потом покрупнее. Студенты были без пальто, а Вылка даже и без шапки. Куда деваться? Они были теперь в боковом переулке, перед высоким угрюмым недостроенным домом, с каменным забором и крепкими воротами, наглухо забитыми и заложенными брусьями. Двое мальчишек прошли впереди. Они были примерно такого же возраста и роста, как северные гости. Один был повыше, а другой пониже.

Чужие мальчишки подошли к воротам, оглянулись налево и направо, с минуту постояли, подумали, а потом примерились и полезли на каменную стену, перемахнули через верх, прыгнули; слышен был стук от их падения на мокрую землю по другую сторону стены. Потом опять стало тихо, на улице было безлюдно, только крупные капли дождя шлепались о плоский камень тротуара.

Кендык и Вылка недолго думали.

— Они, видишь, спрятались, укрылись,—сказал Вылка,—а мы чем хуже?..

Студенты полезли через стену по той же намеченной дороге, перелезли через верх и спрыгнули на мокрую дорожку.

На дворе было тихо, не было ни людей, ни собак, никого, только камень и дождь. Но где-то впереди, сквозь разбитое окошко мелькал огонек. Полярные гости, забравшиеся без спроса в чужое жилище, да еще таким необычным путем, пошли на огонек отыскивать защиту от дождя.

Они взошли на крыльцо, сбитое из толстых почернелых досок, прошли по коридору, не имевшему крыши; пол был такой же дощатый, как крыльцо, но некоторые доски отстали, другие подгнили и упали, создав неожиданные трапы, и нужно было идти осторожно, чтоб не провалиться в какую-нибудь неведомую яму.

В конце коридора были широкие двери, за дверями светил огонек. Кендык и Вылка вошли и увидели совершенно неожиданное зрелище. Шесть этажей высоких, но еле намеченных, вставали один над другим. Они разделялись дощатым канатом, который во многих местах был разобран, и во всю высоту проходил кирпичный боров, назначенный для будущих печей. Пол был завален соломой и всяческим сором. У черной стены стояла буржуйка, железная печка с трубой, выведенной в брюхо кирпичного борова. В соломе, налево и направо, были проделаны гнезда или норы. В таких норах могли бы гнездиться хорьки или крысы, но эти норы были раз в десять крупнее и шире крысиных проходов.

В буржуйке топился огонь; чайник, закопченный до-нельзя, сделанный как будто из сажи, грелся на буржуйке. Сквозь неплотно прикрытые дверцы железной буржуйки выскакивали одна за другую проворные искры. Казалось каким-то необъяснимым чудом, от чего в этой груде прелой соломы и гнилого тряпья не загорается пожар.

На соломе направо и налево от печурки сидели беспризорники. Они были заняты разными делами. В одном углу играли в карты, и карты были такие же страшные, черные, как уголь, с круглыми обитыми краями, похожие скорее на картонные жетоны.

В другой группе ели, и пища была какая-то странная, в жестяных коробках, откуда содержимое выгребалось грязнейшими пальцами. Истерзанные ломти и корки черного хлеба валялись кругом.

Всего беспризорных было человек двадцать. При виде незваных гостей сразу прекратились все разговоры и житейские дела. Двадцать пар подозрительных глаз уставились с разных сторон в непрошенных пришельцев.

Из группы картежников встал долговязый детина в женской кацавейке, в опорках на босу ногу и в белых кальсонах, заменявших штаны. Впрочем, кальсоны были давно уже серые от грязи и сходили легко за штаны. Шапки у него не было, но на странной высокой голове стояла такая же высокая копна светлорусых волос, выцветших от солнца и дождя. Он подошел к пришельцам довольно близко, оглядел их с ног до головы своими холодными зелеными глазами и сильным голосом спросил:

— А вы зачем?

— От дождика укрыться,— ответил Вылка с готовностью и совершенно спокойно. Он ответил хозяину таким же ничуть не смущенным взглядом, и глаза у него были такого же цвета, зеленые с серым, но только значительно гуще.

— Да вы кто такие? — спросил долговязый хозяин, уже с очевидным удивлением.

— Мы с тундры,— ответил Вылка,— и тоже с тайги. Хозяин, очевидно, не понял.

— А где это, с тундры? — спросил он в недоумении.

— А тундра далеко, далеко,— объяснил словоохотливый Вылка.— Знаешь, Сибирь, так тундра за самой Сибирью. Там холодно.

При слове «холодно» хозяин инстинктивно поежился. В этом странном кирпичном логове было тоже холодно, пожалуй, холоднее, чем на неведомой тундре.

Наступило молчание.

— А вы, может, духи? — спросил неожиданно хозяин:— поднюхивать пришли?

— Сам ты злой дух,— отозвался Вылка с негодованием.— Какие мы духи, мы люди.

— Такие, милицейские духи? — отозвался хозяин.

— Полно, Сережка, зачем заливаешь? — отозвался один из картежных партнеров, маленький, горбатый, с длинными-предлинными ушами, как будто обезьяньими.— Разве такие «мильтоны» бывают? Нет, эти совсем иные. Постой-ка, вот я их расспрошу.

Он соскочил с места, бесцеремонно оттолкнул Сережку в сторону, и руки у него были твердые и цепкие, полные силы.

— Кто вы такие, скажите,— японцы, китайцы?.. Ну, «ходя», скажи,— обратился он к Вылке с неожиданной приятностью.— Мы не обидим, не тронем.

— Ничего мы не китайцы,— отозвался Вылка с обидой в голосе.— Мы северные люди: ненцы, бывают, одуны. Я, например, ненца, а этот — одун. Еще бывают лопари, эвенки, эвены, чукчи,— и он не торопясь пересчитал все двадцать пять имен уцелевших осколков древнейшего населения Азии.

— Так вы ведь не здешние? — спрашивал горбун рассудительным тоном.— Зачем вы изволили пожаловать к нам в Ленинград? Хлеба торговать да денег наживать? Так, что ли?

— Нет, мы приехали учиться,— ответил Вылка.— Мы, стало быть, северные студенты. Учимся в ИНСе, который за лаврой.

Маленький вертлявый мальчишка, странно похожий на Вылку, подскочил к говорившим.

— Знаем лавру,— заговорил он бойко,— и знаем ваш северный ИНС. Не вы ли в запрошлом году облавы нам устраивали, с солдатами пришли, вышибли нас вон, как бездомных собак? Я тоже был там, я знаю,— прибавил он с гордостью.

Ему было лет четырнадцать, но житейская драма беспризорного мальчишки начинается раньше, с десяти, даже с восьми лет.

От такой неожиданной встречи смутился и Вылка.

— Тогда мы вам попались, а теперь вы нам попались. Ты зачем, например, в сапогах, когда я в опорках? Ты вон под черной гимнастеркой, а я в передранной рубаше. А суконце почему покупали? — сказал он и неожиданно и крепко ущипнул Вылку повыше локтя, захватив своими жесткими пальцами гимнастерку и собственную кожу студента.

— Отстань! — крикнул Кендык запальчиво и крепко ударил задирану по протянутым пальцам. Ударил вертикально раскрытой ладонью, но ладонь у него была жесткая и твердая, как дерево, тверже, чем у задорного сорванца.

— Ты чего дерешься? — запальчиво крикнул маль-

чишка, отдергивая руку.— В наш дом пришел, да сам и дерешься,— вот мы тебе банок наставим.

Беспризорные мальчишки повскакали со своих мест и бросились к студентам, явно намереваясь вступить с ними в драку. Но Сережка был настроен более миролюбиво.

— Лучше отдайте добром,— предложил он гостям,— сменку сделаем, вашу одежду на нашу, пожалуй, тогда и ночуйте, спасайтесь от дождя.

— Накося, выкуси! — ответил Вылка, показывая фигу.

— Товарищ, берегись!

Кендык и Вылка, привычные к ссорам и дракам, быстро встали в боевую позицию, спина к спине, достали ножи и приготовились к защите. У них у обоих были за поясом ножи во внутреннем кармане.

Северный житель без ножа никогда не выходит. Пояс и нож — принадлежность мужчины, работника, бойца. Распоясанного парня, без ножа, засмеют, задразнят, девки станут о нем сочинять насмешливые песни, мужчины на ночлеге не пустят его в свою компанию. Нож для северянина — оружие и инструмент. Все равно, что зубы для волка и когти для кота. Волк перегрызает зубами крепкий коровий маслак, а при случае искусно и без промаха ловит зубами блох.

Северянин превращает лезвие ножа в струг, в скребок, в копейный наконечник, в ковырялку для трубки и даже в чесалку для спины за открытым воротом толстой меховой рубахи. Там в изобилии водятся блохи, и северный житель кончиком ножа, не глядя, глубоко на спине убивает блоху, пожалуй, ловчее, чем волк зубами в своей густошерстой шкуре.

Северный житель снимет внутреннюю рубаху из замши или ситца, взденет ее на доску, чаще всего на табачную, где крошат для трубки крупные листья манчжурского или черкасского курева. Потом натянет шов, обернет нож череном, торцом, и начинает водить по шву: взад и вперед. Только треск раздается негромкий, характерный... Это называется «выхлопать» рубаху — убить насекомых.

Но в случае нужды северянин наносит ножом опас-

ные и смертельные раны. Ножом убивает оленя, при случае закалывает лося и даже медведя, всегда метит и попадает прямо в сердце с точностью хирурга.

Вылка и Кендык выставили влево и вправо свои узкие опасные ножи.

— Ну, подходи! — крикнул Кендык по-русски и прибавил по-одунски ругательство: — Eileduwbandié!

Это незнакомое длинное одунское слово подействовало странно на наступавшую шпану. Беспризорники даже отступили на минуту. Кстати и значение слова было тоже неожиданное: «невидимый», то есть злой дух. Дело все-таки закончилось бы кровопролитием и, возможно, даже убийством, но в эту минуту раздался странный звон и стук. Над буржуйкой на проволоке висело какое-то непонятное сооружение, составленное из железных колец, пустых жестянок, посудных черепков и прочего. Все вместе походило на огромную кисть. От кисти перебрасывалась проволока прямо на высокую стену, а оттуда уходила вниз. Это был звонок, такой же нескладный и странный, как и вся жизнь этой огромной норы. За стеною «на стреме» кто-то стоял и подавал сигнал: «Спасайтесь, кто может, подходят враги».

— Кожаные куртки! — крикнул Сережка, впрочем, не особенно громко. — Ловчись, ребята, хряй!

Беспризорники мигом подхватили свое жалкое имущество, сунули его в мешки с барахлишком и пустились наутек.

Иные убегали в глубину недостроенного дома, где у них были лазейки в другие дворы и на улицу, другие перелезали через заднюю стену, в то время как враги подходили с передней стены.

— Кендык, хряй! — крикнул Вылка, употребляя, в свою очередь, чужое словечко, подхваченное у беспризорников.

Приятели еще раз перелезли через стену, вслед за беспризорниками, упали на землю в каком-то дворе, перебежали налево, где в кирпиче был довольно широкий пролом, и вышли на улицу.

Кожаные куртки, действительно, явились. Их было немного, пять человек, но все они были с наганами

В руках, и, конечно, два десятка беспризорных бегунов не являлись для них сколько-нибудь опасными противниками.

Но в берлоге беспризорников никого не было. Все они удрали, своевременно очистив поле действия.

Проворные руки пришельцев рылись в соломе; искусно выбирали разные вещи, а сор отгребали в сторону. Один из них повел носом.

— Как воняет! — сказал он с брезгливой гримасой. — Ну-ка, посмотрим.

Они заглянули в провал между раздвинутыми досками, спустили фонарик и ахнули.

Под полом лежало месиво из кошачьих туш. Их было много, несколько тысяч, целая гора. Они совершенно разложились и словно бродили от гниения.

Это был подарок, который беспризорники оставляли ежегодно осенью в наследство городскому управлению, очищая Москву и Ленинград и удаляясь заблаговременно в теплые края, в Крым и на Кавказ.

Помимо этой зловонной груды, вещей, интересующих пришельцев, было немного. В сущности, только колода карт, брошенная впопыхах убежавшими игроками.

Начальник отряда посмотрел карты на свет и невольно рассмеялся: эти грязные, черные охлопья были все-таки карты не простые, а крапленые. Наружная рубашка их была такая же грязная, как рубахи убежавших игроков. На ней в разных местах были отметины, царапины, черточки, которые давали возможность при сдаче передергивать, выбирая козырную масть.

Но одной колоды карт было, конечно, недостаточно для целой облавы. Начальник пожал плечами.

— Опять убежали, — сказал он недовольно. — Кто им тут знак подает?

В это время из груды соломы, в дальнем углу, неожиданно выполз мальчик, совсем маленький, с коричневым телом, светившимся сквозь драные лохмотья.

Лицо у него было синее от холода. Даже стриженная голова была тоже синяя. Но он подошел к начальнику с решительным видом.

— Вот я, — сказал он. — Возьмите меня. Здесь холод-

но жить. Девайте меня куда-нибудь. Девайте мне путевку в жизнь!

Начальник опять усмехнулся. Стриженный мальчишка был, очевидно, не лишен известного образования, правда, по части уличных афиш и кино.

— Берете? — переспросил мальчик, следя за выражением лица своего нового знакомца. — Эй, Маруха, девчонка, выходи.

Из этого же угла вылезла девчонка, совсем маленькая, лет десяти. Она была такая костлявая, щуплая, не больше обезьянки, но с таким же независимым видом она подошла и стала рядом со своим покровителем.

Начальник усмехнулся шире прежнего.

— А еще много вас тут? — спросил он добродушно.

— Нет, только мы двое, — отозвался стриженный мальчишка. — Другие убежали... Глупые мальчишки, — серьезно сказал добровольный пленник. — Я их уговаривал: пойдете все, гуртом, вот как интересно будет. Дадут нам детдом, машины привезут, мы будем работать, играть и работать, совсем как живое кино. А они не захотели. Такие необразованные, — сказал он с гордостью. Сам он, очевидно, считал себя совершенно образованным. — Хотите, я схожу к ним, — сказал он начальнику. — Я знаю, куда они делись. Схожу, предложу: идите к начальнику, он добрый такой, станем в «путевку» играть.

— А они не убьют тебя? — любопытно спросил начальник.

— Пожалуй, убьют, — согласился синелицкий агитатор. — Давеча грозились.

— Ну, пойдете покуда, — решил начальник. — Там видно будет.

Они открыли боковую калитку огромным ключом, заржавевшим от времени, и выбрались на волю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Первое время Кендыку было в институте мучительно трудно, хотя многое он воспринимал очень легко, даже ловил на лету: русский разговорный язык, ариф-

мѣтику, географию. Так же рисовал он, как многие другие северные юноши, легко и по-своему стильно, удивляя этим инстинктивным умением своего учителя. Однако рисовал он исключительно одни лишь живые фигуры, зверей и отчасти людей. Деревья и дома рисовал не особенно охотно, а главное, плохо. Рисовать же школьные предметы, какие обыкновенно выставляют в классах для рисования, он отказывался наотрез. Мало того, он оспаривал даже самое существование этих вещей.

— Не бывает таких,— утверждал он упорно.— Здесь на земле не бывает, разве у духов, в тридесятих мире.

А когда ему показывали подходящие реальные предметы, он все же опорочивал рисунки и говорил, что они злые, плохие, дьявольские. Говорил, что рисунки— это души указанных вещей, искаженные учителем-шаманом в угоду его собственным злым духам-помощникам.

Таким образом Кендык обвинял в шаманстве, в колдовстве, своего учителя рисования. Звери, и птицы, и люди у Кендыка были динамичны, в непрерывном движении. Ни один из них не стоял на месте. Все они бежали, летели, делали прыжки, резкие, неправдоподобные, однако на поверку эти кинетические рисунки оказывались точными, подобными мгновенным снимкам движений и прыжков, как их отмечает кинематографическая съемка.

— А ваши рисунки всегда мертвые,— упрекал он учителя.— Вы даже зверя нарисуете, и то он не ходит, а стоит, будто он больной. И выглядит весь словно каменный. Писалом своим вы убиваете на-смерть людей и зверей.

Читал он по-русски бегло. Писал по-своему, срисовывая печатные буквы. Но писать по-людски— на бумаге пером— отказывался наотрез. Точно так же он отказался учиться грамматике. Слова он принимал только в их непосредственной конкретной живой форме. Он не желал и не мог выдернуть слово из фразы и потом подвергать его различным переменам.

— Мертвые слова не бывают,— говорил он упорно,— бывают только живые слова, но вы убиваете слова, делаете их мертвыми.

Его раздражали даже грамматические термины.

— Падежи,— говорил он с некоторым негодованием,— разве в словах бывают падежи? Падежи бывают у оленей, у рогатого скота. Такому учиться не желаю.

С другой стороны, он ощущал какое-то болезненное влечение к музыке, выбирая при этом более утонченные инструменты: скрипку, фортепиано. В зале физкультуры давно стояло фортепиано, несколько расстроенное, но пальцы Кендыка как-то инстинктивно с самого начала стали извлекать из клавиш чистые и полные звуки. Кендык наигрывал по слуху мелодии простые, но весьма своеобразные. Одним пальцем на скрипичных тонах фортепиано он наигрывал одунское любовное пение, как его выпевают юноши и девушки в своих ежегодных весенних состязаниях. Одунский напев высокий, с большим диапазоном, подобный альпийскому йодлю, и, как это бывало когда-то на весенних состязаниях, напев переливался и чеканился в слова, и Кендык напевал негромко, но в резких переходах звуков, сначала по-одунски, а потом даже и по-русски. Русские напевы были переводом с одунского, и Кендык успел подхватить их в Родымске, на устьи реки Родымы:

О, да и стали во дубровушку разны мелки пташки, стали
налетать,

Да налетать.

О, да и стали зелены листочки, на деревьях они стали
вырастать,

Да вырастать.

О, да и стали во дубровушку всяки разны мелки пташки,
стали налетать,

Да налетать.

О, да ковды к нам, разработки, станут лебедушки своим
нежным голосом,

Да голосом,

Станут воскликать,

Да воскликать¹

Жители поселка Родымска на Нижней Родыме, не-

¹ Лебедь «кичет», издает характерные трубные звуки.

только старики и старухи, но также и юноши и девушки, были, в сущности, старого одунского корня. Они говорили по-русски, но весь их быт и разговор были только переводом с одунского на русский. Оттого их русские песни с большой полнотой соответствовали одунским напевам:

В летну пору мы займаемся главным рыбным промыслом,
Да промыслом.
Да стараемся мы белую рыбочку поболее заловить,
Да заловить.
Да среди лета по камням у нас разны светы да расцветут,
Да расцветут.
Да зеленая дубровушка светло платье станет надевать,
Да надевать.
Да тут садятся у нас на садбище серы гуси, у нас по местам,
Да по местам.
Да уваженье, утешенье ходить, по дубровушке зеленой,
Да зеленой.

Кендык прекрасно стрелял, бегал и прыгал, легко и охотно привык к играм в мяч на чистом воздухе. Но упражнения физкультуры он не хотел и не умел воспринимать.

Мало того, двигаясь в тесном ряду вместе с другими, он сильно мешал соседям. По команде «руки вперед» он выкидывал с силой свои кулаки, жесткие, как дерево, и непременно толкал стоящих впереди, и притом обязательно двоих, левого в шею — левой рукой, и правого тоже в шею — правой рукой. Когда он выкидывал ноги, выходило еще хуже, ибо он попадал с такою же меткостью и в левого и в правого гораздо ниже шеи. В конце концов он отказался ходить на физкультурные часы, так как другие товарищи боялись упражняться рядом с ним.

Гораздо хуже было то, что он никак не мог ужиться в этих каменных стенах за высокой и крепкой оградой и рвался на волю, как дикий волчонок. Стены бывшей Духовной академии были толстенные, комнаты ее походили на казематы, и вся она была, как тюрьма. Както через месяц после его приезда в ИНС, уже в начале осени, Кендык на рассвете вышел со двора и пошел на Неву. В это время ворота бывали заперты, но он с несравненным искусством ухитрялся выбираться из

клетки наружу, высоко превосходя в этом отношении диких зверей.

День начинался погожий и ясный, один из последних дней прекрасного бабьего лета. Кендыка тянуло на реку, которая была единственной частью ленинградского кругозора, говорившей о воле, о широком просторстве и напоминавшей дикому сердцу одунского юнца его родную землю. Он выбрался на реку сравнительно быстро и долго стоял на высоком берегу, разглядывая воду, постепенно разгоравшуюся розовым светом молодого восходившего солнца. Над рекою пролетела стайка ворон, в этом прекрасном утреннем свете они казались совсем иными, не серыми с черными крыльями, а розовыми, алыми, какими-то особенными птицами из нездешнего яркого царства. Вороны протянули на низ по течению. Кендык, не думая, спустился к воде. В разных местах стояли рыбацкие лодки, ялики, челноки. Он столкнул на воду первый попавшийся челнок, который, противно обычаю, не был закреплен на замке. Весло у челнока было такое же двуручное, к которому Кендык привык на родной Шодыме. Плавно загребая воду длинными взмахами неумолимого весла, Кендык поплыл вниз по Неве, вдогонку улетавшим розовым воронам.

Он проплыл быстро и легко под всеми ленинградскими мостами, выплыл по каналу на взморье, потом из канала попал на открытый залив. Он проплывал мимо пловучих пристаней, торговых пароходов и буксиров, но никто не обращал на него внимания. День, кстати, был выходной, праздничный, шестой день отдыха месяца сентября. И другие гребцы тоже выплывали на яликах с обоих берегов красавицы-реки на широкий простор.

Так Кендык выплыл на взморье. Тут ему стало жутко. На своем многомесячном пути от Одунска до невской столицы он видел леса, и поля, и реки, и озера, но моря не видел. Прекрасная Нева была похожа на родную Шодыму, не менее прекрасную. Но вот эта пространная водная гладь расстилалась шире всякого тундренного озера, даже самого большого. Кендык не решился отплыть в открытое море, подальше от берега. Он как бы

опасался, что морская ширина разверзнется и поглотит его вместе с веслом и челноком. Он повернул направо и поплыл вдоль берега.

Его приключения в течение ближайших двух дней остались неизвестными. Пищи с собою у него не было, но он чем-то питался, и когда его вернули наконец обратно в институт, он не проявлял особого голода. Вернули его с пограничной черты с особым конвоиром, и дело могло бы обернуться довольно плачевно, тем более, что и уехал он на чужом челноке. На реках Шодыме и Родыме и всех других водных путях того же бассейна брать без всякого спроса чужой челнок или лодку было самым обычным делом. Бери, поезжай, куда тебе надо, а потом возвращайся обратно и ставь лодку или челнок на прежнее место. Лодки не убудет.

Нравы в Ленинграде были более строгие. Однако для студента, приехавшего с северной тундры, было сделано послабление. Законы культурной страны с ее условностями и опасностями были к нему неприменимы.

Ему задавали вопросы, настойчивые и даже перекрестные. Вопросы порой превращались в допрос: куда ездил? зачем ездил? Кендык ответил:

— Не знаю!

— Зачем украл челнок?

— Я не украд,— ответил Кендык с открытым негодованием.— Я бы приехал обратно и поставил на место челнок.

Таким образом он как будто не собирался бежать и думал, побродив на просторе, вернуться обратно в эти постылые каменные стены.

После того Кендыку стало жить еще тяжелее, чем прежде. Товарищи сторонились его и смотрели на него с удивлением и даже с недоверием.

Кендык трудно привыкал к новому. Среди своих товарищей он был все же не ручной, а вольный и дикий.

Кендык старался найти опору и, отвращаясь от товарищей ровесников, как-от инстинктивно стал тянуться к ровесницам.

Девушек в ИИСе училось четыре десятка. Северные племена вообще малорослы, но девушки были совсем

маленькие, хрупкие, похожие на кукол или на малых детей. Несмотря на раннюю молодость, их лица и фигуры носили явные следы особенно тяжелой жизни в суровых условиях Севера. Они привыкли к тому, что женщина считается ниже мужчины, что она занимается самой трудной работой и часто заменяет вьючный скот.

В северном промысловом хозяйстве женщина убирает дом, а мужчина ходит на охоту. Женщина питается хрящами и объедками мяса, отдавая мужчине лучшую мякоть и жир. Женщина не смеет присесть в присутствии мужчины, и так бывает, что женщина спит под открытым небом, пока мужчина спит под пологом. Наконец, женщину отдают за калым и просто продают, точно так же, как скот. Местами женщины дороги, в других местах они очень дешевы; часто молодая девушка значительно дешевле хорошей ездовой собаки.

Женщины прорвались к учебе сквозь фронт своих отцов, братьев и мужей, одна за одной, из разных углов огромного пространства северной Сибири. Все они были истощены тяжелой борьбой с насилием мужчины и прежде всего стремились сбросить это тяжелое иго. Больше всего было, разумеется, девушек и даже молоденьких девочек. Были, однако, и взрослые жены, ушедшие от мужа и искавшие нового счастья, независимого от милостей и грубостей мужчины. Была одна эвенка, шестнадцати лет, которую отец продал богатому и старому соседу за пять оленей, ружье и два пуда муки, но она не захотела идти к старику, ночью бежала из отцовского чума, добралась до тузрика, подняла шум, плач и крик и в конце концов подвела будущего мужа, а также и собственного отца под очень чувствительный штраф. Звали ее Маша Палтеева.

Она была как будто помешана на этой постоянной навязчивой идее — борьбе с насилием мужчин. Кендык заметил, что она что-то записывает в тетрадку. Напишет страницу, зачеркнет и пишет снова. Как-то после уроков Кендык долго сидел на парте, недалеко от Маши, в опустелом классе. Палтеева, как всегда, прилежно писала, черкала, вырывала страницы и писала опять.

— Что пишешь ты? — спросил невольно Кендык.

— Нашу горькую долю пишу, — ответила Маша, — про тяжелый обычай эвенков.

Она посмотрела ему пристально в глаза и внезапно протянула ему тетрадь.

— На, читай. Ваши одунские обычаи тоже, я слышала, тяжелые.

И Кендык начал читать громко и слегка нараспев:

«Мария Палтеева-эвенка пишет о тяжелых и грубых обычаях родного эвенкийского народа, а особенно мужчин.

У нас неправильно выдают девушек замуж. Двадцатилетнюю девушку выдают за шестилетнего парнишку, или наоборот; старик берет себе молодую шестнадцатилетнюю, а некоторые имеют двух жен, потому что есть у них довольно китайского шелка и оленей и муки для покупки лишней женщины. Если девушка не хочет выходить замуж за старика или за сопливого мальчишку, отец все равно выдаст насильно, свяжет, как рабыню, и изобьет, как скотину.

То и другое было со мной: и то и другое. Было мне тринадцать лет, и выдали меня замуж за трехлетнего парнишку. Я няньчила его и носила на плечах, как малого братишку. И был тут мой свекор, моего мужа отец, и я от него родила. Я не хотела его, он был красноглазый, корявый, но он грозился: бить буду, есть не дам, в лес выгоню. Оттого я забеременела, и, как настала весна и пришло время родить, вывели меня из чума и поставили мне деревянный балаганчик, выстланный сеном и осокой.

Так делается у нас для каждой родильницы. А люди смеялись, что ребенок у меня совсем не от мужа. И было мне холодно, и я родила там ребенка, и я задушила его своими руками, и землю разрыла своими ногтями, как рысь, и зарыла ребенка, чтоб соседи не смеялись и старик не величался надо мной. И ушла из балагана, не к мужу, а вернулась домой, к отцу, к матери, и сказала: «не стану там жить». Соседи смеялись, и мать меня била, и отец стегал плетеным арканом, кольцом костяным по лицу, по лицу...

И так я прожила год и стала забывать про двух своих скверных мужей: мальчишку и свекра. И тут отец выдумал второе злое дело: продать меня другому старику за хороший калым: без всякого мальчишки, а прямо на брачную постель. Тут я не стерпела, сначала сказала: «зарежусь», а потом закричала: «зарезу вас обоих: и мужа, и отца». А потом убежала из палатки, подрылась сквозь землю, как лисица, и добралась до рика. И нашла себе путь на свободу.

Так было со мною: и то и другое. Били меня и продали меня. Мальчику продали, также старику продали, а я не стерпела и ушла.

Так пишет Маша Палтеева, эвенка с Ангары. Надо всех наших скверных мужчин, особливо богатых стариков и всяких сопливых мальчишек, драть плетеным арканом по лицу, по лицу, косточкой, чтобы они не напивались пьяными на девичьих продажах и не забивали девушек и женщин палками в гроб прежде всякого времени.

Так пишет Марья Палтеева; бедному эвенку тяжело, батраку у оленьего стада мало еды, много работы. А женщине-эвенке вдвое тяжелее: много работы, а вместо еды палка, вместо друга и мужа злые покупатели».

— Правда, горько,— отозвался Кендык, потрясенный этим тяжелым и страстным рассказом.— Ты чью это жизнь описала? Свою, что ли?

— Нет, не свою, а нашу,— ответила девушка.— Девушки-эвенки — мученье и плач. Вот это описала. Я тоже мучилась, но сотой доли того не узнала. Все приходится другим узнавать. Да и зовут меня так и не так. Я, правда, Маша, но только не Палтеева, а Маша Нергунеева. Палтеева — так себе, прозвище. И я не с Ангары, а с Неши, повыше Ангары.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Среди проворных тоненьких, хрупких девчонок больше всего поразила Кендыка Рутьтына, дикая чукотская девчонка с очень странными ухватками. В

пестрой толпе молодежи, разноплеменной и разноязычной, она казалась пленницей, беглянкой, каким-то нездешним и странным отродьем. Была она без роду и племени. Выросла на улице в снегу, под страшным полярным морозом. Как-то не замерзла, не умерла с голоду, и вместо того прибилась к русским. Ее взял чукотский рик и, не зная, что с ней делать, послал учиться в Ленинград. Но она не хотела учиться и ко всему ученью, к обстановке ИНСа относилась не то что бы враждебно, а как-то с усмешкой или с равнодушием, словно посторонняя.

Рультына была в постоянном движении. Во время учебных перерывов она выбегала на двор, опрометью мчалась по дорожкам и аллеям, как будто кто гнался за ней, а потом, бывало, остановится, подпрыгнет, хлопнет в ладоши и поскачет обратно назад, притом непременно на одной ножке, и даже язык высунет, как будто в насмешку над наступающими врагами.

Вела себя Рультына в классах очень неровно. Повинуется наставникам, классным воспитателям, а в глазах все те же насмешливые чортики. Ходит в класс, даже на парте сидит, но учиться — не учится. Молчит, словно чего-то ожидает или прислушивается к чьему-то неведомому голосу. Потом вдруг подбросит ее, как пружиной, подскочит на месте и завертится словно юла.

— Ты куда?

— На улицу.

— А зачем?

— А так.

Ответить ей нечего, но она все же выбегает на улицу, бегаёт взад и вперед, присматривается к людям и вещам своими любопытными и острыми, сорочьими глазами. Пробежит через лавру на Красную площадь, подскочит к трамваю и запляшет и даже высунет ему кончик языка.

В редкие минуты, когда Рультына хотела учиться, она поражала учителей своими исключительными способностями. Но чаще всего на предложение учиться она качала головой и отвечала северной пословицей:

— Медведь не учится и книжку не читает, а все его боятся.

Кендык почувствовал в ней нечто родственное, и так постепенно они стали разговаривать и медленно сближаться. Она поражала своим равнодушным презрением к людям, русским и туземным, к старому обществу и новому.

— Люди сволочи,—говорила она.—Русские сами по себе, а наши чукчишки, там далеко, за тундрой, на морском берегу, те тоже сами по себе. У нас был председатель из прежних старшин, так он ведь затеял подсыпаться ко мне. Все говорил, приставал: «Мы тебя кормим, поим, ты должна слушаться». А я была маленькая и ничего не понимала: в чем слушаться. Однако засветила ему в морду такую свечку, что весь он залился красной рудою,—перестал приставать. Такая сволочь.

Чукотские обычаи и моды Рутьтына презирала.

— Я дома ходила в шерсти, под выворотной шкуркой, совсем как медвежонок: мохнатая, растрепанная, а теперь вот хожу в сукне. Дома ела похлебку из оленьей руды, а здесь кушанья все дорогие: чай да сахар, хлеб да сухари. А сытости нет.

Она привыкла встречаться с Кендыком на нейтральной почве, в опустевшей столовой, после обеда и ужина, и там разговаривать о разных вещах. Рутьтына рассказывала ему о повседневных делах и делишках ИНСа, которые она хорошо понимала, а он не понимал.

Несмотря на свое видимое равнодушие к институту она знала решительно все происходящее и была, в сущности, так сказать, устной газетой.

Кендык как-то похвалил групповое обучение родному языку, хотя для него самого не было ни группы, ни преподавателя.

— А ты тоже учишься родному языку? — спросил он у девчонки.

Рутьтына пожала плечами.

— А пошто мне учиться? — спросила она хладнокровно.

— А не то ведь забудешь свой говор,—объяснял

Кендык.— Родной язык грешно забывать. Собака ведь лает по-собачьи, а кошка мяукает по-кошачьи. Даже ворона, хоть грязная птица, а каркает особо, по-вороньему. Вот для меня учителя нет,—жаловался Кендык.

— Да и то сказать, скверный наш язык,—сказала Рутьтына.— Мужчины говорят по-особому, а бабы — по-особому. Цокают, цокают: цекаццын...—передразнила она с жеманной ужимкой.

В чукотском языке действительно имеются два разных говора: особо мужской и особо женский. Они разнятся прежде всего произношением, а также и тем, что женский язык, очевидно, древнее мужского и сохранил многие формы, в мужском языке давно исчезнувшие. В частности в мужском произношении: «рекаркын», а в женском: «цекаццын» — «что делаешь?»

Рутьтына передразнивала свой собственный бабий язык.

— Я забывать его стала. Крутом все по-русски говорят, и я с ними по-русски.

Чью хлеб-соль кушаю,
Того правду и слушаю.

Рутьтына старалась унижить свой собственный язык. На деле чукотский язык, как и другие северные языки, богат и словами и формами.

— А ты разве домой не поедешь?

— А на что я поеду? Сгинь он совсем, этот дом. Век бы его не было. Я лучше здесь останусь, снег стану грести на улице, чем поеду в тот рик, к разбойникам богатым.

— Так теперь, может, рик другой,—настаивал Кендык.— Их, слышно, меняли, выбирали по десять раз и больше.

— Ну да, меняли,—сказала с сомнением Рутьтына.— Кожа меняется, а старая душа остается. Были богачи наверху, топтали бедняков. А старые топтали молодых. Этому топтанию на месте быть ли, не быть ли до окончания времен.

Кендык покачал головой.

— Врешь ты — не понимаешь. Вот я видел хоро-

шее новое даже у русских речных на реке Родыме.

Рультына спала мало, поздно ложилась и рано вставала. Вскочит с постели, защебечет, захохочет, заэвищит пронзительным свистом.

Спавшие мальчишки, столь внезапно разбуженные, бросали в нее подушками, но она ловко уклонялась и летела вперед, как малый моторный челнок.

Эта странная девчонка, не желавшая учиться, сделала так, что Кендык, хотя бы из мужского упрямства, почувствовал влечение к учебе. Она забыла свой собственный язык, тем более ему захотелось сохранить свой собственный.

В одной палате с Рультыной, на женской половине, жила третья девчонка, еще более удивительная. Ее никто не понимал, и она тоже, как видно, никого не понимала.

Была она блондинка с серыми глазами, во всем похожая на русскую. Но по-русски она говорила довольно плохо, с какими-то подчеркнутыми, словно умышленными ошибками. Она называла свое имя Наталья Шишиши и утверждала, что она эскимоска из Западной Сибири и родичи ее обитают по реке Оби, верстах в восьмидесяти от города Обдорска. В рассказе ее было многое неладно. В Западной Сибири нет и в помине эскимосов. Они обитают у Берингова пролива. Шишиши говорила, что ее дед и прадед с Берингова пролива переехали на Обь, но переехать с Берингова пролива на Обь, пожалуй, труднее, чем с земли на луну.

Дальше следовал в рассказе Шишиши эпизод о похищении. Будто какой-то субъект приехал на стойбище наивных эскимосов и уговорил их отпустить девчонку на обучение в столицу. Взял за это плату тридцать золотых лобанчиков, пару лошадей, кошеву с ковровой покрывкой, и все это увез с собой. Доехали кое-как до города Твери, пережив по дороге большое число приключений, потом лошадей и кибитку и золотые лобанчики приезжий присвоил себе, а девочку вывел на улицу и бросил на произвол судьбы.

Ее подобрали в Твери, учинили ей допрос и, слы-

ша, что она говорит о северных народах, о приобских эскимосах, не зная, что с ней делать, отправили в Институт народов Севера.

Наталья Шишиши держалась весьма хитро и скромно. Она ничего не говорила сама и только отвечала на вопросы коротко и четко, все тем же измененным и странным языком. С подругами она не сходилась. Они встречали ее с недоверием, в классы ее до сих пор не пускали, и так она жила на свободе, без всякой учебы, в ожидании решения ее участи.

В одно утро на женской половине проявилось большое возбуждение. Исчезла Шишиши, ее увели из общежития в дирекцию и назад не вернули.

В полдень по рядам, как искра, пробежало новое сообщение: «Призналась Шишиши. Сказала, что она совсем не эскимоска и не жила на Оби, а что родом она из той самой Твери, где ее подобрали на улице ответственные лица».

Надо сказать, по медицинскому освидетельствованию Шишиши оказалась девицей.

— Чего вы хотели? — задали ей вопрос.

— Хотела учиться, — был стереотипный ответ, который теперь носится над целой страной как лозунг эпохи.

— А зачем непременно в ИНСе? — полюбпытствовал уполномоченный от студенческого коллектива.

— А затем, что читала я книжки, — отвечала Шишиши, — про описание северных народов: про лопарей, чушкарей и всяких других дикарей. Хотела посмотреть на их жизнь. Хотела сойтись со студентами, уехать с ними обратно и жить на тундре.

— Вас придется отправить обратно в Тверь, — сказал представитель правления.

Самозванка, видя, что все потеряно, откровенно разозлилась.

— Брезгаете мною; учиться не даете. Разве я хуже ваших эвенов и эвенков, лопарей да чухмарей?

Когда уводили ее, студенты и студентки высypали гурьбой на крыльцо, и она попыталась обратиться к ним с речью; два месяца молчала Шишиши, а когда до последнего дошло, она заговорила:

— Вшивые девчонки и паршивые мальчишки! Брезгуете мною. Вы не захотели принять меня, учить меня. А чем я хуже вас? Эка невидаль! В снегах вы родились, в пятьдесят градусов мороза. А я родилась под забором, под проливным дождем, и хотя градусов было меньше, но мне тоже было очень холодно.

Так исчезла таинственная Шишиши.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Может быть, всего любопытнее в ИНСе были курсы национальных языков. Их было двенадцать, начиная от крайнего западного, лопарского, и кончая восточным — чукотским. Рядом с чукотским курсом был родственный коряцкий, рядом с эвенкийским целый родственный веночек: эвенский, негидальский и нанайский, и орочско-удэгейский.

Преподавателями были молодые ассистенты из той любопытной ленинградской этнографической школы, которая поставила себе целью изучать каждый язык досконально на месте в его натуральной этнографической обстановке. Школу основали возвращенные ссыльные, которые некогда попали на Север и на Дальний Восток, можно сказать, по бесплатной казенной командировке и имели на месте довольно досуга для того, чтобы изучить не только язык и условия быта, но все достопримечательности местной природы, минералы, птиц и зверей.

Революция сделала их профессорами, создателями новых кадров. Они передали свое научное внимание, добросовестность и точность своему молодому окружению — юношам из разных университетов и институтов, которые уезжали в те же далекие страны уже совершенно добровольно. Природа человека являет любопытные странности. Молодые ассистенты, только что окончив курс наук, рвались наперебой на далекий Север, уезжали в экспедиции с грошовыми средствами, порой уходили пешком от станции железной дороги и шли наобум через тундру с пудовым мешком на плечах. Но чаще всего уезжали на Север работать

учителями, краеведами, погружаясь в условия каменного века, сулившие и голод и холод.

Через год, через два, через три юные подвижники науки возвращались в Ленинград, привозили с собой кучку учеников и основывали в ИНСе новую группу и новый курс национального языка.

Их работа на Севере была как борьба на фронте, жестоком и суровом. И в этой борьбе были, как водится на фронтах, жертвы. Каминский умер от тифа на Нижней Оби, в остяцком селе Полноват. Иванчиков утонул, опрокинувшись в лодке в далекой чукотской стране, на реке Ярополе. Молл заразился чихоткой в тяжелых условиях жизни в поселке Уэлен на мысе Дежнева и вернулся умирать в Ленинград. Наташа Котовщикова в далекой ямальской экспедиции умерла одиноко в пустыне при невыясненных обстоятельствах.

Впрочем, и здесь, как повсюду, были различные типы и людские варианты. Одни привозили с собою мало знаний и, работая с группой в ИНСе, не только учили ребятишек, но и сами учились у них. Другие возвращались специалистами, отточенными и подкованными, знатоками одного из таких языков, который до сих пор оставался неведомым науке в бывшем российском и также во всемирном масштабе. Селькупский язык, например,— язык остяко-самоедов, или лесных самоедов,— до этого времени был неизвестен даже по названию.

В этой группе молодых лингвистов были мужчины и женщины. Женщины работали в первых рядах, мужественно и искусно преодолевая трудности жизни и трудности грамматики. Лариса Антонович специализировалась по эвенкам и скакала верхом на оленях, сидя на плоском седле, без стремян и поводьев, не хуже эвенкской девчонки. Марья Андреевна Ульфиус до такой степени увлеклась строением различных эвенко-манчжурских языков, что ходила у товарищей под кличкою «Суффикс».

Но Кендык даже в этом цветистом северном венке составил исключение. В институте не было другого одуна, и ни один из лингвистов не знал ничего об

одунском языке. Слышали, что есть такой язык, но к одунам не ездил никто. Жили одуны в срединной земле, в непролазной тайге, так далеко, что заедешь, да, пожалуй, и не выедешь.

Куда примкнуть?

Кендык походил к охотникам-эвенам, которые были во многом сходны с одунами, а потом отстал. Эвены были оленные, и еще на реке Шодыме оленные кочевники смотрели свысока на пеших оседлых одунов. Потом Кендык попробовал примкнуть к амурским рыболовам — нанай, но племя это было совсем чужое Кендыку, так же как пышная природа Амура была чужда его уединенной и бедной родине.

— К нам приходи,— сказала как-то Рультына.— У нас весело. Мы самые дикие во всем институте. Ты тоже ведь дикий. Выходит, подстать.

Таким образом, Кендык вошел в чукотскую группу, да там и остался. Язык был труднейший из трудных. Кендык языку не научился.

— Учи меня,— просил он Рультыну.

А та над ним смеялась.

— Ну, вот еще, зачем тебе, я и сама забываю.

Но Кендыка заинтересовали не слова языка, а живые фигуры чукотских товарищей. Они действительно были наиболее дикие во всем институте, но каждый из них представлял собой тип любопытный и законченный.

Северные студенты вообще отличались большими способностями. Наиболее способные быстро шли вперед. Правда, бывали и такие, что, потеряв голову среди новой обстановки, спивались и порой попадали даже под суд.

Студенты были пионерами новой культуры и, прежде чем попасть в институт, много работали над собой в глухом северном углу. Грамоте учились самоучкой, урывками, по газетным клочкам. Вели войну со скупщиками из русских пришельцев и местных туземных соседей. Основывали кооперацию, собрав у соседей паи, строили школы и ездили по стойбищам, убеждая оленных людей посылать своих ребятишек в новопостроенные школы. Оседлые жители и без того посыла-

ли детей своих в школу, и их уговаривать было не к чему.

Впрочем, в чукотской группе далеко не все были в числе подвижников культуры. Сироткин из Нижнего Колымска,— имя его по-чукотски звучало jejvelqej, в русском переводе «сиротка»,— был неграмотный дикий пастух, света совсем не выдавший и русский язык усваивавший медленно и трудно. Он пробыл в институте год, и учиться ему было трудно. Был Игынькеу из племени кереков, тоже «с мерзлым», то есть непонятным языком. Был Шишкин из племени северных коряков, который от коряков отстал и прилепился к чукчам. Таким образом, кроме молодого одуна, в группе было еще двое иноязычных. Четверо других окончили северную школу в поселке Уэлен, двое — на культбазе в бухте Лаврентия. Двое уэленских выходцев были тихие мальчишки, скромные, молчаливые, они были двоюродные братья, и их соединяла тесная и верная дружба. Они постоянно держались вместе, как будто получая таким образом взаимную душевную опору среди этой непонятной и чужой обстановки. Дворовая ограда и каменные стены института угнетали их особенно сильно, как пойманных лисят, и в марте один из них стал хворать. Болезни у него не было, но он мало ел, не спал и таял на глазах. Доктор предложил послать его на родину с первым пароходом.

— А брата отпустите? — спросил больной.

— Зачем отпускать его? — сказал заведующий. — Пусть учится.

— Так я тоже не поеду, — поспешно заявил больной.

— А я не останусь, — в свою очередь заявил здоровый.

Братья объявили «голодовку»: два дня не ели, пока не получили обещания, что отпустят обоих.

Кроме настоящих чукоц, в группе было пять человек так называемых чуванцев, то есть, в сущности, чуванцев, давно обруселых и ставших во всех отношениях русскими. Они с чукчами жили в веселом и добром соседстве. Да гордые чуки никому и не позволили бы наступить себе на ногу. Но эти чуванские

студенты были, в сущности, детьми и внуками бывших скупщиков.

Лет двадцать назад обруселые чуванцы смотрели свысока на простодушных чукоч и про себя называли их дикими лесными людьми.

Теперь, наоборот, они вспомнили о своем туземном происхождении и опять воскресили название чуванцев. Такого лингвистического курса не было и быть не могло, так как чуванский язык давным-давно вымер. Чуванцы примкнули к чукотской группе, учились по-чукотски, некоторое практическое знание языка у них было, так как их отцы и сами они постоянно ездили на стойбища оленных, торговали с оленными, давали им железо и посуду и взамен собирали оленье шкуры, оленье мясо. Однако под влиянием ИНСа они постепенно проникались трудовыми интересами.

Но украшением чукотской группы были три студента. Один из них Аттувге, из приморского поселка Люрен, рядом с чукотской культбазой, был местным культурным работником. Все свои старания он отдал на то, чтобы научить соплеменников чему-то новому. Он был в прошлом батрак, тюлений промышленник. Не имея своей лодки, он ходил на промысел на чужом вельботе, за что имел пай в добыче. Потом он стал работать на культбазе. Рубил и возил лес, ездил по соседям с поручениями. По чукотскому обычаю, он рано женился и имел уже троих детей. Когда пришло на культбазу предложение ехать учиться в Ленинград, начал не было охотников. Мальчишки боялись ехать так далеко, отцы не отпускали их, а местный шаман Коравге предсказывал, что тот, кто поедет, непременно умрет. Аттувге весь загорелся желанием. Бросил жену и детей на попечение своего двоюродного брата и записался ехать в Ленинград. Но этот чукотский искатель приключений был не похож на Кендыка. Был он спокойный и важный, с тяжелым телом, медлительными движениями. Впрочем, на деле он был очень проворен и ловок и даже на бегу обгонял всех студентов, в том числе легконогих эвенов и эвенков.

Чукотский урок. Маленький стройный учитель раз-

делил своих учеников на шесть разных групп,— в сущности, что ни человек, то — группа. Он ходит меж ними задорно и бдительно. Он похож на петушка, молодого и бойкого, а они — на тяжелых медлительных утят.

— Напишите, что вы видели в Ленинграде,— задаст учитель самую любимую тему, одинаково близкую и старшим и младшим, и плохим ученикам и наиболее хорошим.

Они садятся и усердно скрипят перьями, потом поднимается Аттувге и медленно читает по-чукотски: у него через каждую букву — ошибка, но смысл выделяется четко.

«Мы приехали в Ленинград учиться из нашей темной, безграмотной страны, и здесь, в Ленинграде, мы увидели, что все мы, большие и малые, старики и шаманы, были пред здешней работой как неразумные дети. Умели варить, умели ловить готовую пищу: варить и съесть, но выращивать пищу из самой земли, мы не знали, как. Умели покупать топоры и ножи, кованные из железа, и работать, резать, рубить и пилить, но железо приготовить, выковать топор,— этого мы не знали, как. Жили, как малые дети, жили на готовом, теперь будем учиться работать, как взрослые».

Другой был Кавретто с Анадыря, совсем не похожий на Аттувге. Он был сердитый и страшный и на первом же русском уроке несказанно удивил учителя. Учитель читал рассказ из детской книжки, а Кавретто, разумеется, ничего не понял. И тут он начал кричать, даже стучать кулаком по столу.

— Что ты читаешь, по-русски читаешь, я все равно не понимаю! Ты бы сперва научил меня по-вашему, по-русски, потом читал. Что я такое среди всех этих русских мальчишек, словно зверь безъязыкий, словно дикий олень? Каждый, кто хочет, может меня подстрелить словесно-крылатой стрелой, а я не сумею ответить.

«Русские мальчишки» были на деле товарищи Кав-

ретто из разных северных народностей. Но они разбирались с грехом пополам в русской грамоте, а Кавретто не знал ничего.

После этих упреков Кавретто подскочил к учителю и вырвал у него книгу.

— Дай мне, дай сюда!

— Зачем она тебе? — спросил опешивший учитель кротко и почти малодушно.

— Я положу ее под свое изголовье, — сказал Кавретто, — и, может быть, во сне знание пройдет в мою твердую голову.

В тот же день в школьной комнате, где ученики готовили по вечерам уроки, Кавретто удивил также своих товарищей. Он раскрыл завоеванную им книгу и долго сидел пред ней и глядел на вытянутые строки. Они тянулись прямой непонятной вязью, как мышинные следы, но Кавретто не мог прочитать их. И вот неожиданно он бросил книгу на пол, сверкнул глазами, скрипнул зубами и стал колотиться сразмаху об доску стола своей упрямой и твердой чукотской головой.

— Я тебя разобью, проклятая! — кричал он запальчиво. — Я научу тебя читать, научу понимать. Я расколю этот каменный череп и силой набью туда знания.

Было это два года назад. Теперь Кавретто по-русски говорил довольно свободно и даже рисковал выступать в краеведческом кружке, на общих больших заседаниях. Читал он порядочно, а писал очень плохо. Еще хуже писал он на родном языке.

На этот счет у него были большие колебания. Одно время он увлекался российской учебой до полного самозабвения.

— Учите по-русски скорей, по-нашему учиться не хочу.

И это он выкрикивал, конечно, на чистом чукотском языке.

А потом, подучившись по-русски, стал кричать иное:

— По-нашему учите!

Кавретто в общем был свиреп и неуравновешен. И он был как бы живой иллюстрацией иностранной за-

писи о чукчах, сделанной еще в XVIII веке на латинском языке:

«Чукчи — свирепая нация. Взятые русскими в плен, не побежденные, сами себя убивают».

Так оно и было на деле. Чукча жизнью не очень дорожит. Если рассердится чукча, обидчика убьет, а не то и самого себя.

Кавретто был из оленного рода.

— У отца моего значительное стадо, — рассказывал он товарищам. — Но когда умерла мама, он взял злую мачеху, она грызла меня, как лисица, фыркала, как рысь, я к дедушке ушел на Белую реку.

— А где же твой дедушка? — естественно спросили студенты.

— А я и от дедушки ушел. У него ртов много, а есть нечего. Жил с русскими в поселке Анадырском, помогал им рыбачить, кормился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Третий член той же чукотской тройки был Ульгугий, батрак. Это был сирота из весьма многолюдной семьи. У него было шестеро дядьев.

— Лучше бы не было ни одного, — говорил он убежденно.

Все шестеро дядьев по-очереди держали его при стаде и пили его кровь. Был он неуклюжий, широкий и толстый, как будто медвежонок. Но в общем весьма добродушный, простая душа. Он ненавидел непримиримой ненавистью всю свою богатую родню, и родных и двоюродных дядьев. Наряду с ними он ненавидел всех богатых оленных хозяев, особенно тысячников, которым в новейшей литературе иногда давали название «феодалов» или «полуфеодалов».

— Резать их надо, — говорил он без всяких колебаний. — Раздеть догола и выгнать на мороз. Так же, как они меня самого гоняли босиком на морозе.

В северо-восточной тундре он был, быть может,

одним из первых классовых борцов. Он и учиться уехал все с той же неотвязной мыслью.

— Я выучусь, и потом я уеду домой. Вот я им покажу! Они богатые, а мы будем ученые, мы им хвосты оборвем.

Способности у него были не особенно блестящие, но учился он настойчиво. И минувшей весной от учебной натуги стал чернеть и худеть.

Зато, усвоив какое-нибудь правило, он хранил его твердо в памяти, никогда не забывал и пытался применить, если можно, на практике.

Урок чукотского языка. Пятнадцать учеников, разбитых на три отделения, сидят на длинных скамьях в разных углах. Тут прежде всего группа обруселых чуванцев. Они учатся прекрасно по-русски, и двое из них перешли на второй курс. Их родители и деды переняли когда-то у русских казаков хороводные песни и даже богатырские былины. Они выпевали на студеном Анадыре про Владимира Красное Солнышко, про Добрыню и Марину Чернокнижницу, про княжескую гридню и кирпичатый пол и косящато окно. А что такое «гридня»¹, никто из них не мог объяснить. Русские были некогда беглыми из старомосковской боярской Руси. И всякий беспорядок они называли «разнобоярщиной».

А потом, в хороводах, которые водили зимою в избе, перед ярко пылающим чуваном, высоким деревянным очагом, обмазанным глиной, они выкликали друг друга:

- Бояре, вы зачем пришли, молодые, вы зачем пришли?
- Княгини, мы пришли невест смотреть,
- Молодые, мы пришли невест смотреть.

Эти обруселые туземцы и смешанные с ними потомки российских пришельцев не считали себя русскими. Они называли себя попросту: анадырский народ, или анадырщики, колымчане, пенжинцы, индигирщики, в зависимости от названия реки, протекавшей в населяемой ими местности.

Студенты-чуванцы по-чувански не знали ничего. А

¹ Гридня, гридница — падала в княжеском дворце.

по-чукотски немного говорили, хотя и совсем наоборот, пятое через десятое.

У многих в родословной имелось еще и позднейшее чукотское родство, как об этом поется в русско-анадырской песенке:

Моя бабушка русаночка,
А другая-то чукчаночка.
Я, чукчаночка, гостить к тебе иду,
В поводу тебе оленчика веду,
А за пазухой мяска тебе несу,
Во штанине чернобурую лису.

Пушнину, действительно, запихивают внутрь, прямо на голое тело. Она и греет и лучше сохраняется, даже приобретает новый блеск от чукотской самородной лайковой кожи. Дорогая пушнина, как жемчуг: оживает и поправляется на живом человеческом теле.

Другое отделение было малоуспевающее. Тут были три мальчика и две девочки. Одна из них — Рутьтына, как сказано, смеялась над чукотским языком, передразнивала мальчишек и девчонок и по-своему говорить не хотела.

— Я забыла, как зовется по-нашему, — отвечала она обычно на каждый вопрос учителя.

Другая девочка, Чейвуна, говорила на женском языке, который отличался от мужского произношением. Она даже собственное имя выговаривала не «Чейвуна», а «Цейвуна». Говорить на мужском языке она отказывалась упорнее, чем Рутьтына, и всегда доходила при этом до слез.

Третье отделение было успевающее. Там была тройка самоучек, о которых говорилось выше, и два мальчика из местных чукотских школ.

Учитель был Федак, тоже любопытная фигура. Он был родом из амурских переселенцев украинского корня, но по-украински совсем не говорил. Родители его обитали на озере Ханка, богатом и обильном, но малонаселенном. Впрочем, от дома он совершенно отбился, кончил учительские курсы и после того, несмотря на свою молодость, успел побывать три года учителем на мысе Дежнева. Чукотский язык он изучил до крайности плохо. В конце концов приехал в Ленинград для

новой переподготовки. Он учился на северном отделении Герценовского института, где работала все та же неутомимая группа молодых лингвистов и где преподавалась теория и практика северных языков. Программа, разумеется, по сравнению с ИНСом, была повышенного типа.

Федак проучился в Институте имени Герцена год и кое-чему научился. Теперь он работал преподавателем в чукотской группе ИНСа. Учил ребятшек и юношей читать и писать по-чукотски, а сам, в свою очередь, учился у них кудрявым и сложным оборотам запутанного языка, который принадлежит к так называемой включающей группе и соединяет слова по три и по четыре вместе. В ИНСе Федак работал с двумя отделениями, оставляя чуванцев без особого внимания. Они, впрочем, учились сами и состояли в сильном отделении как бы в качестве экстернов-вольнослушателей.

Первое отделение сидит на местах с тетрадками и карандашами. Чернилами писать они не дерзают. Федак учит их сразу по-чукотски и по-русски. Он показывает картинку за картинкой, называя ее по-русски, а они называют ее хором по-чукотски, потом один пишет то и другое слово на доске, а товарищи его записывают в тетрадки.

И вот, как на грех, учитель показывает картину, изображающую нашу обыкновенную домашнюю кошку.

— Кошка,— назвал он громко и торжественно.— К-о-ш-к-а.

— Ну, как по-вашему?

Ученики проявляют колебание. Такого зверя они не видели на родине. Девчонки молчат, керек Игынькеу широко улыбается. За его необъятные скулы его дразнят даже северяне, и прозвище у него в институте — «Игынькеу — печная заслонка». Лицо Игынькеу, действительно, похоже на заслонку. «Печная заслонка» улыбается, но тоже молчит, не лучше девчонок.

Инициатива переходит к двум пастухам. Сироткин кивает головой и говорит:

— Очевидно, лисичка.

Кошка рыжая, но рисунок меха совсем другой и ничуть не похожий на лисицу.

Второй неграмотный пастух качает головой:

— Совсем не лисичка. Скажу, скорее белочка.

У кошки хвост пушистый и задранный кверху, и все-таки он не похож на беличий.

Учитель усмехается.

— Ну, что же, лисица или белка?

Он нарочито подsunул им эту коварную картину.

И «Печная заслонка», набравшись неожиданно храбрости, внезапно подводит синтетический итог:

— Беличья лисичка.

Он соединил вместе двух знакомых зверей и дал незнакомому зверю новое название. Так делают люди и более культурные, чем этот наивный лесовик. Русские меховщики, например, говорят: котик из кролика,— дешевого кролика выгодно подделать и подкрасить под дорогого котика.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Сильное отделение сочиняет санитарный плакат. Учитель пишет по-русски: «Когда заболеешь, иди к доктору, он даст тебе лекарство. К шаману не ходи, он обманет тебя, он лжив и не умеет лечить».

Ульгувгий пишет на доске. Он успешно справляется с фразой, хотя правописание ему не дается. Он пропускает буквы, пишет вместо «и» «ы» и наоборот. Но вот он наткнулся на оригинальное препятствие: доктор и шаман по-чукотски — одно и то же слово. Прощлый раз студенты сочиняли плакат антирелигиозный и столкнулись с тем же препятствием. Надо было перевести: «Не слушай попов и шаманов, чукотские шаманы не лучше, чем русские попы».

«Шаман», «поп», «доктор» по-чукотски — одно и то же слово. Связь совершенно понятная. Все трое лечат: шаман — заклинаниями и амулетами, священник действует молитвой и крестом, а доктор — какими-то лекарствами. Антирелигиозный плакат вышел все-таки удачным. Шаман от попа на деле отличается мало, и

пусть они так и называются одним и тем же словом. Но доктора надо противопоставить шаману и четко отделить от него.

Плакат продолжается дальше: «Болезни происходят совсем не от злых духов», диктует учитель. Ульгугий опять запинается: злой дух и болезнь — одно и то же слово. Связь совершенно понятна: болезнь происходит от злых духов, и чукчи до сих пор не умели и не считали нужным их различать.

С первым затруднением справился Аттувге. Он подсказал: пусть будет «доктор» так же, как по-русски: «доктор» — и только.

Новые идеи и новые предметы хлынули в северную жизнь бурным и задорным потоком. Вместе с ними хлынули и русские слова. Чукотский язык борется с ними, старается их переводить по-своему, но они не поддаются такому переводу и внедряются в ткань языка в своем неизменном виде.

Таким образом, «часы» по-чукотски — «сердце-стукалка», «гармошка» и «скрипка» одинаково — «кричалка». Чукчи не различают наших музыкальных инструментов. «Стеклянный стакан» — «ледяная чашка», стекло — это твердый нетающий снег. «Мука» — «подобная пеплу», и «хлеб» — «мясо из пепла». Kelikel — основное учебное школьное слово — означает: вырезать, расписывать, писать, пестрить, рисовать и даже читать. В качестве существительного оно означает одновременно: бумагу, письмо, книгу, тетрадь и даже бумажные деньги. Связь идей совершенно очевидная, но представляющая на практике много затруднений.

Русских чукотский язык называет melgyttangyt, буквально — «коряки с огнивыми луками». Русские явились к чукчам как союзники коряков и были вооружены кремневыми ружьями, которые стреляли, высекая огонь из кремня и огнива. Американцев чукотский язык называет pпawkułыt, то есть, «напилочки»: американцы продавали чукчам стальные напилки, из которых путем холодной обработки, околачивания и протирания получались стальные ножи.

Некоторые из этих заимствований-переводов проникли в чукотский язык еще до революции. Другие —

большинство — появились теперь, но система перевода одинакова.

Чукотский счет ведется по пальцам. Считать, ыгъгъ-гкъп — «пальчить». Вместо того чтобы спросить: сколько? спрашивают: сколько пальцев? Система счета двадцатиричная, что соединяет чукотский язык с языками американских народностей, многие из которых имеют такую же систему счета.

У чукоч пять — мытынген, сокращенно из мынгытынгып — рука; мынгыткен — десять, буквально — двое-ручный; двадцать — qlikkin — человеческий или просто человек; сто — мытынглеккен, буквально — рука людей; двести — мынгытqлеккен, буквально — двое-ручие людей; четыреста — qlikqlikkin, человечина людей. Всякое число выше этого считалось до последнего времени ыгъjew-teгып — за пределами познания. Счет в букваре представлен рисунками, изображающими крошечных оленей в стиле эскимосского рисунка.

Это введено для противопоставления чукотскому понятию, что оленей вообще считать грешно: «олений хозяин обидится». Впрочем, бедный оленевод всегда знает, сколько у него оленей; только богачи с многотысячными стадами, действительно, не ведут точного счета оленям. Счет оленей в букваре сопровождается вопросами: сколько у тебя телят, сколько важенок, сколько быков-производителей и сколько всего оленей, опять-таки с целью противопоставления вышеуказанному суеверию, созданному богатыми оленеводами.

Радио по-чукотски — громкоговорилка, так же как и у нас. Кино — мелькающие тени. Аэроплан — железная леталка, автомобиль — сани на колесах, точнее говоря — сани на катках, так как чукчи колес не знают, а знают катки подкладные при перекатывании тяжестей.

Но другие слова и прежде и теперь входили в язык, как были, почти без изменения. Соль есть чоль, сахар — чахар. В особенности новые слова, относящиеся к социальной организации, остаются неизменными. Артель есть артель, пионер — пионер, комсомол — комсомол, тузсовет — тузсовет, и многое другое.

Другие слова, напротив, перешли в такой сомнительной переделке, что с ними приходится бороться и выкидывать вон, заменяя новыми.

Учитель широко улыбается. Он проверяет именно такие незаконные слова.

— Пишите «Первое мая»,— диктует он.

Ульгуггий пишет по-русски, правда, с ошибками, обычными для северных туземцев: «Первы май» и внизу проставляет по-чукотски: qreŕte (кречме).

— Опять эта американская штука,— смеется Федак.

Это слово есть переделка английского christmas — рождество, заимствованного у китоловов. Английское christmas буквально означает «Христова обедня». Чукчи восприняли это имя просто как праздник и в наивности своей применили его к советскому празднику.

— Нет, уж не надо, пусть будет, как было по-русски: Pегвыј мај.

— Ну, теперь давайте сочинять слова,— предлагает учитель.

Лица учеников оживляются. Эта работа веселая, она происходит в различных местах, в Ленинграде, в Хабаровске и на всем побережье Берингова моря, во всех тех пунктах, откуда новая культура проникает в тысячелетнюю толщу чукотской первобытности. И в различных местах она происходит, хотя и независимо, но с полным единодушием и с удивительными совпадениями.

— Голосовать,— назначает учитель.

Ученики составляют трехэтажное слово, которое обозначает буквально: «заставлять руки поднимать вверх». Это чукотское слово, в сущности, точнее нашего, потому что «голосовали» голосами когда-то на шумном вече или на крикливом сельском сходе. Теперь, как известно, голосуют поднятием рук.

— Завод,— называет учитель.

Ученики составляют чукотское слово,— вышло буквально: «место обработки железа».

— Фабрика.

Ученики составляют по-чукотски. Вышло буквально: «место выделки ткани».

— Теперь «социальные» слова: «бедняк»

Ученики отвечают:

— Ngoşyp.

Слово «бедняк» есть на всех языках мира.

— Трудящийся.

Ученики отвечают:

— Miğçitlen.

— Теперь: пролетарии.

Ученики составляют буквально: бедные трудящиеся.

— Буржуазия.

— Ученики отвечают:

— Gaıtyısylyp.

В буквальном смысле это — люди, богатые товарами.

Товары вообще назначены для обмена, для торговли. Этот термин у чукоч вызывает определенное классовое настроение и представляет наиболее возможное приближение к нашему классовому термину: «буржуазия».

Впрочем, это не перевод, а скорее объяснение. В книжный обиход, в практику возникающей литературной речи вводятся слова в международной форме: proletarij, burzuazija.

— Ну, теперь читайте, — предлагает учитель.

Ученики откладывают учебные тетрадки и достают другие, бережно завернутые в газетную бумагу. Эти тетрадки опрятны и чисты, их заголовки украшены виньетками, выведенными с большим искусством остро отточенными карандашами, черными и цветными.

Сильное отделение объявило соревнование на лучшую статью из туземной жизни на Севере, преимущественно автобиографического характера. За статью назначена премия, правда, совсем небольшая; но гораздо важнее то, что эта статья будет напечатана в соответственном издательстве как настоящая книга. Будет напечатана чукотским шрифтом и переслана на место, на Берингово море и в тундру, чтоб там ее читали однолетки-товарищи и другие земляки этих замечательных чукотских пионеров культуры.

Чтение начинает Ульгувгий. Он написал, разумеется, о своих богатых дядях. Каждый пишет о том, что он знает лучше всего, что у него наболело в жизни и осталось на сердце.

Он читает по-чукотски, но все хорошо понимают, в том числе и учитель, который прочитал все работы заранее и каждое слово обдумал и мысленно перевел по-русски, во избежание недоразумений во время урока.

«Умер отец мой. Я остался сиротою. Потом мой дядя пришел, сказал: «Ух, племянник, ты у меня живи, я тебя выращу. Вырастешь, стариком я стану, мое жилище возьмешь. Все мое стадо заберешь.

Потом я лет пять у него жил. Постоянно я один при оленях ходил. Постоянно, вернувшись домой, мало ел. Однако бранится. Говорит: «Ух, почему медленно ты ходишь? Ленив ты. Почему медленно расхаживаешь? Ленивым человеком будешь». Немного спустя опять: «Пусть я побью тебя». Потом бил меня, всё по голове, все арканом постоянно.

Тут я сказал: «Пусть отдельно я стану». На ту сторону реки украдкой я ушел, к другому ушел, к Пенелькуту. Тоже Пенелькут, мой двоюродный дядя по матери, или что. Только у Пенелькута худо я жил. Бранится, говорит: «Худо ты стережешь стадо. Однако между тем жадно едящий ты, однако худо поступаешь в охранении оленей. В конце концов уши тебе обрежу». Говорит: «Если снова с этого времени худо будешь стеречь, убью тебя. Попробуйте хорошенько охранять оленей, заставьте их пастись, не позволяйте им ложиться, сделайте, чтобы они жирели, потом жирный кусок мы есть станем. Продавать их будем. Потом состаришься, хорошо жить будешь. Потом хорошо умрешь когда-нибудь, сыновья сделают тебе могильник из рогов. Каждый едущий на оленях посмотрит на тебя, будет хвалить тебя...» Лживый, худой Пенелькут!..

Но его зять, Татк-Омрувгий, с двумя младшими братьями, еще хуже. О нем скажу теперь: в позапрошлом году Татк-Омрувгий на фабрику ездил, с фабрики вернулся домой. У его брата, у младшего брата Гынюкая, там я был. Татк-Омрувгий пришел, поставил загон из саней. Во время постановки к Татк-Омрувгиевым людям гости пришли многие: Ваалиргын,

Рульты, Рультувгий с женой, Эыльгын. Пили водку, спирт. Татк-Омрувгий Рультувгия бранит, говорит: «Ты зачем пришел сюда? Голодный бедняк ты. Пищу разыскиваешь. Голодный еду разыскиваешь».

Говорит Рультувгий: «Некогда я был помогающим при поимке оленей». Говорит Татк-Омрувгий: «Почему же не помогаешь?» Говорит Рультувгий: «Однако я состарился, старик я, как буду помогать? Прежние старики только сидели, хозяином хорошо принимаемые». — «Но ведь ты помогающий. Зачем ты сидишь? Разве так помогают, сидя? — Говорит: — Право, не сиди, по голове ударю тебя». Рультувгий говорит: «Пусть, если без стыда ты будешь. На больного спиной совсем бесстыдно хочешь ты напасть. Я с худой спиной». Татк-Омрувгий рассердился, говорит: «Ну, ну, давай схватимся». Рультувгий пояс снял, кукашку снял, говорит: «Согласен. Схвати меня»¹. Татк-Омрувгий тоже пояс снял с ножом. Говорит: «Нет, только по голове бить тебя стану». Старика по голове ударил поясом. «Ну, помогай, помогай». Говорит старик, плачет: «Ай, ай, ай, согласен, буду вам помогать». Одежду надел, посох вместе с арканом взял, к оленям побежал. Немного спустя Татк-Омрувгий спросил нас: «Где Рультувгий?» Мы сказали: «К оленям ушел». Татк-Омрувгий кричит, говорит: «Эй, эй, Рультувгий, вернись домой, вернись домой. Сделаешь вонючим младшего брата дом!..» Тогда те вернулись вместе с женой. По дороге все плакали. Такой насильник Татк-Омрувгий, на всей тундре самый богатый оленями».

Рассказ окончен. Аттувге качает головой.

— По-старому ты написал,— бросает он критическое слово.

Ульгувгий написал свой рассказ действительно в стиле старинных бытовых повестей, которыми богата чукотская устная словесность. Народная словесность у чукоч вообще — это целое богатство. Тут есть эпические повести о войнах с коряками и русскими; за-

¹ То есть для борьбы. В борьбе по-очереди один стоит, другой нападает.

тейливые сказки о проделках и подвигах шаманов; рассказы от «начала времен сотворения мира», полные неожиданных и странных подробностей.

— Я жил по-старому,— возражает Ульгувгий.— На тундре и теперь олени пастухи по-старому живут, не по-новому.

— Ну, ты читай, посмотрим, как вышло по-новому. И Аттувге читает:

«Страна Кымын (Аляска).

Я ездил в Америку, в страну Кымын. Там я три ночи ночевал. Тамошние люди рассказывали мне, описывали всю свою жизнь, а многое мы с товарищами видели своими глазами. Нет у них собственной пищи, добытой из моря. Пищу покупают. Впрочем, иные, побогаче, много моржей убивают, а некоторые — даже китов. Но у бедных нет пищи, ни мяса, ни сахара, ни чая, пьют горячую пустую воду. Нет у них никаких товаров. Бедные — там совсем не люди, и только богатые имеют вельботы и моторные лодки. Ходят на лодках по пять работников-гребцов. Гребцы все наемные, но для самых беднейших не хватает наемной работы. В лавках много разнообразнейших товаров. Тамошние жители покупают товары. Богачи забирают товары во множестве, у бедных не на что выменять, берут понемножку и скоро потребляют, что взяли. После того нет у них хлеба и мяса, чаю, табаку, нет ничего.

В той стране есть также домашние олени: один оленевод чрезмерно богатый, у него огромное стадо. Из этого стада оленей продает он вразбивку: пять человек бедняков покупают одного оленя, делят по кусочку и скоро съедают. Шкур на одежду совсем не достается. Тамошние нам говорили: «Вот это оленье стадо не очень давно разведено из вашей страны, куплено американцами от ваших оленеводов. Раньше стадо было небольшое, теперь огромное. В разных местах такие огромные стада. У этих стад мало пастухов, оленей сторожат собаки, умные собаки, умнее человека.

Американцы заняли у нас домашних оленей,— про-

должает Аттувге.— Из другого места заняли оленных собак. Нам следовало бы тоже завести при стадах таких сторожевых собак.

Клади у американцев много, приходят пароходы, привозят многочисленные тюки и ящики; беднейшие люди, туземцы и настоящие американцы, выгружают эти тюки, получают плату и кое-как живут.

Богатые туземные торговцы живут не по-нашему. У них настоящие дома, сидят они на стульях, едят на столах ложками из белых тарелок. Одеваются в суконное платье, резиновые сапоги. У бедных — лохмотья из нерпичьей шкуры. В зимнюю стужу ходят в дырявых обутках с пальцами наружу.

Так делятся люди в стране Кымын: на богатых и бедных. Всякие народы, какие там живут: эскимосы, настоящие американцы, чернолицые люди (негры), широкоштанники,— все они делятся так: на богатых и бедных».

Широкоштанниками на Севере называют китайцев по их характерным раздвоенным шароварам.

«Вся еда в стране Кымын покупная,— продолжает Аттувге,— вся жизнь продажная».

Анализ классовых отношений на Аляске сделан посетителем из нашей Советской страны. Богатство и обилие американских товаров ничуть не ослепили его. Рассказ Аттувге переходит назад, на азиатский берег, и продолжается с той же классовой четкостью:

«В нашей стране устроили совсем по-иному. Партия у нас создает такое устройство, чтобы трудящиеся всех народов были равноправны, мужчины и женщины, чукчи и русские, эскимосы, коряки и эвенки,— все должны быть равноправны, как братья-работники. Американские рабочие для наших — тоже братья. Но американская буржуазия для рабочих — враги.

Тамошние рабочие должны свергнуть буржуазию, и во всех странах мира должно быть социалистическое устройство».

Чукотская группа готовится к празднику. Весь наличный состав, включая чуванцев и русских, разучивает пьеску «Пионерский поход». Пьеска эта имеет оригинальную историю. Ее сочинила на мысе Дежнева подлинная группа пионеров в русско-чукотской школе, в поселке Уэлен. Учитель приехал с Амура и не знал по-чукотски. Ученики почти не говорили по-русски, тем не менее они как-то сговорились друг с другом и сочинили веселую пьеску на местную школьную тему.

Молодая театральная группа всю зиму разыгрывала эту пьеску в окрестных приморских поселках и на более людных оленных стойбищах, даже учиться приходилось поменьше с театральными хлопотами.

Играли ее с импровизированными вариантами, с изменениями, каждый раз все по-новому. Чукотские зрители задыхались от хохота, но записать эту пьеску оказалось нелегко.

Неопытный учитель даже не знал, как приступить к чукотскому письму. В конце концов ленинградский работник из того же Института народов Севера, Павел Молл, записал эту пьесу, как умел, смешанной грамотой — русской и латинской.

На сцене — пионерский уголок. Вукволь влезает на стул и хочет прибить к стене портрет дедушки Ленина. Вукволь тяжел и грузен, а стул очень узок, стул шатается. Вукволь хватается руками за стену, чуть не падает. Группа физкультурников ходит по сцене и размахивает руками: раз-два, раз-два. Они страшно увлеклись. Так усердно машут руками, мотают головами, что даже волосы у них развеваются. Девчонка Ускинга, переодетая маленьким мальчиком, бежит вслед за физкультурниками, перебегает им дорогу и пугается у них в ногах.

Вукволь справился со стулом. Он прикладывает портрет к стене, продевает гвоздь сквозь верхнее колечко,

— Вот вчера,— говорит,— я вот этак хотел вбить гвоздь в стену, как размахнулся молотком, да хватить себе по пальцу.

Увлечшись рассказом, он бьет себя молотком по пальцам, вскрикивает и роняет на землю и гвоздь и молоток.

Пионеры смеются.

— Тюлень ты, тюлень,— говорит с укоризной Тенькау.— Дай-ка я полезу и прибью.

Он поднимает гвоздь и молоток, влезает на стул, начинает в свою очередь качаться и падает на землю вместе со стулом.

Пионеры смеются пуще прежнего.

Открывается дверь, входит чукотский мальчишка, приземистый, толстый, весь зашитый в густые оленье меха и с виду больше всего похожий на большую мохнатую собаку, вставшую на задние лапы.

Мальчишка без шапки, лицо его пышет здоровьем, щеки горят, как огонь.

Это приезжий из далекого оленого стойбища. Стойбище его живет вполне первобытною жизнью: не пьет чаю, не моется мылом, но зато у него большое оленье стадо, и питание его вполне правильно, регулярно; из недели в неделю для каждой семьи убивают годовалого бычка, важенку или даже большого быка с грузным животом и тяжелыми рогами.

Приезжего мальчишку играет керек Игынъкеу— «Печная заслонка». Внешность его очень подходит для этой роли: у него, как указано, круглые гладкие щеки, взъерошенная голова, маленькие глазки и скулы безмерной ширины.

— Пришел ты!— восклицают все хором.

— Да, пришел,— отзывается мальчишка.

Чукчи здороваются этими простыми и трезвыми словами.

На лице у мальчишки написано удивление.

— Что вы за народ?— спрашивает он.— Я впервые вижу этаких.

— Мы пионеры,— с важностью отвечает Тенькау,— а ты откуда взялся?

— Кто, я? Я приехал с тятей из нашего стойбища

табачишка купить. У нас все курят, даже малые дети, а курить нечего.

Он вынимает из кармана маленькую черную трубочку и мешочек с каким-то черным крошечком, похожим скорее всего на сушеный навоз, смешанный с дегтем. Это табачная накипь, которую выскребают из старых мундштуков и курят, смешавши со скобленным деревом.

— Дайте прикурить,— взывает мальчишка.

Он усиленно затягивается, трубка вспыхивает.

— Ух, горько... Как вы чудно живете! Дома, например, совсем не такие, как наши палатки. Огромные такие, с углами, как будто сундуки. А сами вы какие, разобрать не могу. Я думал, вы русские мальчишки, а выходит, не русские, а наши. Русские ошейники на вас, красные ошейники.

Вукволь. Я говорил тебе, что мы пионеры.

Мальчишка повторяет:

— Пи... пи... пионер... А что такое «пионер»?

Хозяева его обступают и кричат наперебой:

— Если не знаешь, какой пионер, останься тут с нами, узнаешь, какой пионер.

Физкультурник (подскакивает). Мы тебя научим шагать: раз-два, раз-два.

Тенька у (отталкивая). Мы тебя научим на лыжах кататься. Вот так, вот так. (Делает сильное движение ногой, хватается за гостя, и оба вместе падают.)

Четвертый пионер поднимает его за руку и стряхивает пыль.

— Не слушай, дружок. Мы тебя научим читать, писать:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда...

Ускинга девчонка передразнивает:

Чичкин, бочкин,
Нам чипичкин...

Пионеры смеются.

Из соседней комнаты входит вожатый.

— Что вы здесь так расшумелись? Кричите, работать мешаєте.

— Вот посмотрите, у нас гость,— отзывается Вукволь.

Вожатый пожимает плечами.

— Ага, пришел ты... Ну, что ж, пусть посидит, послушает. Давайте заседать. Надо выбрать председателя и секретаря.

Г о л о с а. Председателем — Вукволь.

— Ну, хорошо. Слушайте. У нас два вопроса: один — о Первом мае, а другой — о ликнеграме. Вот есть у нас пионеры, еще грамоты не знают. А что это, ладно?

Все кричат:

— Не ладно, не ладно!

— Пусть все пионеры учатся. Пусть все читают. Со-
гласны?

— Мы согласны!..

— Давайте голосовать.

Все поднимают руки. Приезжий мальчишка поднимает обе руки.

В о ж а т ы й. Теперь — про майский праздник. Какое игрище устроим?

Все кричат:

— Мяч, футбол!

Олений мальчишка вскакивает в большом возбуждении:

— Ух, ух, я тоже попинаю (мяч), тоже с друзьями поиграю.

Пьеса разворачивается шире. Вожатый снимает с мальчишки устную анкету и условно принимает его в состав пионеров.

— Читать, писать будешь учиться?

— Буду, буду.

— Работать с нами будешь?

— Буду.

— Одеваться по-нашему будешь?

Мальчишка трогает себя за шею.

— Ага, красный ошейник. Буду, обязательно буду.

— Мыться, жить без грязи — будешь?

Мальчишка озадачен.

— Как это «без грязи»?

На чукотском языке нет утвердительного слова «чистота». Есть только оборот отрицательный: «отсутствие грязи». Что же касается мытья, умывания — чукчи издавна сами себя называют «немытый народ».

— Какое «умывание»?— спрашивает новый пионер несмело и негромко.

— Пойдем, узнаешь.

Вожатый берет его за руку и уводит за перегородку.

«Печная заслонка» немного упирается, но все-таки идет. Вот его широкая спина на минуту заслонила узкий пролет двери, обшитой тяжелой оленьей шкурой.

Пионеры принимаются за прежние дела, вколачивают гвозди, вешают портреты, лозунги, куски стенгазет, приготавливаясь к завтрашнему празднику. В то же самое время они чутко прислушиваются к тому, что делается за перегородкой. Там слышен звон жести. Это вожатый выдвинул вперед большую переносную ванну. На плите закипает вода, слышен горячий поток, вылитый звонко из чайника в ванну.

— Иди-ка! — кричит вожатый.

— Не, не пойду, не пойду! — визжит за перегородкой мальчишка. — Горячая вода, сварить меня хочешь, как будто я старая оленина.

— Совсем не горячая. Иди, мыть буду.

Слышен шум возни и звуки от растирания. Вожатый, как видно, моет у «Печной заслонки» широкое лицо.

— Горько! — восклицает мальчишка. — Глаза есть, пусти, ослепить меня хочешь.

Дверь стремительно открывается, и выскакивает «Печная заслонка», совсем голый, лицо у него в мыле, рука его попрежнему в руке вожатого, но он делает усилие и втаскивает вожатого в комнату.

— Ребята, убивают, вот этот сварить меня хочет!

— Как сварить, зачем сварить?

— Да вот, посмотрите, даже кожа сошла на руках.

Вукволь внимательно рассматривает сошедшую «кожу».

— Глупый ты, глупый! Это не кожа, это грязная корка снимается. Ты, видно, как медведь, от роду не мылся. Вот твоя кожа настоящая, смотри, какая она белая.

Мальчишка утихает.

— А-а-а, белая...

— Ну, одевайся.

Десять рук поспешно обряжают нового кандидата в пионеры — в пионерскую рубашку и штаны защитного цвета.

— Ух, ты! — говорит с восхищением Тненькау. — Видишь, как похорошел, на, посмотри.

Оленный мальчишка с важностью:

— Красный ошейник давайте. Ну вот, теперь я хоть куда пионер.

Вукволь дразнит:

— А что, вправду горячая вода?

«Печная заслонка» качает головой:

— Нет, хорошая. Это я только глупый.

Он долго, внимательно смотрит в зеркало и приходит постепенно в большое возбуждение:

— Ух-ха, ох-ха-а, вправду красавец. Вот бы нашим девчонкам показаться на стойбище, в стаде. Сказали бы, пожалуй: «Что за русский мальчишка?» Никто бы не узнал.

Вукволь с важностью произносит краткое наставление:

— Вот ты теперь стал без грязи, стал новым человеком. Учись подражать всем новым обычаям.

Мальчишка кричит:

— Буду, научусь!

В о ж а т ы й. Ровнее, стройтесь.

Пионеры, окончившие все приготовления к завтрашнему празднику, охотно выстраиваются в ряд.

— Будь готов, пионер!

Все поднимают руку:

— Всегда готовы!

— Теперь запоем пионерскую песню. Вукволь, запевай.

Вукволь запекает гимн Севера.

Мы эвенки,
Остяки и юраки,
Мы камчадалы,
Гиляки, коряки.

Русский работник,
Якут и бурят,
Кузнец и плотник,
Тоже наш брат.

Больше не надо злого обмана,
Слушать не будем попа и шамана.
Старая вера,
Рассейся, как дым.
Шире дорогу
Борцам молодым!

Все поют. Олений мальчишка визжит от восторга, хрюкает, фыркает, ревет, как морж.

— Раз-два, раз-два!!!

Пионеры с громким пением уходят из комнаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Заседание НИА в полном разгаре. Оно продолжается час, будет продолжаться еще два часа, если не дольше.

НИА при ИНС, Научно-исследовательская ассоциация при Институте народов Севера, сама институтом назваться не может,— финансовой базы не хватает. Работа ее от того не становится меньше. Главный результат работы НИА—это полтора десятка букварей, из которых каждый составлялся два или три года, частью на месте, на Севере, частью в стенах института. Буквари пестрые, с цветными обложками, весьма разнообразные, но в общем все же однотипные. Пестрые картинки, олени и тюлени, рыбная сушильня с вешалами, унизанными крупной юколой, завод, железная дорога. Названия букварей написаны крупной латиницей. У гольдов-нанай: «Sikun Rokto», то есть «Новый путь», тот путь, который открывается перед ними нехитрыми рисунками этой тоненькой книжки.

Xwankuta Iharut—«Наша книга», первая книга для чтения на наречии азиатских эскимосов, этого последнего обрывка большого эскимосского народа, который тысячелетия назад перелился из Азии в Америку, но зацепился последними группами за черные мысы азиатского побережья, мыс Дежнев, мыс Чаплина, мыс Чукотский.

В этом букваре преобладают морские животные: белые медведи и белые дельфины, белые песцы, киты и моржи, тюлени, и даже у тюленей «бельки» — моло-

дые тюленчики, обросшие мехом, кудрявым и белым, похожим на пух.

I w edі Дикиwип»—«Тунгусская книга». Это первенец северных букварей. Он родился два года назад и уже разошелся без остатка. Теперь надо составлять улучшенное второе издание. Все буквари написаны единым северным алфавитом, из-за которого молодые лингвисты спорили два года. Этот северный алфавит примыкает, в свою очередь, к турецкому алфавиту, который не только в пределах СССР, но даже в Турции отныне основан на латинице. Нигде в мире нет ничего подобного. На туземных языках за границей букварей не составляют, да и грамоте не учат, а ежели учат, то исключительно на языке белых колонистов-завоевателей; пишут без всяких затей латинской азбукой и даже готическим шрифтом,—читайте, как знаете.

Народы советского Севера сначала относились к своей собственной грамоте довольно равнодушно и скорее предпочитали грамоту русскую, а теперь они вошли во вкус и признают уже не только чужие буквари — русский, якутский, бурятский и зырянский, но даже дерутся в своей собственной среде за свой язык, за свое наречие.

«Пусть пишут по-нашему, ведь мы их умнее!..» «Пишите по-нашему!..» «Мы вас умнее, мы вас сильнее!..»

Так спорили, бывало, между собой два диалекта одного того же языка. Теперь спорить перестали, ибо искомый диалект выбран и стал литературным языком.

Странная публика собралась в НИА. Человек двадцать ассистентов, пятнадцать аспирантов, единственный доцент и единственный профессор. Доценту с профессором вместе не хватает до шестидесяти лет, стало быть, каждому из них поменьше тридцати.

Все они — молодняк.

Но каждый из этих молодых сделал две или три труднейших экспедиции, прожил на Севере, в суровых условиях, три года и привез с собой обратно в Ленинград драгоценнейший дар — знание языка.

Профессор — моложавый, румяный и белый, в очках, с детской кожей, в веснушках, кажется моложе своих молодых ассистентов,

Я сказал бы, что его биография весьма примечательна, но революция выдвинула столько чеканных образов и ярких биографий, что мы перестали удивляться им, перестали примечать.

Профессор Альквист родом из Латвии, из той области, которая когда-то входила в орбиту Российского царства, а потом вошла также в орбиту большевистской революции.

Он происходит из старого крестьянского бунтарского рода. Деда его отправили на каторгу в 1905 году, а мать и отца расстреляли в 1917 году. Но сам он бежал, скитался в лесах, пристал к партизанам, воевал с немецкими баронами, туземными и пришлыми с запада, прямо из Германии, а потом, по необходимости, отступил в СССР. В этой партизанской войне он стал комбригом. Получил в лопатку немецкую пулю, а заодно и расширение сердца.

Здесь, в ИНСе, он является организатором. Ездит в Москву по сметным и бюджетным делам, привезенные суммы распределяет по каналам мелким и мельчайшим, как будто сеть кровеносных сосудов, управляет учебною частью. Работы очень много. Но он справляется.

У доцента Григорьева лицо измученное и даже пожилое, несмотря на то, что возраст его в личном свидетельстве начинается с двойки. Он из обеспеченной семьи, сын художника и сам тоже художник, кончил философский факультет и был далек от всякой северной стройки, но жажда приключений привела его на Север. Он был на Ныде, в Обском заливе еще «мерзлорычим-немым», как говорили туземцы. Потом он подумал, подумал и с Оби махнул в Туруханск. Здесь подписал договор на постройку тундренной школы в поселке Марьин Стан сроком на три года.

Когда он приехал в поселок, школа помещалась в землянке. Когда он возвращался назад, на Марьином Стане осталась прекрасная школа в два этажа, со всеми службами, которую он устроил, оборудовал и пустил в дело.

В этом далеком поселке, среди безлесной тундры, в деревянной избушке, зарытой в снегу, родился у

него его первый ребенок, который по народности был европейцем, а по месту рождения таким же остяком-самоедом, как и другие мальчишки, иправшие с ним на снегу. Наследник Григорьева был кругл и румян и в проказах и драках не уступал никаким ненцам, но сам Григорьев оставил на северном фронте всю свою юную силу.

После Марьиного Стана он провел еще два года среди ненцев европейского Севера на реке Печоре, ел, пил и спал по-ненецки, но сердца больного не вылечил. Странно сказать, в полярной обстановке он чувствовал себя лучше и крепче, и только вернувшись назад в Ленинград, опять начинал задыхаться и стонать.

Он является первым в мире лингвистом, который, действительно, говорит и пишет по-ненецки, то есть по-самоедски, и по-селькупски, то есть на языке остяков-самоедов, так же, как по-русски или по-немецки. Кстати сказать, здесь нет никакой игры звуков, ибо для Григорьева немецкий язык является тоже родным языком его матери, и товарищи о нем иногда говорят полушутливо, что он от немецкого языка дошел до ненецкого.

Тексты, составленные им, поражают простотой и практичностью. Например: «Доктор так говорит: «Руки ваши мойте, хорошенько мойте, мылом мойте, на десятый день в баню ходите. Под малицей рубаху надевать надо, рубаху чаще мыть надо. Грязная рубаха — худо. Малицу чаще выколачивать надо. Малицу обезвшивать надо. От вшей ненцы болеют».

Коротко и ясно.

Ненецкий округ первый из северных округов народился на свет. Столицей его является «Красный Город» — в прошлом селение Тельвиска.

Бытовая революция развернулась в этом округе довольно широко. В прошлом году женщина-врач проводила в нем декаду чистоты. Русские дома и самоедские чумы соревновались между собой. Бригада по обследованию установила неожиданные факты. Русские служащие, в том числе и довольно ответственные работники, живут грязнее и моются реже самоедов, живущих в окрестных чумах. Правда, у самоедов есть

женщины, а русские все больше холостяки. В конце концов общим решением участников культпохода чистоты премии были присуждены трем молодым ненецким женщинам, которые стояли во главе культпохода.

«Guz Dif» — «Новое слово». Работа Юрия Престовича. Написана на языке нивхов, то есть в прошлом гильков. Престович, как и многие другие работники, родился в Ленинграде и выехал впервые прямо со студенческой скамьи на далекий и суровый Сахалин. Здесь он попал в условия, не лучшие, чем в знаменитой сахалинской каторге. Публика подобралась матерая, аховая. Так как Престович не мог и не хотел быть «с волками по-волчьи», против него началось гонение, и очень скоро он угодил в настоящую ссылку, на далекий восточный край острова Сахалина. По таким же причинам лет сорок назад его покойный учитель, Лев Яковлевич Штернберг, бывший политический оссыльный, попал на окраину острова. В ближайшую зиму Престович устраивал школу. Поселок и школу посетила цынга, и школа превратилась в больницу. Престович тоже заболел. Он вынужден был, однако, переносить свою болезнь на ногах и лечить население.

В школе у него было тридцать девять пациентов, а температура его тела доходила до тридцати девяти градусов. Ему приходилось не только лечить, но также заботиться о пропитании населения, ездить к начальству за продуктами и даже — хоронить.

Все же он справился, выжил, потом с Сахалина вернулся в Хабаровск и там, при содействии Карла Яновича Лукса, повел борьбу с подпольными хищниками.

Белогвардейская публика на острове попала под суд, а Престович, напротив того, в санаторий на озере Ханка. Оттуда он вернулся в Ленинград. Года через два отправился опять на устье Амура, но уже специально для обработки букваря и совсем в других условиях.

Книга Престовича составлена позднее книги Григорьева, и по содержанию она сложнее. Рядом с призывами к гигиене встречаем призывы социальные:

«Мы, в Ленинграде обучающиеся нивхи, вам, на Амуре и на Сахалине своим трудом живущим нивхам, мы говорим:

Трудящиеся нивхи, шаманский закон бросив, по советскому закону только живите.

Кулака и шамана в совет не избирайте.

Из колхозов кулака и шамана изгоните.

Советы и колхозы укрепляйте.

Мальчики и девочки, в пионеры и комсомол записывайтесь.

Эту свою нивхскую книгу хорошо читайте...»

Двадцать человек тихо сидят у длинного стола и слушают доклад. Докладчик — Беляев, работник вогульской группы, тоже с весьма примечательной биографией. Беляеву лет двадцать пять, на Севере он был четыре раза. Первый раз в ранней молодости, просто погуливал с вогулами на лыжах и охотился на бурых медведей. В 1926—1927 годах, во время полярной переписи, переписывал вогулов и остяков.

Потом, неожиданно вернувшись в Ленинград, организовал вместе с двумя другими такими же юнцами, Натасей Перевозчиковой и Федором Гейманом, ни много и ни мало, как экспедицию на север полуострова Ямала, к ямальским самоедам, до тех пор оторванным от русских. Экспедиция попала в тяжелые условия. На Ямале был голод и олений падеж, и в конце концов от невыясненных причин умерла Наташа Перевозчикова. Она оставалась одна среди самоедов, потом ее вывезли на берег океана и там оставили, правда, у ящичков с едой, но без человеческой помощи и даже без палатки. Двое других молодых ученых были в то время на другой стороне полуострова. Наташа Перевозчикова лежит на скалистом мысу, под грудой камней, сложенных в виде памятника, а Беляев вернулся в Ленинград и вскоре опять отправился к вогулам.

Составленный им вогульский букварь тоже первый в своем роде.

Татьяна Шабунова, молодая вдова. Отправилась с

мужем на чукотскую базу у мыса Дежнева, была она больная, пассивная, а муж полон огня и рвения. Татьяна на севере поправилась, а муж заболел воспалением легких, потом туберкулезом. Вернулись назад в Ленинград. Шабунов умер. Татьяна осталась одна с маленьким ребенком на руках. Но все это ничего не значит. Татьяна работает в той же группе, учится и через год-два отправится обратно в Чукотию продолжать дело своего мужа.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Кендык с утра захворал. У него разболелась голова, особенно затылок, а потом как-то странно заболело у шеи на левой и на правой стороне. И вместе с тем ему стало скучно: то постоянное кипение мыслей и чувств, которое в последние два года не давало ему покоя ни ночью, ни днем и делало его словно пьяным, вдруг потускнело и снизилось, словно снизилось пламя костра, освещавшее ему постоянно дорогу и звавшее его вперед. Его взяли в лазарет, раздели, одели в больничное белье и положили в постель. Пришел доктор, посмотрел его язык, прощупал шею на правой и на левой стороне и сказал коротко: железы.

— Какое железо? — спросил Кендык в смутном удивлении.

Он говорил по-русски совсем сносно, но у него, как и у других студентов, постоянно возникали недоразумения из-за неправильно понятых слов.

Русский язык у студентов был совершенно конкретный, включавший только материальные предметы и материальные процессы и совершенно чуждый общих понятий, литературных оборотов, поэтических метафор, ученых выражений и т. д.

— Резать будешь железом? — сказал Кендык полутвердительно.

Доктор усмехнулся.

— Если не боишься, так буду, — сказал он.

Опухоль желез часто встречается у северных студен-

тов, и лучшим лечением является немедленная операция. Слышал об этом также и Кендык.

День и два шея у Кендыка раздувалась, налево и направо обозначились две опухоли.

— Будем резать? — спросил доктор.

— А вы не зарежете меня? — спросил Кендык, впрочем, без особенного страха.

— Что ты за баба, — огрызнулся доктор. — Девчонки, и те не боятся!

Студентки болели в институте наравне со студентами, но вели себя гораздо мужественнее.

И вот Кендыка положили на белые носилки. Двое санитаров несут его в операционную комнату и укладывают на стол, узкий и высокий и ослепительно-белый. Стены тоже окрашены белым. Доктор, санитары, сестра — все одеты в белое. Кендыку кажется, что они собираются справлять над ним какой-то обряд, очевидно, шаманский. Других обрядов Кендык до сих пор не знал. Белая комната действует на него успокоительно.

— Белое шаманство, — шепчет он.

Черное шаманство приносит людям вред и гибель, белое шаманство, напротив, пользу и спасение. Он все же начинает дрожать всеми членами, и сердце у него замирает. В белом и черном шаманстве есть тоже своя хирургия, но ее производят над больными не шаманы, а духи. Они разрезают больного на мелкие кусочки, мясо снимают с костей, вынимают и сердце и печень, выжимают кишки и так, не торопясь, перебирают частичку за частичкой, отыскивая злую причину болезни. Причина болезни бывает двоякая: злые духи украли у больного одну из его душ, — ведь у каждого земного человека несколько душ. Есть особые отдельные души в руках и в ногах, в спине, в голове и т. д. Человек может потерять две-три души, от этого он не умрет, но будет болеть, потом захиреет.

Если враждебные духи украли человеческую душу, духи-исцелители должны найти грабителей, дать им бой и отнять у них украденное. Они передают краденую душу шаману, он вкладывает ее потом в тело

пациента, чаще всего сквозь макушку, а также сквозь спину, сквозь грудь, в виде какой-нибудь мелкой частички; то это жучок или камешек, то хвоинка, песчинка.

Кендыку случалось видеть десятки раз, как его собственный дед зализывал боль у больного: долго водил по щемившему месту своим длинным языком, как корова, лижущая теленка, и потом вдруг отрывистым движением как будто просовывал сквозь зализанное место хвоинку или камешек.

Правда, руки у деда как-то странно мелькали, и Кендыку казалось, что это не совсем настоящее дело, а так себе: игра. Выделывать штуки с хвоинками и камешками он умел и сам: ловко закладывал их под язык и потом незаметно и быстро выпускал их наружу. Но духов у Кендыка не было.

Другая причина болезни — если зловредные духи, вместо того чтоб унести украденную душу, сами влезают в больного, оборачиваются раной или занозой, расплывается гноем и черной, негодною кровью.

В первом случае надо вернуть украденное. Здесь, напротив, надо найти лишнее и выбросить вон.

Духи обращались все так же в камешек, в хвоинку, в песчинку, но вместо того чтобы вкладывать, их надо было извлечь, обессилить и отбросить.

Вот для чего духи-целители режут больного на кусочки, конечно, не въявь, а только во сне. Тяжело выносить эту дьявольскую операцию, хотя бы и в сонном видении.

Кендык дрожит всем телом. Доктор ласково кладет на его пылающую голову свою большую прохладную мягкую руку.

— Бедный мальчик, — говорит он успокоительно.

Он сжился с этими новыми больными. Они для него одновременно больные для лечения и предмет изучения. Он измеряет их череп, меряет температуру, считает пульс, берет пробы крови, и лимфы, и всяких других выделений. Тут столько народностей, редких, первобытных, о которых мы ничего не знаем. Откуда их болезни, отчего они дома здоровы, в своем ужасном климате, а здесь заболевают; их нужно сторожить и

за каждого вести постоянную борьбу с духами заразы.

Кендык долго глядит на врача. Рядом с ним другой, такой же высокий и белый, с бритым лицом и коротко остриженными волосами.

— Это твой посох? — спрашивает Кендык.

— Как посох? — спрашивает доктор.

— Ну, твой дьячок, — объясняет Кендык. — Твой черный подручный.

Северный шаман имеет при себе помощника. Тунгусы называют его посохом, потому что он поддерживает шамана. Русские, величающие шамана «черным полевым попом», называют помощника «черным полевым дьячком», реже — «черным фельдшером», приравнивая шамана к доктору.

«Черный фельдшер» накладывает на лицо Кендыку мягкую повязку. Она пахнет так странно: противно, и сладко, и душно.

— Считай: раз, два, три, — приказывает доктор.

Кендык считает, и черные птицы прилетают и справа и слева подхватывают его своими широкими крыльями. Кендыка не стало, его унесли исцеляющие духи за тридевять земель, в тридесятое царство.

Час ли прошел, или два, или целая зима? Кендык опять в лазарете, на той же кровати. Он лежит навзничь, голова его на плоской подушке, шея его вскрыта и взрезана налево и направо, в ранки вставлены тонкие трубочки, они тянут гной, сосут его, выплевывают его наружу. Кендык ощущает острую боль, но как-то чувствует, что слева и справа, внутри у него вычищено, выскоблено. Кендык оглядывает палату кругом. В палате четыре кровати, и на каждой кровати по больному.

Рядом с Кендыком лежит худенький мальчик, тонкий, как былинка, с белым, как глина, лицом и странно задумчивым взглядом. У кровати, на столике стопка книг и чернильница. Мальчик держал в руке узенький чугунный стаканчик и время от времени осторожно выплевывал внутрь немного мокроты.

Кендык вяло наблюдал за его движениями.

— Кто ты? — спросил он наконец, почти нехотя.

— Я из Лов-озера, лопарь-оленеvod. Был я батрак, звался Михаил Мартынов, потом был студент.

— Был студент?— спросил Кендык.— А теперь что?

— А теперь я покойник,— спокойно ответил лопарь. Он опять сплюнул в стаканчик, и Кендык явственно увидел в мокроте кровь.

— Кровь мою выпили,— спокойно сказал Мартынов, чуть повысив голос.

— Кто выпил, духи?

— Нет, не духи, выпили торговцы, богачи, богатые олениводы. Они злее всякого духа.

Кендык ничего не сказал. Мартынов тоже замолчал, потом помотал головой.

— Покойник, а видишь, живу.

Мартынов расстроил здоровье тяжелой работой у оленьего стада на тундре зимой. Ему приходилось под яростным ветром, с «гнилого угла» (северо-запад) несущим полуталую поземку, по нескольку дней гоняться за иззябшими оленями, которые никак не хотели оставаться на месте. Другие олени ложились, их заносило снегом, их нужно было поднимать на ноги.

Так и получил Михаил свою тяжелую болезнь. Путевка в студенческую жизнь пришла для Михаила слишком поздно. В Ленинград он приехал в поту, в забытьи, с температурой в тридцать девять градусов, и прямо с вокзала его отправили в больницу. Его нога не вступала в школьную комнату.

В отличие от многих студентов, Мартынов хорошо говорил по-русски и по-ижемски, не считая своего родного лопарского наречия. Он так же хорошо читал и писал, и книжки, лежавшие перед его постелью, скрашивали его длинные и скучные больничные досуги.

На верхней книжке краснела разборчивая надпись: «Литература народов СССР». Мартынов развернул и медленно прочел:

«Думы Меккаила», из песен тундры, перевел с лопарского Филипп Дудоров.

— Видишь,— сказал он оживленно:— «Думы Меккаила». Я тоже Мекко,— Меккаил.

— О чем же ты думаешь, Мекко?

Мекко все сидел и думал:

«Ай, ай, ай, как жить хорошо.

Ай, ай, ай, как велика наша тундра.

Богата Лапландия голубыми песцами.

Много семги в озерах и жемчуга».

— А зачем же врешь ты, Мекко? Ты только срамишь меня, мой одноименный брат. Какие в Лапландии голубые песцы? Белые в Лапландии песцы и мало голубых.

Он взял с полки другую книгу и по ней прочитал: «Человек-Песня» А. Кожевникова.

— Опять песня,— вздохнул Мартынов.

Олени моей души и чунки (санки) моих желаний
Всегда стремятся к тебе, о Ксандра.

«...Ах, Еван! Уж не думаешь ли ты жениться, Еван?»

— Ты глупый, Еван,— сказал убедительно Михаил Мартынов.— Ездишь на санках своих собственных желаний, на рогатых оленях своей собственной души. Куда поехал, Еван?

«Ты безобразный и коротконогий, как все лопари» (точная цитата).

— Противная книжка, лается. Зачем же ты лаешься, Кожевников? Сам ты, должно быть, безобразный, безобразнее любого лопаря..

Напротив у стены стояла другая кровать. На ней лежал юноша, чуть постарше лопаря. Глаза его были открыты, но он, видимо, был в бреду. Он корчился, ворочался и хрипло произносил непонятные слова.

То был ненец Валыган. В отличие от Михаила Мартынова, он был смуглый, как жженая бумага, и лицо у него было скуластое. Он приехал в Ленинград месяца два тому назад, был он здоровый и крепкий и по своему смысленный, но зато за эти два месяца он вместо школьной одолел «алкогольную учебу», то есть, вернее говоря, она сама его одолела. Он метался и громко считал: раз, два, три, четыре... Алкогольные духи приходили к нему в виде огромных бутылей, наполненных светлой крепкою влагой. Их всегда было

одно и то же число: семь направо и пять налево, в общем — дюжина. Правые, крупные, были зеленого цвета, левые — мелкие, с притертой стеклянной пробкой, фиолетовые. Порою мелкие перемещались налево, а крупные — направо. Но общее число было всегда одно: дюжина.

Студент приподнялся и низко поклонился в левую сторону:

— Здравствуйте, матушки-водочки, здравствуйте, бутылочки. Дайте несчастному выпить и дайте закусить... Дайте закусить! — вдруг проревел он неистовым голосом. — Где закуска? Вот я тебе дам, разобью!

Он бросился на стену, стараясь разбить коварные бутылки, но они ускользнули опять, и он только разбил свои собственные кулаки.

Отскочив от стены, он грохнулся на кровать и неподвижно застыл.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ночь быстро наступила. Под самым потолком зажглись лампадки, круглые, белые, как будто налитые доверху светящимся молоком. Соседи Кендыка затихли. Он тоже задремал, но сон его был беспокоен и тяжел, не лучше, чем у страшного соседа, который ворочался во сне, вскрикивал, бранился.

Снилось Кендыку, что он далеко от Ленинграда, на родной Шодыме, в отцовском поселке Коркодым, в отцовском шатре. Все они спят у стены, на соломенных цыновках, не чуя беды. На улице снег, спокойное сияние луны.

Вот подъезжают на маленьких санках, на рогатых оленях, странные охотники. У них черные лица, и олени у них черношерстные, дышат огнем; при луне видно, как из оленьих ноздрей валит дым и выпрыгивают искры. Охотники привязывают оленей у высоких деревьев, вынимают из саней длинные сети и молча, без шума приближаются к переднему шатру. Они обметывают круглый шатер кругло поставленной сетью, приносят рыболовные шесты и принимаются тыкать

шестами под кожаные полы шатра, прямо в сторону спящих. Они вспугивают свою охотничью добычу, человеческих оленчиков. Это человеческие мелкие души, но духи зовут их «оленчиками», они их вылавливают и ими питаются. Мелкие души, как испуганные куропатки, вылетают из шатра, пробиваясь сквозь кожаные полы, и путаются в страшных сетях. Кендык ощутил, как из его груди выпорхнула одна душа, маленькая, скользкая, увертливая, похожая скорее всего на летучую рыбу, а из правой руки вылетела другая, как будто живая стрела. Но он не мог удержать их, не мог даже пошевелиться.

Снаружи, в ячейках сетей в обилии застряли эти перепуганные куропатки и летучие рыбы. Духи поспешно обходили свои сети и вынимали добычу. Рыба выдергивалась с треском, как будто из настоящего невода. Чешуя, отделяясь, сыпалась на мерзлую землю. То была шелуха человеческих душ, легкая, как пленка. Охотники связали свою новую добычу попарно, сложили ее в мешки, завязали в санках и умчались обратно. Только искры посыпались из оленьих ноздрей, и полозья проворно скользнули по белым колеям, взметнувшись комьями снежная ископыть.

Кендык лежит и не может шевельнуться. Но он видит, как мчатся ужасные охотники. Они подъезжают домой, их поселок такой же, как у родичей Кендыка, и даже зовут его так же: Коркодым, но только с прибавкою — «Черный». Духи вынимают добычу из мешков и отдают ее женщинам. Маленькие дети скачут перед входом и кричат: «Оленчик, тюленчик, я вырву глазок, я отъем пальчики, я выем сердце и печень».

В шатрах пылают костры. Метелки пушистого дыма стоят над верхушками. Женщины оттаивают у огня маленькие тушки человеческих душ, которые в дороге совсем замерзли. Они сдирают с них шкуру, пластают на части ножами и складывают в котелки. Вот котелок с новым варевом повис над огнем. В нем собственные души несчастного Кендыка. Он узнает их по жалобному взгляду, они словно просят: «Спаси нас, отними нас». Но кипящая вода захлестывает их бледные личики. В отчаянии высовывают они из воды

свои тонкие ручки, и на каждой руке розовые пальчики, двадцать всего пальчиков, похожих на розовые бусы. И злые чертенята скачут у котла, щелкают собственными пальцами и кричат: «Ах, ах, все пальчики объем. Сердце и печень я выем!»

Такие же розовые пальчики-бусы варились когда-то, кипели в котле у зловещей Курыни.

— Кендык, беги!

Но Кендык лежит неподвижно, он не в силах шевельнуться.

Он делает страшное усилие и срывает свои путы. И вот он опять на реке, в легком челноке, его крепкие руки машут налево и направо изогнутым веслом. Но он не нападает на грабителей, он убегает от них. Сзади налетает погоня, безумный Чобтагир и злая шаманка Курынь, она ликует и щелкает пальцами: «Ах, ах, Кендыка догону. Ах, съем, объем, выем!..»

Кендык делает еще усилие и вдруг просыпается. В палате светло и тихо. Белые стаканчики под самым потолком сияют молоком. Нет ни реки, ни шатров, ни духов на санках, ни духов в челноках. Товарищи Кендыка спят, как убитые. Но синелицый Валыган стонет во сне и скрежещет зубами.

«Это был только сон,— говорит себе Кендык.— Вот и товарищу снится такое же страшное. Он тоже видит духов, а я вижу его и духов не вижу. Нет ничего, обман, сонное мечтание».

Голова у него еще тяжелее прежнего. Он падает в изнеможении на подушку и засыпает. Опять перед ним другая картина. На смену духам-убийцам, грабителям пришли духи-исцелители, длинные, черные, в черной одежде, с печальными черными лицами. У них все людское: губы и глаза, нос и подбородок, как у самого Кендыка, но только все темное, траурное. Черный печальный человек садится близко, около самого Кендыка.

— Ах,— говорит,— друг,— говорит,— ты, верно, сильно болен. Будем лечить тебя. Хочешь?

Кендык утвердительно кивает головой.

— Ах, ах!— Духи вскакивают и сбрасывают черное платье. И вот они маленькие, как будто корешки,

как железные пестики, светятся насквозь огнем. Маленький человечек держит серебряный ножичек. Другой говорит:

— Вот у него гнилая болезнь, полезай внутрь. Все хорошенько вычисти.

И маленький человечек, не больше пальца, светящийся насквозь огнем, влезает Кендыку в шею, нарядет в опухоль, как будто в подземную хижину. Серебряным ножиком скребет, вычищает, выбрасывает вон. Вот из левой стороны, под шеей, у Кендыка что-то выскочило, убежало. Это был дух болезни. Огненный мальчик высунул руку из кожаной хижины. Это Кендыкова шея. Тянется рука, длинная, огненная. Обтирает о землю прелую болезнь.

И опять человек внутри. Он в правой стороне. Чистит, скребет. Шея у Кендыка ноет, зудит под его беспокойными пальцами, даже сердце вздрагивает от нестерпимого зуда. Боль в шее переливается, как будто вода.

Кендык не может больше терпеть. Ах!.. Он просыпается с криком. Все та же палата, спокойные и белые стены, в стаканчиках сияющее молоко, под самым потолком. Духов никаких. Ни малых, ни больших, ни огненных, ни черных, ни серебряных ножей, но в шее у Кендыка, действительно, зудит, переливается жидкая боль.

«Тьфу!.. тьфу!.. Шея болит,— соображает Кендык.— А духов-то и не было. Сонное мечтание. Комната есть, она никуда не уходит, сплю ли, пробуждаюсь ли. А духи—мечтание. Когда видеть не могу, они словно здесь, когда видеть могу, их никогда нету... Нет никаких духов»,—Кендык отрицательно качает головой.

На другой день Кендык чувствует себя лучше. Он глядит на товарищей уверенным взглядом. Лицо у ненца синее и страшное, как будто у утопленника. Только глаза живут.

«Не будет жить»,— думает Кендык и качает головой.

Беленький лопарь все харкает в свой чугунный стаканчик. Он такой хрупкий, замученный, как увядший

цветок. Кендыку жалко Михаила. В его стропливой душе загорается гнев.

«Зачем эти болезни? — спрашивает он мысленно. — Откуда они, для чего они? Кто их создал?»

— Кто создал болезни? — спрашивает он громко, вслух.

Соседи молчат. Живые глаза на мертвенно-синем лице мучительно щурятся. Мартынов сплевывает в чугунный стаканчик.

— Кто создал мир? — спрашивает Кендык.

Вопросы его восходят к зениту мироздания, как будто по лестнице. Вот он поднялся к основному вопросу вопросов, который тысячи и тысячи лет задают себе люди.

— Кто виноват?

Глаза Михаила вспыхивают лукавым огоньком.

— А сам ты как думаешь? — спрашивает он в свою очередь. — Кто создал мир? Духи?

Кендык качает головой.

— Нету духов.

— Ну, дух, — поправляется лопарь. — По-русскому «бог» говорят.

Кендык отрицательно качает головой.

— Бога не знаю, — упрямо отвечает он.

— Ты вот не знаешь, — продолжает Михаил таким же насмешливым тоном. — А я, может, знаю. Хочешь, скажу? Бог будто добрый, говорят. Я доброго не знаю, не видел. Волки злые. Гнусь¹ тоже злая. Голод, болезни, да мало ли, — все злое. А люди того злее. Русские исправники, лопарские старшины. Хотя и называются «старшины», будто добрые, свои, а все равно злые, чужие. Финские скупщики, русские скупщики, зырянские хозяева, лопарские хозяева, один другого подлей и злее. Кто создал злое? От доброго злое не выйдет. Оттого я скажу: мир создал никакой не бог, мир создал злой дух, злые духи, один или много, не все ли равно. Один, да большой, хуже, чем много, да маленьких. Вот был царь русский. Звали его Солнеч-

¹ Г н у с , г н у с ь — комары, мошки, оводы.

ный Начальник, а был он, как темная ночь. Вот это и был злой дух. Злые духи создали болезни.

Кендык упрямо качает головой.

— Нет, нету духов. Ни злых нету, ни добрых нету.

Эти странные мальчишки ведут философский спор, как некогда Иов со своими друзьями Елифазом и Софаром, но только метод их суждений иной, чем у Иова. Иов от земли поднимается к небу, они от небес стараются спуститься на землю.

— А люди злые,—напоминает Мартынов.— Начальники, торговцы, шаманы.

Кендык презрительно фыркает.

— Что шаманы, так себе, мразь! Хозяева хуже шаманов.

Наступает молчание. Кендык думает тяжело и упорно. В голове его словно вращаются грузные жернова.

— Люди злые есть,—говорит он резко.— Злые богачи,—все богачи злые. О них надо думать, а на духов не свертывать. Их надо колотить. Духи улетают, а люди, небось, не улетят. Духов в караулку не посадишь. Под замок не запрешь. А купца и запрешь и посадишь, за милую душу.

Лопарь широко усмехнулся и кивнул головой.

— Мы сами сажали. В позапрошлом году после ярмарки. У нас были меха, у них была, конечно, водка. Они нам поднесли, отуманили, забрали песцов и лисиц почем зря, почем попало. Наутро мы встали,—зло такое, ни мехов, ни товара, шумит в голове, жжет внутри, опохмелиться нечем. Однако времена не прежние. Пошли мы к купцам, сразу, всем табором. Они говорят: «Вы куда?» А мы говорим: «Вот куда!» Взяли за белые ручки, как в песне говорится: «Один ведет за левую, другой ведет за правую, а третий в шею бьет». Вывели их вон, завели в караулку, закрыли замком, потом все дочиста взяли: ихние товары и наши меха. Все под гребенку, начисто. Кстати же нашли, заодно, жидкой немного, чтоб опохмелиться. Стало в голове яснее, в глазах веселее. Суглан собрали. Что будет делать с мехами и с товарами? Кто кричит: делить! Кто кричит: продать! Еще раз продать. А потом видно будет. А Мишка-матрос говорит: «Этак не-

ладно. Давайте, сделаем на обе стороны. Половину отберем и поделим, каждому пай, и делай, что хочешь, хоть тем же купцам другой раз продавай. А половину положим, будем строить артель, купим сетного товару, нитей, конопли, сети свяжем, лодки выменяем, устроим общий промысел. Вот тогда из злого выйдет действительно доброе.

— Вот видишь,— сказал Кендык и тоже усмехнулся.

— Вижу-то я вижу,— сказал Михаил,— а только я вижу не все. Ну, пусть по-твоему, злость от людей,— ну, а болезнь откуда? Вот я здоров, хожу, бегаю, и вот сразу болен. Откуда болезнь?

Кендык подумал.

— Болезни от заразы,— сказал он веско, но не очень уверенно.

— А зараза откуда?

Кендык молчал, не зная, что сказать.

— Спросим у доктора,— предложил Михаил.— Он скажет.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Доктор, скажите, что такое болезнь?

— Какая болезнь?

— Да моя болезнь,— ответил Михаил.— Съела она меня.

— Ваша болезнь от микробов,— сказал доктор.

— А что микробы?

— Бациллы,— сказал доктор.

— А что бациллы? Все слова такие непонятные.

— Мелкие такие бациллы... Вот головастики бывают, мошकारа. Бациллы в сто раз меньше. Вот я покажу вам. Есть у меня микроскоп, машина такая, стекло, чтоб видеть все самое мелкое.

Михаил и Кендык стоят над микроскопом. Михаил, прищурившись, заглядывает в объектив. Там видны точки и черточки, действительно, вроде головастиков, они бегают взад и вперед, толкая друг друга.

— Разве не духи?— спрашивает Михаил задумчиво.— Мелкие, живые, заразная болезнь.

— Нет, иные,— возражает Кендык,— не духи, а тела. Такие червяки поедают человека и тем размножаются.

— Духи тоже размножаются,— возразил Михаил.

— Этих головастиков, бациллу можно убивать.

— Духов тоже можно убивать,— настаивал Михаил.

— Как же тебе объяснить? — пришел в затруднение доктор. — Духи — это чудесное, такого не бывает. А бациллы — простое, зверюшки такие, букашки. Бывают большие буканы и маленькие букашки, вот и вся разница.

— Ну, а болезни при чем? — спрашивает Михаил.

— Болезни бывают от грязи,— сказал доктор. — Помни сам и других постоянно научай. Первое. Руки мой, лицо мой. Второе. Ходи часто в баню. Третье. Не плюй на пол. Четвертое. Проветривай спальню. А если заболеешь, иди к доктору, он даст тебе лекарство.

Доктор словно читал на-память пункт за пунктом из санитарного плаката. Метафизический вопрос о сущности жизни и болезни, заимствованный у Иова, он свел к практическим правилам гигиены человеческого тела.

Доктор ушел. Часы пробили одиннадцать.

— А в этом есть ли дух? — спросил Михаил с колебанием в голосе.

— Нету! — ответил Кендык попрежнему уверенно. — Хотя и зовется по-чукотски «сердце-стукалка», а сердца никакого нет, только медные колесики. Я знаю, я разбираю и опять собираю, и ружье разбираю и опять собираю. Часы разобрал и испортил, перестали стучать, уж что я ни делал: и раскачивал, и пальцем толкал, об столешницу стучал,— нет, перестали. Ружье разобрал — не стреляло, а собрал — застреляло опять лучше прежнего.

Пальцы Кендыка, до сих пор не умевшие управляться с чернилами и перьями, имели способность возиться с механизмами, и притом с самыми мелкими: с колесиками у часов, с пружинками и курками ружей. Он описывал своему товарищу Михаилу свои изыс-

каний в механике, отчасти далеко на Севере, в полярном Родымске, отчасти в Ленинграде, в ИНСе.

— Кто знает,— опять усомнился Михаил.— В наших рабочих вещах есть духи такие, работники, а это вещи русские, может, и духи русские. К нашим духам русские духи ничем не касаются.

— Какие рабочие вещи? — спросил с удивлением Кендык,— и какие в них духи?

— Ловушки, например, капканы, кляпцы...

— Капканы железные, русские,— объяснял терпеливо Кендык,— они хватают лисицу за лапу, как будто зубами. А кляпцы деревянные, с крепкими зубьями, бьют сверху вниз, как раз по голове. Кусают и ловят, бьют и убивают. Для чего еще духи?

— Ну, в лодке, например,— настаивал лопарь.

— Лодки тоже бывают разные,— возражал Кендык,— русские вельботы килевые и наши плоскодонки. Те и другие работал человек, а зачем еще духи?

— Вот видишь, я тебе скажу,— начал Михаил.— Товарищ рассказывал, приезжий с морских островов. Черный такой, алеут, говорят. Кругом островов — море, бурное такое, пристаней мало, и не лодки у них, челноки легкие, обтянутые кожей. Кожанку наденет и в лодку залезет, как будто в корзину, по ободу обвяжется ремнем, и выходит вроде пузыря, потом выгребает в открытое море, как будто гагара. Вот было раз: выгребли двое — двоюродные братья, у каждого челнок. Стали тюленей гарпунить. Левый — одного, а правый — другого. И опять: левый — одного, а правый — другого. Ветер, погода, чуть весла из рук не вырывает, а они не замечают, колют тюленей, и только. Вот вырос ветер. Был сначала, как маленький мальчик, а потом стал подросток, а там сделался крепкий и грозный охотник. И охотится ветер вовсе не на тюленей, охотится ветер на людей, на бойких охотников, братьев-алеутов. Алеуты — на тюленей, а ветер — на самих алеутов.

«Вот стал их осиливать ветер, рвет кожанку с плеч. Распоролась передние полы, захлестывает в обод челнока соленая вода, погибают охотники. Тут

бросили тюленей и взмолились алеуты. Взмолились не ветру, не солнцу, собственным челнокам взмолились: «Выручите из беды!» Один говорит своему челноку: «Брат, спаси меня. Зачем на погибель отдаешь?» И челнок отвечает: «Правда, воистину, брат и товарищ по жене. Когда ты прощался с женой и брал ее мягкие руки, потом надевал рукавицы и шел ко мне, тогда ты снимал рукавицы и теплыми руками хватался за борта мои. Итак, мы делили по-братски единственную радость от нашей подруги-жены. Ты верный товарищ, и я спасу тебя».

«Тут и другой алеут взмолился челноку: «Брат, спаси меня. Зачем на погибель отдаешь?» А челнок отвечает: «Нет, я не брат тебе. Братниной части не имею и доли не имею. Когда ты прощался с женой и брал ее мягкие руки, потом надевал рукавицы и когда приходил, хватался рукавицами за мой твердый борт, и я от тебя ничего не получал: ни ласки, ни привета. Ты злой брат, я не спасу тебя».

— Занятная сказка,— сказал снисходительно Кендык,— а что из того?

— А то из того,— ответил Михаил,— что духи не только запрятаны в лодках, в челноках, сами челноки тоже такие духи.

Кендык усмехнулся опять.

— Ну, давай пересчитывать наши рабочие вещи — ножик, топор, строгальный ножик, скребок, скобель, большое сверло, малое сверло,— есть духи в них?

— Не знаю, есть, нет...

— Теперь русские рабочие вещи: в них есть духи?

Михаил развел руками:

— Есть, должно быть, особенные духи, русские, они к нашим не касаются. Живут себе рядом, друг друга не знают.

— Ну, давай пересчитывать дальше: громкоговоритель, например, радио, кино.

— Кино... знаю,— отозвался лопарь,— мелькающие тени.

— Двигатель на лодке, паровоз на железной дороге. Все это с духами, или так себе, пусто?

— С духами, наверно,— сказал Михаил неуверенно.
— Пустяки,— отозвался Кендык.— У русских инструменты есть и ловкие руки. Не духи сделали. Сделали русские руки.

— Я не понимаю,— сказал Михаил беспомощно.

— Как не понимаешь?.. Сделали на русском заводе русские рабочие. Рабочие знают, как делать, они всемогущи.

— Ну, а амулеты? — спрашивал лопарь.— Когда я уезжал, мама надела мне на шею вот эту ладанку. Кто знает, что в ней. Должно быть, «хранилка».

— А ну, покажи, какая хранилка, из чего, для чего? Доставай амулет.

Лопарь довольно неохотно, не спеша, вытащил из-за пазухи черную, засаленную ладанку, растянул шнурки и вынул белую косточку. То был медвежий зуб, выточенный в виде человеческой фигуры.

— Вот мой защитник,— сказал лопарь храбро, но вместе с тем смущенно.

Кендык покачал головой.

— Ты такой крупный, он такой мелкий,— сказал он.— Как может мертвая косточка защищать такого долговязого, большого человека? Малое не может защитить большое. Скорее настоящий человек защитит эту малую белую беспомощную косточку.

— Нет, все-таки я не знаю,— уклонился лопарь.

— Ну, а в спирту, например, или в водке есть духи? — насмехался Кендык.— А ежели есть, то какие? Русские? Наши?

— Русские, конечно! — крикнул неожиданно синелицкий ненец, поднимая с подушки свою отяжелевшую голову.— Водка страшнее заразы. Русские торговцы заразою нас убивают, а добро детям оставляют. А вот спиртовозы сначала обирают, а потом убивают, и так обернут, что не то что детям, покойника не на что похоронить.

Кендыка странно задел этот грубый разговор о спиртовозах и водке.

— Полно молоть. Сами выпиваем. Русских грабителей вини, да и себя не обходи... Нет, лучше вы скажите про легучее судно,— начал он опять, возвраща-

ясь к прежней темѣ о русских мѣханических новинках. Ибо летучее судно — железная птица — его занимало больше, чем все остальное. — Что в нем?

— Я вам скажу, — отвечал синелицый ненец. — По-нашему, какая ни бывает рабочая вещь, кто ее ни делал, наши или русские, а все-таки что-нибудь есть: не духи, так другая чертовщинка. У нас, например, что бы ни купили у русских — моторную лодку, винтовку, — непременно в середку привяжут ремешок, на ремешке что-нибудь мелкое: зубок или буса, или кисточка. Это выходит амулет, маленький хранитель. Без этого ружье не стреляет и лодка не ходит. Стало быть, к русскому духу наши прилаживают свой собственный костяной талисман.

Кендык покачал головой.

— На что бы к большому прилаживать малое? — повторил он все с тем же упорством.

Через две пятидневки поправился Кендык. Опухоли сжались, раны закрылись, и шея у него стала крепкая и верткая, как прежде. Но одна неотвязная мысль ему не давала покоя.

— Теперь можешь выходить, — сказал ему доктор. — Иди себе на прежнее место, но только смотри, не хворай. Не надо хворать. Это зависит от хотения. На том укрепишься, что не стану хворать, не хочу, а буду здоровым.

— А я вот что попрошу, — ответил Кендык. — Мне надо летучее судно. Если зависит от хотения, так я летать хочу. Там, вверху, я поправлюсь и больше не буду хворать.

Доктор посмотрел на него с удивлением.

— Ты странный мальчик. Ну, пусть по-твоему. Я позвоню, куда надо. Пускай тебя по верху повозят на воздушном извозчике.

Рано на рассвете, еще не забрезжило утро, за Кендыком приехала машина. Его вывели, как большого начальника, посадили в крытую повозку на катках, на мягких и гладких подушках.

Тррр... затрещала машина, ринулась вперед сама, без коня, без собак, без оленей. Она летела так быстро, что порой словно отделялась от земли, и Кендыку казалось, что он уже летит в вышине.

Выехали на гладкий, открытый простор, подлетели к ограде, сердито заскрипели ворота. Кендык покатил по дороге. В ограде стояло четыре огромных сарая с железной двускатной крышей. Летучую птицу уже выводили из двери. У ней было крепкое подтянутое тело и жесткие крылья, растопыренные влево и вправо. Вся она была как будто железный кузнечик огромного роста, в тысячу раз больше простого полевого стрекуна. Вышел из сарая человек в шапке, в огромных очках, затянутый в меха, шерстью наружу, как раз как одеваются на Севере.

Кендык неспешно подошел к пилоту.

— По-нашему оделся,— сказал он одобрительно и похлопал его по плечу.

Летчик немного подумал.

— Ты, я слышал, северянин,— сказал он.— А на Севере холодно. Но там, в небесах, еще холоднее, чем на Севере, и как же нам иначе одеваться? Ну садись.

Под брюхом у птицы открылась узкая дверца, и Кендыка в его северной шубе, тоже шерстью наружу, не без усилия протолкнули внутрь аэроплана.

Комната была маленькая, низкий потолок, но такие же мягкие кресла углом, как в бегущей машине-самовозе. Кендыка усадили на сиденье, затянули ремнем и сказали:

— Теперь держись за поручни, ничего не бойся, не думай, что ты упадешь.

Кендык сел, напряг свое тело и приготовился бороться и страдать.

И вот машина плавно отделилась от земли и взмыла вверх, как будто по невидимой дороге. Кендык увидел, как внизу дрогнула земля, стала валиться в глубину, как будто из огромного ящика вышибли дно и вместо дна была эта земля в глубине. Птица летела вперед, и земля проходила под Кендыком, как школьная карта. Он видел громады домов и улицы меж ни-

ми, как будто сухие каналы. Потом город уплыл в глубину и назад, под Кендыком открылись реки и озеро, и леса, и гладкий серый загиб морского залива.

Аэроплан сделал огромный круг, километров в двадцать в ширину, вернулся назад и повис в вышине над своим собственным сараем, как ястреб висит над добычей, потом он стал снижаться и скользить по такой же прямой и незримой, как будто аллея, дороге.

Мягкий толчок, аэроплан толкнулся колесами о землю, подскочил, толкнулся опять и плавно покатил по укатанному полю. Летчик как ни в чем не бывало вылез из будки в широких мехах, с теми же лягушечьими стеклянными глазами.

Кендык вышел из кабины, шатаясь. У него с непривычки сосало под ложечкой, и земля уходила из-под ног и валилась в бездонный и черный ящик. Голова у него кружилась, и было странное сознание. В нем было две души, два ума, словно два отдельных Кендыка: один удивлялся и даже ужасался, как будто побывал в царстве какой-то летучей сказки, словно шаман улетал к духам и вернулся назад как ни в чем не бывало, проснувшись от мертвого сна. А другой Кендык говорил себе:

«Чему удивляться, это ведь не птица, не летучий дьявол из шаманской сказки, это железо и холст, и дерево, и белый алюминий. Это сделали руки, это сделали люди — рабочие. Не духи всемогущи, а люди всемогущи. Не шаманы чародеи, а рабочие, вот это чародеи, они перестраивают вещи по-новому, строят из железа летучую птицу, живую, как кузнечик, а в сущности совсем не живую, как будто заводная игрушка на твердой пружине, как будто воздушный волчок, который закрутился на земле, подпрыгнул и унесся в вышину.

Рабочие мир перестроят, и мир помолодеет, как молодела земля внизу, под крылатым челноком, и умчится вперед, как умчался железный кузнечик, уносивший вперед Кендыка вместе с его другом в меху и в лягушечьих очках».

На окраине невской столицы, на улице широкой и довольно пустынной, заваленной снегом, протоптанным только посредине пучками накатанных колес, начинается ристалище, невиданное, неслыханное. Можно подумать, что Нева превратилась в Шодыму, а огромный беспокойный Ленинград — в далекий многоснежный неведомый Родымск.

Впрочем, в настоящую минуту улица совсем не пустынна. По обоим тротуарам построились рядами любопытные зрители. Из-за поворота доносятся звонки и грохот трамвая. Это подъезжает эшелон за эшелонем все новая публика. Открывается начало звездного собачьего пробега, устроенного Осоавиахимом. Участники выстроились в ряд. Все нарты разномастные, собаки разношерстные. Немецкие ищейки и овчарки, привязанные парами, на длинных ляшках, обиженно оглядываются на хозяев-ямщиков. Ни деды, ни прадеды этих гладкошерстных грудастых собак никогда не царапались вперед по снежной дороге с грузом позади. Подумайте, с грузом, привязанным на нарте с дубовыми полозьями!..

«Ведь мы вам не лошади», — обиженно думает овчарка Стрела и косится слегка на хозяина. И все же натягивает послушно и угрюмо широкую ляжку из мягко выделанной кожи.

«Пусть будет по-вашему, — пожимает она мысленно плечами. — Хау, хау, хау, лошади — так лошади. Может, вы прикажете нам на воздух взлететь, как будто мы вороны или галки, или аэропланы? Пусть будет по-вашему. Хау, хау».

Хозяин-ямщик, высокий, худощавый и сильный, снизу одетый по-спортивно, а сверху — по-военному, решительно взмахивает бичом. Настоящие упряжные собаки азиатского севера не знают ни кнута, ни бича. Они повинуются крику, словам, человеческому голосу. Но этот дрессировщик — скептик по натуре. Он не верит собачьей добродетели, благонадежности психических воздействий и больше надеется на свой креп-

кий кулак и на гибкую кусающую ленту, свитую вше-стеро из крепкого ремня.

Рядом с немецкими собаками — енисейские серые лайки. Они совсем другие, косматые, разлапистые, а упряжка у них небывалая, какая во сне не приснится. Тело обвязано поясом, поясным хомутом, от хомута идут две постромки, слева и справа, и больше ничего. Собака тянется вперед, цепляется передними лапами за скользкие неровности дороги, а нарту везет лишь задней половиною тела, задними ногами, крупом и поджатым животом.

«Кух, кух!» На амурских собаках вылетает вперед Лыков, любитель-турист в оленьем балахоне, в высоких торбасах-щеткарях, на руках — рукавицы из камуса, на затылке — малахай из лисьих лап, подбитых тоненьким выпоротком.

Для людей любознательных могу пояснить: торбаса — это сапоги, шитые чаще всего из оленьего камуса — лапы. Щеткарями зовутся они, если подошвы у них сшиты из жестких оленьих щеток. Вырезаемые у оленя на выделку подошвы щетки — это подушечки, находящиеся между четырьмя широко растопыренными копытцами каждой ноги его. Из шести щеток выходит одна подошва. Выпороток — шкура молоденького оленьего теленочка.

«Кух, кух, кух!..»

Кендык каркает по-вороньему и плавно выезжает направо, объезжая одного за другим всех своих растрепанных соперников. В сущности, только он один умеет по-настоящему ездить на собаках. Собаки у него камчатские. Их привезли за тридевять земель сперва на пароходе морском, потом на пароходе речном, потом по железной дороге, в телячьем вагоне. Кормили их кониной, собачьим сухарем, не давали ни рыбы, ни оленины, — пищи, к которой они привыкли смолоду. Собаки терпели, терпели и вот, наконец, у села Тулуна, которое, впрочем, сделалось ныне городом Тулунском, собаки неожиданно и коварно вырвались на волю. Некстати подвернулись поля и луга и стада большого животноводческого колхоза, расположенного подальше Тулуна. Собаки напали на телят и козлят,

на кур и гусей, даже на больших круторогих, лобастых быков.

Собаки рассуждали: козлята с телятами — это законная дичь, предназначенная для лова каждому охотнику: двуногому или четвероногому.

Правда, и птица, и телята пахли как-то по-иному, не по-вольному, с привкусом палого листа и легкого степного ветерка. В этом здешнем запахе был оттенок дыма, человеческого дома. Гуси и телята пахли человеком, изгородью, пастухом. Но собаки не хотели разбираться в этих тонкостях. Дичь улетала, убегала, с криком, с гагаканьем, с бляеньем; они догоняли, хватали, кровавили, грызли. В результате оказалось штук пятьдесят попорченной птицы, штук десять копытного молодняка с вырванным боком, с перегрызенным горлом.

Круторогие быки оказались, однако, поопаснее родымских и камчатских бычков, с виду таких маленьких и слабых, совсем будто игрушечных.

На собачью атаку быки ответили стремительной контратакой, и бурый бородатый пятилеток в одно мгновение подхватил на рога белую камчатскую Иглу, которая шла в передовой упряжке, подкинул ее вверх на добрую сажень, потом припечатал ее своими тяжелыми копытами и пришил ее рогом к земле.

Все же потом пришлось собачьему отделу Осоавиазима разбираться с колхозом, сначала третейским судом, а потом настоящим советским и в результате заплатить увесистый штраф за кур и за гусей, за телят и за козлят и даже за расстройство обмена веществ у больших круторогих лобастых, бокастых колхозных быков.

Ибо колхозный поверенный утверждал, что бокастые быки от гнева и от страха перестали есть, как прежде, спали с тела и получили большое расстройство желудка.

Впрочем, эта история случилась с полгода назад, когда собаки имели еще частичку камчатского жира и камчатской развязности. Теперь они привыкли ко всему: к множеству запахов, которые сливаются, пересекаются на каждом ленинградском перекрестке, к

собачьим сухарям и объедкам из столовых, возбуждавшим недавно тошноту, к ошейникам, к намордникам, к сырому помещению в подвале, куда никогда не заглядывает солнце, также заодно к ленинградской зиме, бессолнечной, темной, гнилой, мокро-снежной, мерзло-талой.

— Кух, кух, кух! — каркает Кендык по-вороньему: — ой, ворон, ворон, ворон!

Никакого ворона впереди нет, ни зайца, ни лисицы, ни даже какой-нибудь вольной собаки без привязи, без намордника.

Передовая собака Голова, заместившая убитую Иглу, нервно поводит носом налево и направо и оглядывается с упреком на своего молодого хозяина.

«Проклятая дорога», — можно прочесть в ее огорченных глазах.

Дорога действительно ужасная. Вся она истоптана, испещрена конскими копытами, человеческими каблуками, резиновыми шинами фордов, линкольнов и амо, и приходится бежать нежным и чувствительным собачьим лапкам по этим пересеченным ухабам.

А между тем там, на родине, если через собачью дорогу, накатанную гладкими полозьями совсем до зеркального блеска, если через нее переступит конский караван или даже единственная лошадь, расседланная и отпущенная на волю, сейчас же начинается чуть не скандал. Если караван был купеческий, то купца догоняют на тундре и берут с него штраф, на вольных коньков учиняют настоящую облаву, — если придется, хладнокровно застрелят конька, мясо съедят и только шкуру отдадут небрежному хозяину.

— На вот тебе шкуру, в другой раз стереги лошадей своих получше.

По пересеченным дорогам упряжные собаки сбивают себе пальцы до крови, начинают хромать и ложиться, и их приходится обувать в особенные кожаные круглые сапожки.

— Подь, подь, поца! — Кендык погоняет своих скакунов по-русски и по-одунски.

И, как это выходит всегда у хорошего, искусного каюра-ямщика, собаки понемногу втягиваются, друж-

но налегают на построжки, легонько повизгивают и потом переходят от легкой побегки «хлынью», рысцой, на хорошую долгомерную, рысистую езду. Голова даже не оглядывается. Она ведет свою свору собак, ей много заботы, чтобы не дать им спадать с быстроты. На всем ходу она подносит к зубам переднюю правую лапу, дергает зубами кожаный сапожок или, точнее, чулочек, но кожа слишком жесткая. Собаки ненавидят эту насильно навязанную обувь и постоянно стараются срывать ее зубами на ходу.

Обувь завязана крепко, и сразу не сорвешь. Голова широко разевает рот, хватает зубами снег, опускает лапу на землю и, словно со вздохом, бросается вперед.

Проходит полчаса, потом час. Из двенадцати упряжек три выскочили вперед, и до сих пор неизвестно, кто кого одолеет. За Кендыком тянется любитель-турист, собаки его крупнее и сильнее мелких камчатских собак. Они лучше накормлены, за ними смотрят, их лечат.

Третья нарта — это длинноногий инструктор Осо-авиахима. Он вышколил свою полудюжину овчарок совершенно драконовскими мерами и гонит их вперед, не давая им ни охнуть, ни вздохнуть. Ноги его, воспитанные спортом, не уступают, пожалуй, ногам Кендыка, натренированным на промысле, на зимнем извозе, на тяге груженных салазков, которые летом и зимою тяжело и упорно волочатся сзади.

Инструктор щелкает длинным кнутом, совсем как пастух. То хлопнет над самым ухом у левой поджарой, остроухой, то хлопнет сразмаху крайнюю правую, седую, в подпалинах, словно кипятком обожжет, а потом опять кнутом, — небо с овчинку покажется.

Оттого его овчарки тянут, бегут, не сдавая; пожалуй, помрут на дороге, задохнутся, и сердце надорвется, но они не хотят отставать от двух передних.

Еще час прошел, а проехали мало, всего километров восемь. Собаки устали, требуют отдыха, хотя бы привала. Кендык сразмаху колотит тормозную палкой

о верхнюю стоячую дугу, звенят колокольцы и бу-бенцы.

— Вот я вас! — кричит в исступлении Кендык. — Я вам покажу отдыхать!

Лыков, не желая отстать, решается на более рискованное средство. Он, в свою очередь, колотит о дугу окованной палкой, потом поднимает свой тормоз и сразмаху бросает его прямо по дороге, наметив спину правой упряжной из третьего кольца.

Этой собаке тянуть надоело, и она звонит, то есть слегка опускает постромки, так что железный вертлужок, скрепляющий ременные концы и зацепы, начинает чуть слышно позвякивать.

Другие собаки глядят на нее исподлобья и как будто сердятся: «Видишь, какая ленивая».

Лыков искусно и легко подхватывает палку, трясет ею в воздухе и снова бросает в ленивых собак. Он нацелился хуже, чем прежде, и вместо правой упряжной третьего кольца попадает в левую.

Левая собака на ходу хватается за плечо виноватую правую, глубоко запускает свои белые острые зубы, дескать, «свои собаки — сочтемся». Лыков подхватывает палку с той же удачей, что и раньше, и снова бросает вперед. Он попадает, однако, не в третье, а в четвертое кольцо. Собака, получившая удар, быстро оборачивается, кусает виновную подругу и снова несется вперед. Собачий ямщик имеет право попасть своей палкой в любую из шести собак. Пара виноватых, пара впереди и пара позади. Собаки на ходу восстановят справедливость, ничуть не ослабляя быстроты и сплоченности.

«Гонк, гонк, гонк...» — это настоящий живой ворон гонкает сверху на усталых, охромелых собак. Лыков опять бросает палку так же, как прежде, слепо, неукротимо, но на этот раз совсем неудачно. Он попал в спину правой собаки из пятого кольца и этим нарушил неписанный устав ездовой конституции.

Пострадавшая собака бросается назад и хочет уку-сить виновницу через четвертое кольцо. Начинается путаница. Три пары собак перепутываются, перепле-таются постромками и, наконец, образуют какой-то

бесформенный ком, шесть голов вместе, шесть туловищ, как спицы колеса, и шесть хвостов торчат в разные стороны, как будто рукоятки.

Лыков останавливает нарту, потом опрокидывает ее в снег. Ему предстоит неприятная задача — распутать все эти постромки, подпруги и ремни.

Он принимается за дело, упорно и жестоко колотит своей круглой березовой палкой и правого, и виноватого, всех собак вместе и каждую порознь.

— Если будете путаться, так я вас еще не так!..

Кендык впереди широко улыбается. Назойливый соперник сошел со счета и уже не представляет особой опасности.

— Го-го-гок, гок, гок...— инструктор. Осоавиахима гаркает на собак, как будто на охоте с борзыми.— Тяните, тяните,— настаивает он,— ах, так, так, так...

Он угощает собак отборным, крупным русским матом.

Собаки справились, натянули постромки и опять догоняют Кендыка. В конце концов, быть может, в Советском союзе появится новая езда на немецких упряжных овчарках, нисколько не хуже, чем на андырских, камчатских или гижигинских псах.

Спуск. Подъем. Опять спуск, довольно крутой и длинный-предлинный, конца даже не видно.

На спусках надо тормозить, не то нарта наедет на собак и перекалечит их, но Кендык вместо того встает, гикает, и собаки, как угорелые, чуть не кубарем несутся вниз по утопанной тропинке.

Осоавиахимщик решил не уступать. Он тоже встает, гикает и гонит собак.

И вот в половине спуска опять поворот, и довольно крутой, направо. Кендык проскочил, а инструктор дал маху, наехал на задних собак. Толстобрюхая Кото завизжала, как зарезанная. Он отдавил ей сразу обе задние лапы. Нарта и собака сцепились вместе и покатались под гору с лаем, с грызней, с дерганьем влево и вправо без всякого толка.

Кендык остался один, без соперника, ибо другие участники словно сгибли бесследно. Ни слуху, ни духу. Кендык, в свою очередь, даже гнать перестал. Он садится боком на нарту, болтает ногами и только

слегка понуждает¹ собак. По привычке он поет даже негромкую песенку, так себе, о чем попало, что в голову придет.

Бегите, собачки, бегите,
Нам ночлег недалеко.
Мы скоро приедем,
Поедим, отдохнем.
А те никогда не приедут,
Никогда не догонят.
А затем, чтобы им отдохнуть,
Пускай лучше вернуться обратно.

— Ух, ух!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Была северная смычка. Смыкались все три северные учебные заведения: ИНС (Институт народов Севера), Северное отделение педвуза имени Герцена, Северное отделение ИЛИ (Институт лингвистики и истории). В ИНСе были северные туземные студенты, у Герцена — северные учителя, настоящие и будущие. Настоящие уже были три года на местах, на тундре, в тайге, и приехали сейчас в Ленинград получить переподготовку. Будущие учителя на местах еще не были. В ИЛИ были северные литераторы, издатели северных газет на туземных языках. Эти газеты не выходили в свет, но будут выходить. Впрочем, и редакторы тоже еще в начале работы, им придется учиться, пожалуй, до конца пятилетки..

Это вечер смычки, пения, пляски, веселья.

На сцене хор ИНСа, юноши и девушки. Гольды и ульчи, эвенки и ороконы, все варианты одного и того же племени. Коряки и чукчи, остяки и вогулы.

Попрежнему взяли шаманский костюм из музея Академии наук, попережнему Ваня Путугир шаманит, стучит колотушкой в бубен и прыгает высоко, как козел. Но шаманство отнюдь не настоящее, даже не театральное. Оно вырождается и падает.

Три года назад, если туземные студенты начинали

¹ Погоняет (северно-сибирское наречие).

шаманить, их было не остановить. Два-три часа прыгают и колотят. Ведь они должны взвинтить свои нервы, почувствовать в конце концов, что они действительно шаманят, что в них кто-то вселился, дух не дух, что-то вроде этого.

После того на местах окреп молодняк, и нажим на шаманство получил довольно серьезный характер. Шаманы стали часто отречься от всех своих духов и отдавать сельсоветам и рикам свои бубны и кафтаны и подвески. Шаманство начало постепенно вырождаться, но несколько самых лукавых, прожженных, продувных искусников шаманской работы забрали кафтаны и бубны и укатили в Москву и Ленинград. Здесь, в союзе с артистами театра, под наблюдением ученых, они стали выступать на сцене, как настоящие актеры. Они делали разные фокусы и трюки. Выпьет для храбрости штоф водки и после этой зарядки начинает носиться по сцене, как будто резиновый.

В это время шаманство стало уже только театральным искусством. Публике было интересно видеть воочию того самого алтайского кама (колдуна), который когда-то служил и духам, и богам, да и местных кулаков и князей тоже не забывал. Теперь начался период вырождения шаманства. Сеанс на сцене длится десять минут, шаман неистовствует с палкою над бубном, а хор распевает во все горло новую шаманскую песню:

Не будем шамана кормить,
Не будем шаману платить,
Не будем шамана слушать.

Антирелигиозная часть программы кончилась. Начинается вторая часть. Туземные нации построились, разбились на естественные хоры и стоят наособицу, отдельно друг от друга.

Гиляцкая девушка вышла вперед. Голову склонила так томно, так печально и запела одинокую песню:

Пошла за ним по берегу, осталась.
Он греб на лодке, я шла пешком.
Моя левая слеза упала на мой левый подколенок.
Моя правая слеза упала на мой правый подколенок.
Утром, пробуждаясь, и вечером, засыпая, тебя вижу.

Ты вспоминаешь ли меня?
Платок мой взявши, нюхая, вспоминай меня.
Мой тельник в руки взявши, нюхай, вспоминай меня.
Утром, не видя тебя, тоскую.
Вечером, не видя тебя, плачу.
Без тебя не живу, не помираю.
Помни меня!

Чукчи заводят коллективную пляску северного побережья. В ней должны поочередно участвовать люди всех зверобойных поселков, от мыса Дежнева до мыса Чаплина.

Нууканцы били в бубен,
Парни били в бубен,
Уэленцы пели,
Толстоголосые пели.
Яндранайцы били в ладоши
Крепкими руками.
Уназикцы плясали,
Девушки плясали,
Молодые плясали.
У них ножки в гладком мехе,
Как у молодой важенки.
У них спина в гладком мехе,
Как у легкой важенки.
Ух, ах, ах, ух...
Мои кости стали мягки,
Словно печень на огне.

Вогулы запели частушку. Молодая белокурая лопарка, с виду похожая скорее на шведку, тонким задумчивым голосом запела тихонько:

Взгляды его глаз на мне, гой, гой!
Сердце плавает, тает, как лед в огне, гой, гой!
По тихому течению, спускаясь, черным платком махая,
Словно в воду нырнул.
Сказал мне, расставаясь: «Не тоскуй,
По тонкому первому льду вернусь я назад».
Пока лиственные иглы не пожелтеют,
Как доживу?
Пока не замерзнет река, как дождусь?
Взгляд его бросил меня, охо, охо...
Сердце мое замерзает, как мелкое озеро, охо, охо...

На другом конце сцены эвенки водят свой круглый хоровод — «охорьё». Они крепко сплелись руками и высоко подскакивают вверх. Вьются по сцене кольцом,

не обращая ни на кого внимания. Вот они сверзились со сцены прямо в зрительный зал, но им все равно. Охорьё, как огромный удав, вьется кругом публики, захватывая в кольца все новые и новые жертвы. Минута — и ползалы пляшут с эвенками, пляшут против воли, бранятся, но не могут выпутаться; еще минута — охорьё неожиданно и ловко выбралось обратно, бросило на полпути всех захваченных и вернулось на сцену назад. Все смеются.

Мелькают все новые северные пары: Бесспорнов с женою, оба черномазые, были в чукотской школе на мысе Восточном и там сотворили маленького чукчонка. Он пищал с утра до вечера. Из учительской двойки стала семейная тройка. Пришлось поневоле вернуться в Москву. В Москве у них не было квартиры, и Комитет Севера нашел им пристанище в пышном отеле для приезжих иностранцев. Комната была действительно пышная, но на бархатной скатерти лежал черномазый чукотский детеныш и хныкал.

Белокурая Иванова — эстонка, — бывают латыши и эстонцы с такими русскими фамилиями, — а замужем она за костлявым ненцем Окодетто, и подруги называют ее теперь Котятковой.

Северная группа на сцене выстроилась в ряд и запекает согласно и громко песню Ильича:

Новый путь, советский путь,
Ком-северный путь, ком-путь.
Этот путь доказал нам Владимир Ильич Ленин..

На смену северянам выступают местные силы. Звонит «Комсомолочка», раздаётся татарская песня:

Ай, ай, ай, ай...

А слов не разобрать...

В толпе студентов проходит странная фигура. Чукотская кухлянка-балахон, длинная до пят, просторная, как океан, меховые торбаса с жесткими подошвами из растопыренных оленьих щеток. На голове огромный волчий шлык, с красными кораллами у стоячих ушей, как будто две капельки крови. В такой одежде можно ночевать на снегу, в пятидесятиграду-

сний мороз, а в зале восемнадцать градусов тепла. Но на сухом лице под коричневой кожей нет ни единой капельки пота.

— Ого, Мительман, — приветствуют его, — скажи нам свое веское слово.

Мительман, не смущаясь, проходит на сцену и тоненьким, пискливым голоском отвечает:

— Ну что же, скажу. Прожил на тундре пять лет, в город вернулся, а в городе сидеть не могу, тесно в городе, в кожаной обуви тесно, в суконных штанах холодно, снег грязный, все грязное. А на тундре-то, на тундре снег мягкий, как пух, еда прямо с поля, убей и глотай. Воля на тундре, а вы словно камнем одеты...

Плясать, плясать!..

Жажда пляса овладела всей многогранной, разнообразною толпой. Пляшут туземные студенты, попрежнему настойчиво, упрямо размахались чукотские пары. Парнишки и девчонки выбрасывают руки и ноги с характерными телодвижениями и поют — так называемое «горлохрипение». Его производят, втягивая воздух снаружи внутрь. Выходит что-то вроде чревопесни.

Одноглазый старик с шишкой на лбу,
С косичкой на затылке,
Плясал и хрипел горлом.
Ух, ах, ух, ах...
Я стал без костей...

Коряки проходят гуськом, неспешно и чинно, держа друг друга за задние хлястики курток, — это они водят «китовый» танец, который устраивается по случаю поимки кита и отличается особой медлительностью.

Вспыхивает пляска славянская, гопак, трепак, краковяк и другие славянские «аки».

Украинская:

Ой, лихо, закаблуки,
Закаблукам лихо дам,
Достанется и передам,
А за тыи закаблуки
Досталось лиха-муки.

Сибирская:

А старухе двадцать лет,
Молодухе году нет,
Три деревни, два села,
Хвостом улицу мела.

Час ночи. Надо итти в общежитие на жесткую койку и поспать хоть немного.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

То, что происходит в этой части повести, еще только осуществляется. Эта часть повести есть рассказ о спасении и воскресении одунского народа, уже погибавшего, но возрожденного могучим воздействием советской культуры для новой жизни, для нового расцвета.

План этого спасения был выработан покойным Карлом Яновичем Луксом, бывшим тогда в полном расцвете силы и ума, но ныне уже покойным, погибшим странной трагической смертью на устье реки Колымы.

На фронте борьбы за возрождение Севера, среди многих людей, характерных и крупных, Карл Янович Лукс был бесспорно одной из самых характерных и самых крупных фигур. Огромный, он возвышался на голову среди уличной толпы, и его железная воля и духовная энергия соответствовали его физической мощи.

Был он родом латыш. Начал карьеру свою батраком у барона на мызе, стал забастовщиком, потом бунтовщиком. В 1905 году, в эпоху первой революции, ушел в лес, стал «лесным братом», устраивал набеги на усадьбы наиболее жестоких помещиков, раздувал своим смелым дыханием погасавшее пламя гражданской войны, был ранен, один раз в ногу, другой раз в лицо, потом попал в плен и отправлен на каторгу.

Каторга была для Лукса, как для многих других, орудием духовной закалки и местом учебы. В тюремных протестах, пассивных и буйных, этот мягкий с виду человек был всегда первым, а в свободные часы он усердно пополнял свое скудное образование.

У него были прекрасные способности и редкая память. Когда в Ленинград из Америки приехал

Ф. Р. Бартон, первый из группы американских этнографов, которая нашла себе приют в Музее антропологии и этнографии Академии наук, он поселился, за скудостью собственных средств, на квартире при ИНСе, в одной комнате вместе с Луксом.

Они говорили на смеси языков английского и русского. Бартон обучал Лукса по-английски, а Лукс Бартона — по-русски.

Через месяц Лукс уже говорил по-английски, а Бартону потребовалось два года, чтобы заговорить по-русски.

Вторая революция освободила Лукса от каторги в Нерчинске. Лукс стал политическим деятелем, а после, во время войны с белыми, стал партизаном, организовывал отряды, был командармом, а потом — командующим фронтом. Взял приступом Читу, где в то время под властью белых были его жена и дети. Для того чтобы они не пострадали, он выступал под другим именем.

Одно время он был наркомом в правительстве буферной республики. Потом, по воссоединении Дальнего Востока с Советским союзом, Лукс перенес свою работу на содействие малым народностям Востока и Севера в их возрождении, духовном и материальном.

Он стал председателем Комитета Севера в городе Хабаровске, руководившего этой работой среди двадцати племен, начиная от гольдов на Амуре и кончая остатком ительменов, природных камчадалов на уединенной Камчатке.

Возрождение народности одунов захватило его воображение, ибо народность одунов на крайнем северо-востоке была некогда самая сильная и многочисленная. Но ей пришлось выдержать первый натиск казаков-завоевателей, мучительный и злобный, и в этой борьбе она потерпела поражение, раскололась на части и стала хиреть и таять. Из последних осколков ее Лукс мечтал воскресить и устроить новый одунский национальный округ в объеме прежней территории, от Индигирки до Чауна, от устьев Колымы до истоков Омолона. Область одунов находится на стыке ЯАСР и ДВК, и организация нового округа, который

Должен быть вырван из обеих областей, сопровождалась значительными трудностями. Но Лукс имел достаточно силы, чтобы высвободить одунов из их векового угнетения и вести их свободно и счастливо к новой трудовой социалистической жизни.

Лукс погиб, но у него осталась смена, кадры молодежи, которые растут на местах и в столицах — в Ленинграде в ИНСе и в Москве при Комитете Севера — и которые продолжают ту же творческую работу тем же боевым и ускоренным темпом, когда старшее поколение уйдет в историю.

Возрождение малых народностей Севера охватило их всех — от лопарей на западе до чуков на востоке.

Оно охватило также и одунов в глубине захолустной тайги.

Кендык возвращается домой. Это другой, новый Кендык, который вырос из старого Кендыка, как большое плодовое дерево вырастает из малого зерна. Он уехал с реки Шодымы голодным и диким ребенком. Он возвращается назад, вооруженный знанием, с новыми машинами, запасом орудий и товаров, со всем аппаратом людским и техническим, необходимым для того, чтобы освободить остаток погибающих одунов из их исторической тюрьмы.

Он возвращается к одунам на аэроплане, вместо того чтобы спускаться по рекам многие тысячи верст, переезжать на лошадях и собаках безбрежную тундру и тайгу. Люди летят в воздушной карете, кладь подвигается внизу на крепких грузовых автомашинах. От Ногаева на Тихом океане до верховьев Шодымы можно долететь за два дня, даже, в сущности, в несколько часов. На эту самую дорогу, но только не прямо, а в объезд, некогда юный Кендык истратил полгода.

Машины проходят по страшной колесной дороге. Она лепится по глинистому склону холмов и по каменным ребрам суровых предгорий Омолонского хребта. Сам хребет, недоступный даже козам, лежит далеко впереди, и дорога туда не доходит, но и на склоне предгорий дорога местами завалена крупнейшими камнями. Время от времени их убирают, а по-

том они снова появляются неизвестно откуда, как будто падают с небес. Тяжелые машины скачут через эти нелепые камни, как козлы или дикие олени. А между холмами, по болотам, положена бревенчатая гать. Бревна хоть новые, но совершенно расшатались. Под колесами машин они хлопают, как клавиши фортепиано. Невзирая ни на что, машины катятся вперед. Все же среди этой пустыни колесная дорога для машин — это что-то новое, неслыханное. Из месяца в месяц откатываются машины с моря и идут на дикий Омолон.

Два года назад эта страна не видала еще колеса и даже не знала, что значит катиться, двигаться вперед на чем-то катящемся — круглом. У жителей разных народностей нет собственных слов для телеги и трактора, для автомашины или для локомотива. Они знают только сани с полозьями. И все эти штуки с колесами называют в одном и том же плане: «сани на катках», «сани с круглыми полозьями», «самоходь-крутилки». Машины на колесах и колесная дорога нарушили одиночество таинственных одунов. Им больше не придется укрываться от внешнего мира в своем уединенном и тяжелом умирании. Погибающие одуны воскресают и выступают на новую дорогу, на эту самую колесную двухколейную тропу, которая пришла от самого Охотского моря.

Впрочем, тяжелые машины остались еще далеко позади. Кендык на белом самолете умчался вперед. Он подлетает уже к родному селению. Он видит знакомую протоку, песчаный остров, прибрежные тони, некогда истоптанные его босыми ногами. Убогие дома, шалаши, вешала для неводов, жерди для сушки рыбы. Вот Коркодым, родное селение. Железная птица снижается и плавно садится на лугу, подпрыгивает вверх, садится опять. Поселок такой же, как прежде. Та же рыба, и так же ее мало. Голодные собаки, ветхие, изношенные лодки, покрытые заплатами.

Рыбы мало, но всюду тот же знакомый запах гниющих обрезков, потрохов, рыбьих голов.

Все попрежнему. Ленивое время как будто совсем остановилось над рекой Шодымой.

Люди в поселке наконец зашевелились. Крылатая лодка вывела их из тупого равнодушия. Сбегаются старые и молодые, старики и старухи, женщины и дети.

Нет, время не остановилось. И люди изменились. Нет главнейших стариков. Чобтагир отдал себя духам, старый Шоромох тоже ушел по далекой дороге, откуда никто не приходит назад. Только старая Курынь как будто зажилась навеки. Она в поселке старше всех и летами и значением. Женщины ходят теперь на охоту наравне с мужчинами.

Только четыре коротких года прошло со времени бегства Кендыка от страшного убийства, но за эти немногие годы выросли мальчишки и девчонки. Мальчишки стали юношами, девчонки — невестами. Сестричка Моталия тоже стала взрослой девушкой. Бывший товарищ Кендыка Чепканглядит на нее таким ласковым взглядом, как будто на теплую лепешку, и вот он запел о ней свою новую песню, известную на всей Шодыме:

Когда я смотрел на нее,
Стан, точно молодая лиственница.
Когда я смотрел на нее,
Лицо, словно пожелтевшая хвоя,
Глаза у нее, как две черных бусины,
Кудри у ней, как черные беличьи хвосты.
Сшитые вместе, как будто бахрама.
Когда подняла свои очи,
Словно блеснули серебряные шейные гривны,
Когда подняла свое лицо,
Словно серебряное грудное солнце.
Милая, взгляды ее на мне,
Как месяц играет на воде.

И Моталия запела про своего молодого Чепканчика:

Чепканчик стоит, как молодая рябина,
На плечах его волосы,
Как пышные листья.
Весенний день слишком длинен.
Вечера дожидаться не могу.
Когда стемнело, шум услышала.
Взволнованным сердцем взглянула
Сквозь отверстие шатра,
Чепканчик стоит...

И опять запел Чепканчик:

Она была, как снежинка,
И глазки у ней, как изюминки,
Брови у нее, как сажа,
Волосы у нее, как черный мох,
Сама она светит, как плошка...

И девушка тотчас ответила:

Матушка, Шодыма-река,
Кости его, как ствол горного ясеня.
Матушка, Ясашная-река,
Кости его, как молодая лиственнь.
Волосы его красные, как хвоя лиственницы.
Сквозь дырку в палатке я на него смотрела.
Вот он пришел, мое чрево взволновалось,
Утроба взволновалась, и я упала на подстил.

Но кроме любовных утех и состязания в пении, молодое поколение видело много новых вещей. Положим, чаще всего не своими глазами, а глазами рассказчиков, бывалых и знающих людей.

Рыбаки и звероловы на реке Шодыме не очень разбираются между самолично виденным и только слышанным из других уст. Таким образом, коркодымские мальчишки узнали и про сани с круглыми полозьями, про крылатое судно из полого железа и про многое другое. Жизнь, наконец, захватила их также и повела вперед вслед за другими. А вот про товарища Кендыка одунские мальчишки не слышали нового. Было старое предание о небесном Кендыке, который приходит и приносит подарки и знания. Он будто приходит для каждого поколения снова и снова. Был тридцать лет назад на реке Омолоне, а пять лет назад на реке Шодыме, а еще через пять лет он придет издалека, из русской земли, и принесет погибающим одунам много пищи, много табаку и ружей. Пять лет назад он улетел на крылатом челноке под небеса, верхом на орле улетел, как Иванко, юкагирский сын, нырнул в занебесное отверстие верхом на крылатом орле. Пробрался сквозь отверстие в подножии Полярной звезды и, как время придет, спустится обратно прямо к ним.

И когда он улетал, было у него с собою лицо на бумаге, под лицом были словесные знаки. Он прочитал эти знаки, и вошла в него мудрость.

Надо учиться читать эти знаки, чтобы идти за Кендыком.

Мальчишки, товарищи Кендыка, стали учиться читать по разным обрывкам газетной бумаги, листкам протоколов, случайно попавшим из Якутска, учились не хуже Кендыка.

И напрасно девушки выдвигали вперед свои собственные письма и накалывали кончиком ножа на белой бересте обычные признания в любви. Две длинных черты рядом, обе с головами, с ногами, с руками; которая пониже — девчонка, она пишет письмо, которая повыше — мальчишка, ему пишет письмо. От девичьей головы поднимается зигзаг и восходит юноше на голову. Это значит: «Всегда о тебе думаю». От девичьего сердца восходит поперечная дуга к сердцу юноши. Конец дуги развихрен, это значит: «Всегда стремлюсь к тебе, пылаю, как огонь».

Такие любовные письма испокон веков чертили на бересте одунские девы и юноши. Но теперь не хотели понимать юноши этих писем, они думали о Кендыке, о его покровителе — Лице, о письменных знаках на бумаге.

«Вот бы прочесть эти странные знаки и узнать, чего они просят, что они сулят».

И вдруг спускается с небес летучая лодка из железа. Из лодки выходит ямщик в дохе из мохнатых собак, с глазами из твердого льда, большими, как чашки. Люди его приняли бы за Торгандру, медвежьего сына, который некогда спас людей от голода тем, что сдружился с медведями и подводил их к селениям, под копья и стрелы людей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Два дня пробыл Кендык в Коркодюме на воле, еще ничего не начинал. Он обошел дом за домом, где жили его дядья и двоюродные братья, раздал привезенные подарки, но сам поселиться у родных не захотел. Он поставил на берегу реки зимнюю двойную палатку с двускатною крышей и маленькой железной печуркой

и жил спокойнее и шире, чем в жалкой хижине у дяди или брата. Мальчишки ходили к нему и ночью и днем. Ходили и роптали:

— Зачем покинул нас?

Кендык возражал:

— Но ведь я не покинул, а вернулся.

И Чепкан, как прежде упрямый и страстный, настаивал:

— Нет, ты нас покинул здесь. Сам улетел, насытил свое тело и жадную душу новой, неслыханной пищей. Мы здесь голодные. Нет у нас пищи ни телу, ни духу.

На четвертый день, поутру, племя собралось на суглан в полном составе — даже маленькие дети. Чепкан, суровый и строгий, сходил за Кендыком:

— Ну, пойдем, говори.

Старый Спиридон, единственный старик, еще не ушедший в далекую дорогу и заменявший одунам умерших шамана и начальника, стал спрашивать Кендыка:

— Ну, теперь говори. Мы станем слушать. Что делать, укажи. Пойдем за тобой, как олени из стада. Все равно погибать: не стало нам жизни. Прадеды разгневались на нас: ни рыбы в реке, ни лося в лесу, ни белки на деревьях. Не живем, не умираем.

И молодой Чепкан сказал:

— Бежали бы куда, не знаем. Пойдешь в лес: ходишь, ходишь, ничего не находишь, а броситься некуда. Укажи нам, где выход.

И Кендык сказал:

— Я укажу вам выход. Не уходить надо, а надо уехать. Не розно брести, а всем племенем, заранее обдумать и устроить. Командой уйти, как ходят солдаты. Роем улетать, как молодые пчелы.

— Куда? — спросил тяжело и отрывисто охотник Василко, худощавый крепкий человек, как будто сплетенный из жестких оленьих сухожилий. Он был лучший охотник всего Ушканьего рода. Его промыслом в труднейшие минуты племя спасалось от голода. — Не вижу дороги.

— Есть дорога, — упрямо повторил Кендык. — Четыре года тому назад я тоже не видел дороги. От

смерти убежал. От ножа. От собственного деда спасался. И тоже дороги не видал. А вот же спустился по рекам и вышел на дорогу и вернулся назад, всю землю объехал кругом, вернулся назад. Поедем по этой дороге. Там, где проехал один, проедет и племя.

Племя молчало. Кендык предлагал решительные действия, но страшно было отважиться.

— Что там делать будем? — тихо спросил Василко.

— То же, что здесь, — сказал Кендык. — То же, что делают все. Рыбу промыслять, на лося, оленя охотиться. Белку, лисицу, пушнину добывать. Оленей разведем. Большаки нам помогут.

Лицо Василко неожиданно расплылось от удовольствия.

— Люблю оленей, — сказал он почти трогательно.

Странно было видеть мечтательную, детскую улыбку на его обветренном лице.

Рыболовы и пешие охотники сибирских рек и озер — этот последний остаток древнейшего населения Евразии — постоянно мечтают о стаде домашних оленей, как о лучшем пути, чтобы подняться на новую жизнь. Но из этой мечты никогда ничего не выходило. Купит порою охотник оленей, пристроит их на пастбище, но уже через год кто-нибудь съест непременно этот первый зародыш скотоводства: либо волки разгонят, либо сородичи в трудную минуту переколют и съедят, либо сам скотовладелец заколет одного, а потом и другого, и так незаметно в полгода или год съест свое будущее стадо.

— Питомник заведем. — Кендык соблазнял доверчивых одунов, как детей. — Заказник устроим.

— А что это «питомник»? — спросил с любопытством Василко.

— И что это «заказник»? — прибавил с таким же любопытством проворный Чепкан.

Оба слова: «питомник» и «заказник» были русские, и одуны не понимали, о чем идет речь.

— «Заказник», — объяснял Кендык, — это большая тайга, где стало мало зверя, и там объявляют «заказ» — запрет на охоту лет на десять, на двадцать, чтобы новый зверь подрос.

Василко с недоумением покачал головой.

— Так долго ждать... Двадцать лет.

— Можно подождать и больше,— твердо отозвался Кендык.

— А если размножится зверь, и сердце потянет на промысел? — настаивал Василко.— Нет, трудно удержаться...

И Чепкан в свою очередь напомнил:

— А что это — «питомник»?

— Знаете лисьих кормленок? — отозвался Кендык.

— Знаем,— отозвались и слушатели.

— У меня две кормленки есть,— припомнил Василко,— в плетенке живут.

Туземные охотники, оседлые и даже кочевые, усердно выкапывают лисьи и песцовые гнезда. Песцовые — на тундре, а лисьи — в тайге. Копают затем, чтоб дорыться до детенышей. На тундре песцовых детенышей раньше попросту били. Сдирали с них шкурки и продавали за сущую безделицу, причиняя таким варварским промыслом неисчислимый вред размножению песцов. В продаже было пять сортов шкурок песцового молодняка: 1) мелкая «слепушка», еще не открывшая глаз, 2) более крупный «норник», с очень непрочной шерстью палевого цвета, 3) «крестоватик», с более темным крестом на хребтине, 4) «синяк», с мехом побелевшим, но все еще жидким и слегка синеватым, 5) «недошлый» песец, 6) настоящая пышная шкурка «дошлого» песца. Норников и крестоватиков шло в продажу гораздо больше, чем дошлых песцов, и получали за них самоеды и чукчи по сорока копеек за штуку.

Советская власть строго запретила этот варварский промысел, но и до сих пор многие на тундре копают украдкой норников.

Песцовых и лисьих щенков бережно вынимают из норы живыми, складывают в мешок и увозят домой. Там их сажают в особо приготовленный сруб, с плотным полом, чтоб щенки не прорыли лазейки, сажают также в особую плетушку, вроде огромной корзины, сплетенной из ивы, или просто пристраивают в юрте к столбу на железной цепочке.

Кормят щенков понемножку, ибо от очень сытного корма, при отсутствии движения, зверек начинает паршиветь. К началу зимы, когда щенок совсем подрастет и выкунет, его убивают и шкурку пускают в продажу.

Шкурка кормленного зверя дешевле и хуже, чем шкурка убитого на воле, что объясняется прежде всего плохим содержанием, грязью и слабой заботой о густошерстных пленниках.

Полудикие одуны относились несколько презрительно к этим жалким копиям свободных и пышных лисиц. Песцы у них не водились, только лесные лисицы.

Василко с сомнением покачал головой.

— От кормленных немного доходу. Паршивая шкурка, да и грешно к тому же. Зверь должен жить на воле. У него, скажем, красная шкурка, а у меня человеческая хитрость, ружье, кашкан. Кто кого одолеет, тут не плошай. А то вот нароем детей-несмышленишек, убить не убьем, да и жизни настоящей не даем. Трудно ли ребенка обмануть?

— А ежели бы наших ребятишек кто-нибудь вырыл да увез и стал бы кормить на продажу, вы что бы сказали?

Старый Спиридон только плечами пожал.

— А разве не делают так те самые, другие, нездешние?

Спиридон имел в виду злых духов-охотников, для которых любимой дичью служит человек. Точнее — не человек, а его маленькая душонка.

Злые духи охотно похищают и детские душонки, уносят их домой и там выкармливают, стараясь, чтоб малая дичинка стала покрупнее и пожирнее.

Кендык, разумеется, знал все эти охотничьи поверья, но на этот раз он ощутил их как незыблемую стену. Выступая со своими культурными затеями, привезенными с запада, он наткнулся на жесткое сплетение старых суеверий, которые связывали жизнь как будто железными путами и не давали ей подвинуться вперед.

— Диво какое, — сказал он Василку, не скрывая недовольства. — Говоришь: «грех», а сам выкармливаешь. Надвое выходит.

— В охотничьем деле надвое выходит во многом,— спокойно заметил Василко.— Вот, скажем, поставлю я капкан на лисьей тропе. Мне и на высмотр не надо ходить. Я издали чую и знаю: попала или нет. Теперь, разумеется, лето, но было прошедшей весной. Поставлю капкан на тропе, а сам не капкан сторожу, сторожу мои сны. Приснилось, например, что пришла в мою юрту рыжая женщина, красивая такая, длинные волосья, в волосьях огонь. Ластится ко мне. Тут разбираю, что это не рыжая женщина, а рыжая лисица. Наутро иду на тропу: попала, лежит... А если пришла, да не попала, то приснится иначе. Женщина заглянет и сунется назад. Вскочишь — не догонишь.

— У вас рыжих женщин нет,— усмехнулся Кендык.

— Я говорю: лисица,— настаивал Василко.— Лисица по-нашему — женщина, земляная жена. Знаешь, небось.

— Ну, будет,— перебил его Чепкан с оттенком нетерпения.— Про наших кормленок мы знаем. Но как оно выходит по-иному, ты расскажи.

Чепкан был из младшего поколения охотников, которые, странное дело, даже в этой далекой глуши отошли от седой старины и многие поверья своих дедов и отцов попросту забыли.

— В западной стране,— начал рассказывать Кендык,— Сибирью зовется,— есть тоже великая тайга. И в тайге живет зверь. Огромные реки, в реках живет рыба. Ух, как далеко отсюда и туда!

«Охотники стали разводить такое хозяйство. Отгородят участок тайги, понастроят кормушек для пищи и клеток для жилья и спустят живой молодняк, песцовый или лисий. Вот они живут и растут, как будто на воле.

Чепкан внимательно слушал.

— Чем кормят их?— спросил он напоследок.

— Тем да сем,— объяснил Кендык,— рыбки немножко, щурята, головки да косточки. Так и живут.

— Много работы,— решил Василко,— и мало доходу. Строят да кормят, к осени всех перебьют. Опять лови и опять корми.

— Нет, не так,— возразил упорно Кендык.— Уби-

вают не всех, а ловить, так не ловят никого. Дорогого зверя, конечно, убивают, это само собой, а малых лисенят не копают и не трогают.

— А где же кормленку берут? — настаивал Чепкан.

— Да там же и берут. Она рождается в питомнике, и брать ее нечего. Плодится сама, как будто оленья стадо.

— Ова! — воскликнул Спиридон, внезапно заинтересованный. Даже глаза у него заблестели. — Старые люди говорили: есть такая земля, далекая, нездешняя. Там люди живут по-иному, и стада у них волчьи, есть стада медвежьи, лисьи, даже мышиные есть. Ездят на лисах, как будто на собаках. Лисиц убивают, мясо поедают, а в шкурку одеваются. Ты, верно, Кендык, до этой страны доходил.

— Ну, пусть по-твоему, — согласился Кендык.

— А это хороший порядок, — продолжал Спиридон, — кормленка хорошая, она хозяйина знает и любит. Ты ее рыбкою кормишь, она тебе ручки лижет, лисичка, рыжая сестричка.

Молодые ребяташки, которые толкались поблизости, слушали речи Спиридона и Кендыка и потом убегали в сторону и опять прибегали назад, — даже заплясали на месте от радости.

— Мы будем строить питомник, — объявили они, — кормленку питать, детенышков нежить.

Ребяташки везде одинаковы. У диких одунов мальчишки и девчонки имели особых кормленых-любимцев, которых порой держали за пазухой, кормили из собственного рта, разделяя последний кусок пополам.

Вместе с тем настоящую кормленку чаще всего убивали мучительной смертью, вешали за шею на веревке и тянули ее вниз за задние лапы, чтобы она вытянулась в длину еще живая и теплая.

— Постой-ка, — внезапно припомнил Василко, — ты вот сейчас обещал: рыбу промыслить, на лося, оленя охотиться. Манил нас охотничьей вольной добычей, а теперь говоришь про пушные стада да кормленых. Кормленку продашь, купишь муки, а все есть нечего. А вот есть ли там вольное мясо?

— Там большая страна, — объяснил Кендык. — И не

очень далеко. Вот по Шодыме проехать к низовью, за тысячу верст. Там вся земля пустая, зверь есть, охотников нету.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

На площадке суглана стало очень тихо.

— А ты сам видал? — спросил Спиридон после некоторого молчания.

— Я плыл на низ, — объяснил Кендык. — И была мне встреча. Вышел из лесу лосенок. Мальчишка лосиный, или как... и стал на берегу. И смотрит, смеется надо мной: «Небось, не поймаешь, не убьешь, у тебя убивалки-то нету, чем убьешь?» Так будто говорит.

— А где это было? — спросил Спиридон негромко.

Он хорошо сообразил, в какой части течения это могло происходить.

— Было это в стране покойников, в Вымороках, — сознался Кендык.

— А ты тоже был там, у предков? — сказал Спиридон тише прежнего, почти шопотом.

Кендык утвердительно кивнул головой.

— Был, видел?

— Покойников не видел, а видел дома покинутые, сгнившую одежду, гнилые лоскутья да кости — песцовые объедки. А больше не видел ничего.

Одуны смотрели на него с боязливым удивлением. Он побывал у покойников и подальше покойников, заехал, быть может, в двадцатую, сотую землю, ничего ему не стало, вернулся назад.

— Расскажи, — попросила Моталка.

Она положила свою узкую смуглую руку на плечо брата, потом переложила ее на плечо жениха.

— Нам Расскажи, — сказала Моталка просительно, — пусть наше будет.

Еще с раннего детства она была особенно охоча до затейливых сказок и басен, какие в ходу у одунов, и постоянно выбирала себе сказочку и объявляла ее своим особливым владением.

— Я расскажу, — согласился Кендык. — Было на вось-

Мой день, наехал на поселок. Землянки и амбары есть, невода и лодки, и челноки, посуда, котлы, а нету людей. Вот я вышел на берег, подниматься на гору не стал, а с берега кликнул: «Досельные деды, если вы тут и ваши досельные глаза меня видят, помогите мне выйти на новую дорогу». Так я кричал, но никто не ответил. «Отцы отцов, прадеды прадедов, благословите Кендыка на новую жизнь». Так я кричал, но никто не отозвался.

«И я их обругал и сказал: «Молчите вы, видно, нет вас вовсе, все обман, ложь, старые выдумки. Есть только гнилые лоскутья и ломаные бревна да кости — песцовые объедки».

— Дальше говори,—просила Моталка, увлеченная странным рассказом.— Ужели никто не отозвался?

— Нет, видно, мертвые живым не помогают,—со вздохом отозвался Кендык.

Он почувствовал себя на мгновение старым Кендыком, плотью от плоти и костью от кости этих лесных полудиких людей, заброшенных в глуши, но он хотел их вытащить из этой обнищавшей и унылой земли и вести их вперед. И в эту минуту одуны почувствовали в этом почти незнакомом комсомольце родного, своего...

— Что есть будем? — спрашивал Василко.

— «Большие» дадут,—обещал Кендык,—частью-то мы привезли. Будем стрелять по дороге, лосей убивать.

— Ружья где? — спрашивал Василко, как ребенок у няньки.

— «Большие» дадут.

— Порох да свинец, масло и мука, чай и табак. Кто даст, где возьмем?

И Кендык упорно отвечал:

— Все будет, все... «Большие» дадут.

Он уговаривал одунов, как будто маленьких ребят. И сулил им всякие блага по дороге и на новом месте.

И одуны поверили Кендыку. Даже самые вопросы их: «Что будем есть по дороге, чем будем стрелять по дороге?» — указывали на их готовность сдвинуться с места и пуститься в загадочный путь.

Кендык от вопросов устал, от всех объяснений, уго-

воров и советов. На нем даже промокла от натуги и пота его крепкая рубашка защитного цвета.

Он ждал, а племя молчало. Наконец, поднялся на ноги старый Спиридон. Он почувствовал себя как бы преемником умерших стариков: Чобтагира и Шоромоха. Старики эти изгнали Кендыка и хотели убить, и теперь Спиридон должен был в виде возмещения приветствовать Кендыка и согласиться на его предложение.

— Люди, решайте,—воскликнул он громко.—Так или сяк, все равно погибать. Хуже не будет.

— Хуже не будет!—воскликнули одуны громко и нестройно. Даже ребятишки лепетали:

— Не будет, не будет...

— Это был крик, призывающий к бегству из старой проклятой страны, к бегству от смерти, от голода, которые таились в каждом закоулке обреченных шодымских лесов.

— Едем!—воскликнул Василко в мрачном экстазе.—Веди, пойдем. Говори, что нам делать?—спросил он Кендыка и сразу ответил на собственный вопрос:—Ребята, рубите плоты.

Закипела работа, совсем не похожая на старую, привычную. Мужчины и женщины таскали с высокого берега и укладывали на воду нетолстые бревна из самого легкого дерева: осины и тополя. Они сдвигали бревна вместе, опроушивали их, пробивая глубокое отверстие, сшивали их вместе отесанной острою жердью, как будто прямою иглою, вязали их мятою ивовой вицей и крепким древесным корнем и сверху настилали невысокий помост. На помосте выводили глиняную печку или земляной очажок, чтоб можно было варить на плоту, не слезая на берег.

Это был старый досельный одунский плот для кочевков. Каждая группа охотников вывела по новому плоту. Было одиннадцать плотов. Люди торопились связывать жалкую рухлядь и пожитки, запихивать в старые сумки из вытертой шкуры оленя, и все это ревностно сносили вниз и укладывали на плотях.

Такой странной работы здесь никогда не велось. Разве, быть может, давно, за несколько тысячелетий назад, первые одуны, досельные переселенцы, пришед-

шие с юго-запада, строили такие плоты, собираясь кочевать и отвоевывать новые земли, отвоевывать у леса, у лешего и подвластных ему зверей.

Два дня, две ночи собирались одуны. Никто не спал, повсюду кипели котлы, одуны съедали свои скудные запасы, не думая о будущем. В эти дни они решили во всяком случае наесться досыта, а дальше найдется...

Хуже не будет, «большие» дадут. Под знаком этих двух лозунгов происходило переселение одунов.

Женщины бросали посуду и утварь в опустошаемых домах. Было невозможно захватить все с собой. За тысячу лет обитания собрались какие-то странные вещи: собачьи корыта, огромные берестяные бураки, кадушки, куда ссыпали бруснику и сушеные грибы. Для всего этого хлама на плотях не хватило бы места.

Кия и Рия достали из чулана куклу, сделанную из скелета покойной их матери, и понесли на плот. То была странная кукла. Сестры взяли череп и кисти рук покойницы, обшили их одеждой, которую она носила, и в таком виде хранили куклу в чулане пять лет. Она была их покровительницей. Теперь они ее хотели брать с собой на новые места.

Но, странно сказать, воспротивились этому не буйные мальчишки и даже не Кендык, воспротивился этому старый Спиридон, заменявший остатку Чолгорского рода шамана и старосту.

— Нельзя брать,— прикрикнул он на женщин.— Для нового едем, а разве вы не слышали, что Кендык говорил: мертвые живым не помогают.

И куклу из мертвых костей бросили на берегу.

На третий день, к полудню, одиннадцать плотов отчалили от берега и стали спускаться вниз по тихому течению.

— Меня подождите,— приказал Спиридон,— я здесь пока останусь.

Он вытащил на берег свой узенький длинный челнок. Кендык, заинтересованный, тоже хотел остаться. Но старик воспротивился этому.

— Иди с ними, иди,— указывал он.— Теперь они твои, а я побуду здесь, со старыми. Нет, ты не бойся,— ответил он на немой вопрос во взгляде Кенды-

ка.— Я себе ничего не сделаю. К Чобтагиру итти не хочу. Я кой-чего устрою и сам вас догоню.

И тогда одуны дали дружный залп из всех своих ружей, из старых кремневых, с изломанными ложами, чиненными ремнем, и новых винтовок, блестящих, лакированных, привезенных Кендыком в подарок от «больших».

Раз, раз, раз... три ружейных залпа. Дымовое облако рассеялось в воздухе, закрипели уключины гребей, поехали одуны на новую жизнь.

Старый Спиридон, оставшись один, запалил небольшой костерочек, бросил туда последние жертвы свои: листок табаку, щепотку чая, маленький кусочек сахара, мяса обрезок, сушеных сухожилий волоконце.

— Предки, сходите, собирайте,— выкрикнул он,— нате, ешьте, торопитесь, давитесь от жадности. Вот вам последняя жертва, а больше не будет. Мы уезжаем, деды, а вы оставайтесь. Вы уж нам больше не хозяева.

Он постоял и подумал, сделал шаг к костру и опять остановился. Он хотел что-то, видимо, сделать и все не решался. Потом, наконец, быстро подошел к костру, выхватил горящую ветку, целый смолистый факел, подошел к своей собственной хижине, сунул под стреху раз и другой и поджег свое бывшее жилище. Старые балки и сухая кора на кровле вспыхнули, как порох. Тогда Спиридон побежал по поселку и начал направо и налево поджигать хижины, избышки и амбары, и каждый шалаш, и каждую сушильню для рыбы. Ничего не осталось после Спиридона от старого поселка. Через несколько минут весь Коркодым пылал, как огромный костер.

— Деды, улетайте,— сказал Спиридон.— Нет вам жилища на этом берегу, улетайте в густые леса, на далекие озера, падите на каменные бездны, на ребристые острые сопки, там оставайтесь и назад не возвращайтесь. Вы нам больше не хозяева.

Так кончилась старая жизнь на верховьях реки Шодымы в старом одунском поселке Последний Коркодым.

Две мощные реки, Амой Большой и Амой Сухой, сливаются вместе и в самом слиянии своем впадают в реку Родыму. Взаимоотношение этих рек приблизительно такое же, как у Волги с Окой и Камой. Но сторона, окружающая низовья обоих Амоев, не похожа на устье Оки. Охотничьи племена, некогда обитавшие по этим речным берегам, рассеялись, исчезли. Их последние остатки ушли на устье реки Родымы, еще более мощное, чем устье обоих Амоев, и там амойские переселенцы смешались с русскими казаками, русскими мещанами. Подальше от берега, по широким нагорьям, сходящим на севере в тундру, кочуют оленные чукчи. Обе большие реки все же пустынные и безмолвны. Две-три семьи, которые задержались, как чудом, на этих необозримых плесах, совершенно маломощны. Они даже не промышляют как следует рыбу, и оттого у них мало собак. Раньше они побирались около богатых чукотских стад, а теперь не осталось и этого. Того гляди, и они сбегут к русским, в бывшую казацкую станицу на западном Похотском устье реки Родымы.

Уходило двуногое население, и этот обширный край начал населяться иными племенами — четвероногими. В приречной тайге стали плодиться огромные лоси и стройные олени. Ольховник и топольник наполнились зайцами. Тальники закипели куропатками. Взад и вперед, по течению и против течения в обеих реках заходили стада лососей: речных, и озерных, и морских, ходовых и жиловых.

Деревья, которые никто не рубил, тоже разрастались и крепились. Попадались тополи с двуобхватным стволом и еле намеченным дуплом, которое как бы указывало, откуда именно надо начинать выжигание лодки. Три века назад казацкие завоеватели выжигали из такого огромного тополя целые днища для своего неуклюжего судна, которое называлось коч, или коча. На тополевых кочах, сшитых тальничным корнем по просверленным дырам, с огромными гребями, с неук-

люжим тяжелым кормилом, казаки упрямо шли вперед на завоевание новых земель.

Но теперь некому было построить и кочу. Одиночные жители ездили на утлых челноках, сшитых из трех досок, выстроганных топором до тонкости картона. Даже простые весельные лодки были далеко не у всех.

В этой обширной стране, одичавшей и словно отступившей назад на тысячу лет, поселились коркодымские одуны.

Но жизнь их устроилась совсем по-иному, чем на старом пепелище. Она началась по указке, по плану и шла, развиваясь, вперед.

Одуны привезли с собой все необходимое для стройки и для жизни. Для стройки — стальные топоры и железные гвозди, поперечные пилы и даже большую продольную пилу, которую никак не могли они направить и пустить в ход. Но русские плотники, присланные для этой цели с коряцкой базы на реке Пенжине, быстро наладили дело и стали резать из огромных лиственничных бревен доски на обшивку для стен и укладку полов.

Вслед за ними ободрились и одуны и после нескольких малоудачных опытов стали в конце концов строить хорошие русские избы, и строили их как ни в чем не бывало, как будто никогда и не жили в убогих шалашах, кое-как слаженных из тонких жердей и засыпанных землею.

Пищи хватало. Охота за непуганым зверем, успевшим отвыкнуть за минувшие полвека от близости охотника, давала обильную добычу. Ивовые верши и тонкие волосяные сети вылавливали рыбу. Помимо того, в крепком амбаре, устроенном для кооперации, было немало тяжелых мешков с пахучей ржаною мукою, бочек с маслом и ящиков с сахаром. Здесь была твердая экономическая база, созданная для одунов, которая должна была в ближайшее время превратиться в «Культурную Базу», культурный городок, столицу одунского района.

Во избежание недоразумений вся обширная Амойская страна была объявлена заказником, запретным

для входа и въезда других промышленников, все равно, русских или туземных, но не родственных одунам.

В деле возрождения северных племен это был уже второй пример. На такой же почти санаторный режим попали на Саянских предгорьях загадочные карагасы, которые уже несколько веков говорят на турецком диалекте, усвоив его неизвестно откуда, но в то же время являются оленеводами, а более всего охотниками весьма первобытного типа. Карагасы окружены со всех сторон русскими землепашцами, бурятскими скотоводами. Осталось карагасов четыреста душ, а соседи посылали в карагасские леса больше двух тысяч охотников. Спасти карагасов от гибели можно было только таким особо внимательным уходом, а также усиленным снабжением.

Всемерно охраняемые карагасы, наконец, перестали вымирать и стали возрождаться и крепнуть для новой жизни. Даже численность их начала возрастать. Карагасы завели общественное стадо оленей и общую пушную охоту.

В такие же условия усиленной охраны попали и амойские одуны.

Каждый день приносил что-нибудь новое. Приехали русские работники из Иркутска и дальше с запада. Говорить по-одунски никто из них не умел, и учиться было некогда. Приехавшие из Якутии хорошо говорили по-якутски, и на этой культбазе спорили за преобладание два языка: якутский и русский, одинаково чуждые языку коренного населения, в недавнее время почти исчезнувшему, но ныне воскресавшему снова.

В Амойской стране создавался новый туземный район или даже целый округ, и русские пришельцы должны были учиться с отчаянной поспешностью говорить и писать по-одунски. Но писать по-одунски никто не умел, а что касается устной речи, сами одуны привыкли рассматривать собственную речь как второсортное явление.

Однако декрет об устройстве северных туземных округов требовал спешного введения коренизации, то есть перевода всех дел, административных и судебных,

на туземный язык. Русские работники бросились учиться по-одунски. Не было учебников, и не было учителей. Даже никто еще не составил одунского букваря. Пришлось обратиться к ученым работам минувшего века, и труды Йохельсона об одунах, мирно хранившиеся в течение полувека на полках в книгохранилищах Академии наук, получили внезапно большую популярность. Впрочем, добрая половина этих трудов была написана по-английски. А английский язык для работников одунской культбазы был, пожалуй, не менее труден, чем старинное одунское наречие.

Русские сотрудники хотели учиться по-одунски хотя бы из книг Йохельсона. Но сразу приступить к этой мудреной учебе было очень трудно.

Одунские переселенцы разбились на два поселка, вместе составлявшие временный Одунский рик. Очень быстро устроили все, что полагается иметь на «культбазе»: две школы, две больницы, два ветпункта, рыболовецкую артель, лисий питомник, одунское стадо оленей. Питомник попал под непосредственное попечение мальчишек и девчонок. Они объявили себя «Обществом друзей пушного молодняка» и зорко следили за песцовыми и лисьими щенятами. С самого начала каждый завел по любимцу, унес его в собственную избу и нянчился с ним, как будто с живой куклой. Общий питомник даже пострадал от отсутствия ухода.

Однако мальчишкам никто не мешал: в одиночку, так пусть в одиночку. И еще через месяц они вернули своих пушных воспитанников в общий питомник культбазы и из упрямых единоличников стали опять энтузиастами-общественниками.

Еще через год завелось одунское стадо оленей.

Коркодымские охотники искони веков не знали ничего о домашних оленях. На Западной тундре, против амойских устьев, за рекой Родымой, обитал другой обрывок одунского народа, тундренные одуны. Они с незапамятных времен были оленными, имели стада, ездили на санках, одевались в шкуры от собственного стада.

На Западную тундру некогда вышли с юга ламуты и тунгусы, которые тоже были оленными охотниками,

Одинаковость промысла довольно быстро повела к слиянию обеих групп: одунской и тунгусской, и так сложилось тундренное племя тунгусо-одунов, которое даже у русских носило двойное название: тундренные тунгусо-одуны или просто оленные одуны. У этих оленных одунов управление края купило две сотни оленей для коркодымских переселенцев.

Убивать оленей было строго заказано в течение тридцати лет, а между тем ягельные пастбища за минувшие полвека вполне отдохнули. Коркодымское стадо не знало падежа и стало размножаться из года в год.

Через три года, вместо тридцати лет, был сделан первый убой, и шкуры послужили сырьем для вновь открываемого замшевого производства.

Велико было торжество приезжих работников и жителей, когда застучали колеса и мялки на первом скорняжном заводе и стали вырабатывать товар добротный и плотный, и водонепроницаемый, какого никогда не бывало ни на реке Родыме, ни на обоих Амоях.

Одунская замша и одунская пушнина стали в избытке оплачивать товары и припасы, присылаемые с юга и с запада.

И одунская культбаза перешла без особого усилия на хозрасчет.

«Общество друзей пушного молодняка» в конце концов стало школьным обществом. Те же одиннадцать ударников оставили своих одиннадцать лисенят и стали заниматься обычными школьными делами. Шивали знамена, к ним пришивали лозунги, строили радио собственными домашними средствами, ловили волну, короткую и длинную, в дополнение к ловле куропаток. Строили «мелькающие тени», то есть кино.

Тундренные одуны вообще отставали от одунов амойских. Коркодымские переселенцы весь молодняк поделили пополам. Одну половину оставили дома для текущих работ, другую послали на западную тундру, в подмогу одунам-оленщикам.

Таким образом, два последних осколка погибавшего народа соединились вместе, как два первые кирпичика

нового здания, и составили завязь нового Одунского округа.

Удивительное дело: другие разрозненные потомки амойских беглецов, совершенно растворившиеся в русской среде по казачьим станицам, стали внезапно, как будто под внушением гипноза, вспоминать о своей древней, давно уже потерянной одунской природе.

Одунский язык у амойцев совершенно исчез. Дольше всего он хранился у старых шаманов, читавших по-одунски заклинания, знакомые по звукам. Шаманы произносили их совершенно механически, нисколько не думая о значении слов. Эти механические остатки старинного наречия тоже исчезли, но звуки и слова одунского языка еще попадались в детских сказочках. Они сохранились у женщин, которые время от времени впадали в «одунскую припадку», похожую на русское кликушество, выкликали на все голоса и говорили на языках, никому непонятных. Одним из языков этой «одунской припадки» был старинный одунский язык. И вот каким-то чудом эти полуисчезнувшие старинные слова, как будто потонувшие в тумане и еле выступавшие в припадках истерии, стали словно размножаться, густеть и входить в обиходный язык. Амойские переселенцы всегда тосковали на устьях реки Родымы. Здесь было много рыбы, можно было выходить в море на поколку тюленей, но мяса сухопутного не было, ни лося, ни оленя, не было стоячего леса, только сплавной, из окатанных стволов, принесенных течением. Амойские переселенцы вспоминали про тополевыя рощи, про густые ольховые заросли, куда не доходила враждебная вьюга, где можно было отсиживаться от яростного ветра, как будто в ольховой бредке или в крепком плетеном шалаше.

И вот теперь амойские семьи одна за другой стали возвращаться на родину. Иные из них приносили с собою родымский разговор, странное смешение русских и туземных слов и оборотов, которое на северных реках считается русским языком. Эти влияли на своих коркодымских братьев и старались вести их по пути обрусения дальше вперед.

Но были и такие амойцы, которые отбрасывали в

сторону русский разговор и русские обычаи и объявляли себя стопроцентными одунами без всяких послаблений. Они перенимали от новых соседей старую одунскую речь, всасывали ее с поразительной быстротой и уже через полгода становились заправскими одунами. Они были более привержены к одунской старине, чем коркодымские переселенцы. Коркодымцы охотно перенимали русскую мебель и утварь, делали кровати, столы и скамейки, покупали фаянсовую и стеклянную посуду. Обратные переселенцы на Амой, оставляя в станицах деревянные избы, наполненные утварью, на новых местах заводили одунскую жизнь: жили без кроватей, без столов и без стульев и скамеек, спали на полу, на разостланных шкурах, сидели на широкой лосине, раздвинув колени по-турецки, ели с деревянной доски, расставляя на ней большие деревянные чашки, долбленные из лиственничного или березового наплыва, твердого, как кость.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Кендык не вернулся на запад с реки Родымы. Он страстно мечтал стать летчиком-пилотом, но теперь он бросил железную птицу и спустился на землю. Лето и зиму и новое лето он пробыл на Большом Амое в поселке культбазы «Новый Коркодым». Он был для переселенцев всем, чем угодно: председателем рика и секретарем рика, учителем, он лечил коркодымцев, когда они болели, и, когда они скучали и думали о родине, он утешал их игрою на небольшом клавишном инструменте, который с виду походил на маленькое пианино. Но это был инструмент более древнего происхождения: клавесин XVIII века, который был привезен на реку Родыму богатым купцом Золотаревым и в течение века сохранялся без всякого употребления в заброшенном амбаре другого купца — Бережного, последнего торговца из рода речных перекупщиков.

Одним словом, Кендык был для своих подопечных соплеменников-соседей отцом и матерью, начальником и нянькой и слугой.

На следующее лето к Кендыку приехали в гости товарищи из ИНСа. Слух об одунском питомнике прошел далеко по стране СССР и даже проник за границу. Товарищи Кендыка любопытствовали взглянуть на этот идиллический заказник, оберегавший одновременно и зверя и охотника. Гостей было четверо: трое студентов, только что окончивших курс, меж ними старинный сосед Кендыка по общей парте, Вылка с Заобской тундры. Гости привезли от ИНСа ценные подарки: десять наборов лучших плотничных инструментов из закаленной стали, с запасными частями, новую моторную лодку, пригодную для выезда в море. Вместе с парнями приехала девчонка, тоже знакомая Кендыку, суматошливо-смешливая Рультына. Она, впрочем, уже не была девчонка, а взрослая девица, налитая крепким соком и цветом жизни. Однако глаза у Рультыны были, как прежде, озорные, и на лбу ее вился мальчишеский вихор, который когда-то делал ее похожей скорее всего на птицу ронжу или сойку. Она поздоровалась с Кендыком, как ни в чем не бывало.

— Я к вам приехала,— объявила она.

— Как приехала, гостить?— спросил Кендык довольно нелепым тоном. Он понимал, что дело идет не о приезде в гости, а о чем-то ином.

— Нет, совсем,— сказала спокойно Рультына,— я здесь останусь.

— Как останешься, с кем останешься?— задепетал Кендык.

— С тобой останусь,— ответила Рультына.

— Зачем со мной, ведь я не выбирал тебя,— возразил Кендык, впрочем, без грубости.

Рультына пожала плечами.

— Разве у меня ума нет,— ты не выбирал, но зато я сама выбрала. Я давно себе искала такое небывалое место, чтоб старая жизнь померла, а люди жили, как воскресшие покойники. Никогда не ожидала, что увижу, а вот, видишь, как вышло. Здесь буду жить, никуда не уйду. Ты не уйдешь от одунов, я не уйду от тебя. Ну, что толковать, покажи свою комнату, я вещи привезла.

— Что ты будешь здесь делать? — спрашивал Кендык, озадаченный.

— Я шитница хорошая, — объявила спокойно Рульта. — Пока ты ездил да летал на машине своей, я вот училась в меховом магазине подкраивать наряды. Такие журналы привезла, из самой заграницы, с выставки в этом немецком городе... как его... в Лейпциге. Я так думаю, что наши пошивки, вышивки не хуже заграничных. Вот будем собирать да шелками расшивать. Меха-то подберем, хвостик к хвостику, лапочку к лапочке, ушко к ушку. Такие узоры разведем, заграничные модницы с руками оторвут. Денег наживем для себя и для нашего Советского союза.

Она показала Кендыку привезенные ею образцы: сумочки, сапожки, шапочки из гладкого меха, жакетки и пальто. Все это было составлено, как мозаика, из крепко сшитых квадратов черного и белого меха и переливалось на солнце странной и четкой игрой.

Кендык не нашел, что сказать. Решительный тон этой необузданной девицы вводил его в смущение.

— Так ты ведь чукчанка, — попробовал он возражать. — Ты чукчанка, я — одун, ваше племя крепкое, а наше больное, его надо выхаживать, как малого ребенка.

— Не хочу быть чукчанкой, — объявила решительно Рультына. — Какая я чукчанка, я и чукотский язык совсем позабыла. Ты одун, по тебе я одунка.

Прошло лето, опять наступила осень. На одунскую культу базу приехал с далекого Кальмашского района, у подножия Саянского хребта, народный учитель Евсеев. В Кальмашском районе жили остатки загадочного племени кальмашей, почти окончательно вымершего. Там были не особенно давно семьи, еще говорившие таежным языком, и другие семьи, говорившие степным языком. Степной язык был турецкий, а таежный — ненецкий. Однако теперь и те и другие свое наречие успели забыть, и все без исключения говорили по-русски. Но странно сказать: в последние годы своего бытия Кальмашский туземный район привлекал, как магнитом, растерянные семьи других вымиравших туземцев: кучку алеутов, семью камчадалов. Евсеевы,

по словам стариков, приехали с Нижней Родымы, с Сухого Амоя. Учитель Евсеев заявил, что он возвращается на родину и будет работать для блага своих соплеменников-одунов.

Прямо из Москвы приехал другой незнакомец, тоже работать для одунов. Его звали Одунский, и он обосновывал свои национальные права на этом редком имени. Он оказался студентом-ветеринаром и усердно работал над постройкой ветпункта для одунских оленей и собак.

В половине ноября явились гости более странные. От чукотских кочевьев на верховьях Сухого Амоя «собачник» — ездок на собаках — явился за чаем и сахаром и принес поразительную весть: подходят лесные одуны. Иные идут на собаках, другие на оленях, а третьи пешком на лыжах. Они странные с лица, желтые, как будто костяные, все молчат, все молчат. Одеты тоже по-разному: одни в тяжелую лосину, крепкую и толстую, как панцырь, другие — в легчайшие рубашки из шкурок тарбагана — азиатского сурка.

Кендык сначала не поверил, а потом расспросил подробнее и стал запрягать дюжину своих одноцветных, одногнездых Воронков. Одиннадцать собак у него были черные, без единой отметины, и звались Воронками, двенадцатая, Ворониша, шла впереди. Воронки были из ее потомства и шли за матерью послушно.

Чепкан вывел также и своих собак, тоже дюжину. Тут были разные масти: пестрая, пегая, серая. Но когда упряжка и нарта были совершенно готовы, из-за угла вывалилась озорная девица Рультына, в волчьем капоре, в огромном балахоне из пыжиков.

— Стой, стой! — крикнул Чепкан, как кричат каюры-ямщики, унимая зарвавшуюся свору.

Но Рультына быстро вскочила на нарту, гикнула на банду серков и пестряков и умчалась, как ветер, вдогонку за Кендыком.

Лесные одуны, действительно, вышли на реку Амой. О них до сих пор никто ничего не знал. Они притаились в горах, на стыке народов и стран, между чукчами, коряками, ламутами и русскою смесью с колымских и анадырских рек. Впрочем, эти заходустные

одуны чуждались соседей своих и никогда не выезжали в русские фактории и даже купцов и торговцев принимали неохотно.

Сами они представляли смесь последних остатков одунского народа. Говорили на чужих языках, по-чукотски, по корякски и по-русски, рассказывали сказки и песни выпевали на каком-то другом языке, который помнили только немногие старики.

Старик бил в бубен, а дети плясали и пели:

Бонданды, бонданды,
Поди, лося убей,
Нам на постельку,
Дитю на одеялку.

«Бонданды» был легендарный герой, покровитель восточных одунов. Он будто бы ездил на лосях, так как лесные олени были для него слишком мелки. Лесные одуны, выходя на культбазу, приносили с собой песни и сказки о своих предках и героях Торгандре и Бонданды.

Рультына с Кендыком уже пять дней поднимались по течению Амоя, ломая своими широкими полозьями мягкий снег, лежавший поверх речного льда, как белая заячья шуба. Кендык шел впереди забродчиком на лыжах. Рультына понукала одновременно его собак и своих:

— Ой, гусь, гусь, гусь! Ой, олень, олень, олень! Ой, собачки, домой, домой, домой!..

Пока разведчики поднимались по Амою вверх, лесные одуны спускались им навстречу.

На пятый день, к вечеру, усталые собаки Кендыка и Рультыны вышли неожиданно из глубокого рыхлого снега на широкий и твердо укатанный тракт, часто исколотый острыми копытцами вольно бегущего стада. Они пересекли дорогу подходивших одунов и теперь должны были идти обратно вслед за ними. Собаки взяли дух, взвизгнули и помчались галопом.

— Стой, стой! — унимали молодые ездоки свою обезумевшую свору.

Но собаки ничего не слушали. Из-под ветра несло запах человеческого дыма, обещавший отдых, и

Другой соблазнительный запах живого бегущего мяса, который возможно было изловить перед отдыхом.

— Стой, стой!

Неожиданно спереди послышался такой же ответный крик: «стой», направленный уже не к собакам, а к людям. Щелкнул ружейный затвор.

— Кто едет? — раздался окрик на одунском языке, но только с другим акцентом.— Кто едет?

— Одуны.

— Откуда?

— С культбазы.

— Ну, идите.

То был часовой со старинным кремневым ружьем на фигурно раскрашенных сошках. Узкое ложе ружье было тоже расписано зелеными, красными и синими клетками. Молодые одуны пошли за проводником, усердно унимая своих бушевавших собак. Еще через сотню шагов их остановил новый оклик. Из чащи деревьев вышел другой часовой, уже не с ружьем, а с длинным прадедовским луком. Лесные одуны по старому обычаю каждую ночь выставляли часовых и выше и ниже своего ночного привала. Они жили в вечной войне со своими соседями с востока и запада и были постоянно настороже. В последние полвека кровавые встречи стихли, но соседи донимали их на разные лады, отбивали оленей из стада, выбивали в одунских лесах последнего соболя, и одуны защищались, как умели. Их оружие были проще, чем русские винтовки, которые достались в обилии окружавшим их народам от белых и красных отрядов, но железные стрелы одунов, с раздвоенным лезвием, жалили не хуже, чем нарезные пули коротких японских карабинов и американских винчестеров.

— Спешите,— говорили часовые,— мы вас с утра ожидаем.

— Как ожидаете? — спросил с удивлением Кендык.

— Шаманил Михайло Кулдарь и сказал: «Сегодня ждите. Двое придут от воскресших одунов, вестей принесут».

Ночное стойбище лесных одунов было необычного вида. Оно представляло только один огромный наполовину шалаш, наполовину шатер, с ярким огнем, горевшим посредине. Огонь был обставлен и обвешан тяжелыми котлами, железными и медными, в которых варилась похлебка. Некоторые котлы были на десять ведер вместимости. Они были старинной русскойковки, почти столетней давности и некогда достались одунам от русских соседей как военная добыча. Похлебка в котлах тоже была необычная. Тут было все перемешано: мясо домашних оленей и диких баранов, рыба, съедобные корни и ягоды.

Таежные обычаи на Севере запрещают варить в одном котле мясо с рыбою. Такое смешение считается одновременно обидой и для лешего владыки, дающего мясо, и для деда водяного, дающего чешуйчатую рыбу. Но лесные одуны жили по-своему, и обычаи их были не такие, как у всех их соседей.

В ярких отблесках пылавшего костра сидело полукругом все одунское племя. Они сидели по чинам, по возрасту, по силе, по влиянию, выше всех — два старика. Один остролицый, худощавый, слепой. То был прадед Адрон, начальник лесного одунского рода. Рядом с ним сидел вышеупомянутый Михайло Кулдарь. Его острые глазки хитро поблескивали из-под косматых бровей, какие попадаются редко на лицах одунов. Пониже сидели две старухи: одна — поближе к Адрону, а другая — к Кулдарю. То были, очевидно, женские начальницы племени. Крепкие охотники и стройные подростки, девушки и женщины с грудными детьми, — все были вместе и жались друг к другу, как большое оленье стадо.

Оленье стадо тоже было недалеко. Из лесу слышался характерный стук рогов о древесные стволы. Время от времени мелкие копытца беспокойных телят постукивали, как будто кастаньеты.

Кендык с любопытством рассматривал это людское сборище. Их было немало, в общем около сотни, — приблизительно то же количество, что и в его коркодымском роду. Но они были крепче, обветренные лица

у многих были красны, как ольховая кора, и дети были завернуты в теплые шкуры зайцев, даже лисиц. В сущности, лесные одуны сидели у костра в том же порядке, как некогда садились коркодымцы на своих сходбищах. Но у этих одунов, как видно, все было общее: жилище, огонь и постель. Старый Адрон, закрыв свои невидящие глаза, хлопнул в ладоши. Это было приглашение к ужину. Молодые девчонки и мальчишки молча встали, перенесли все котлы на убитую площадку перед сиденьем стариков, потом стали выкладывать горячую пищу в глубокие долбленные корыта и разносить ее сидящим по порядку, установленному с давних пор. Мякоть и жир — тем, кто старше, кости — женщинам, разные обрезки и кусочки, которых набиралось в общем очень много, потроха, кровяную похлебку — юношам и детям.

«Видно, еда тоже общая», — подумал Кендык.

Гостей угостили наилучшим из дорожных запасов. В похлебку щедро прибавили топленого сала из белых оленьих пузырей. На углях испекли колобки из тертого мяса, смешанного с синей голубикой и тестом толченых корней.

— Какие новости? — спросил престарелый Адрон.

Таежный этикет предписывал обычный уклончивый ответ: все хорошо!

Но Кендык ответил откровенно, по-новому:

— Всякие новости, много.

— Вы, стало быть, и будете загробные одуны? — спросил Адрон.

Стоустая молва сделала из шодымских одунов племя, воскресшее из мертвых. В свою очередь, и Кендыку эти лесные соплеменники, пришедшие неизвестно откуда, казались совершенно необычными, загробными, заморскими.

— Я слышал, вы отменили все старые законы? — спросил с важностью Адрон.

Кендык пожал плечами.

— Старые люди умирают, старые обычаи тоже. Старые законы запутаны, не сразу поймешь.

— Эти законы оставили нам старики, — резко ответил Адрон, — и сказали: живите вот этак.

— Лучше бы сказали: умрите вот этак,—горько отозвался Кендык.

— У нас олени есть,— с важностью выложил Адрон главный аргумент таежного и тундренного счастья.

Оленье стадо, особенно у бывших охотников, считалось за лозунг наивысшей удачи и сытости.

— У нас тоже олени есть,— похвастал Кендык.

— Откуда достались? — спросил с интересом Адрон.

— Сами завели,— настаивал Кендык,— собственным умением и собственным старанием.

— А где старики ваши? — спросил опять Адрон, упорно возвращаясь все к тому же предмету.

— Старики наши умерли,— отозвался снова Кендык,— довели нас до смерти, на край, тогда сами умерли.

Это была встреча двух течений таежной одунской жизни: старого и нового. Правда, лет десять назад коркодымские одуны жили по такой же старине и под властью стариков, как и эти пришельцы. Теперь и лесные одуны, привлеченные нежданной вестью, тоже вышли на речную дорогу и встали ночлегом на пустынном урочище. И этот ночлег и эта дорога были для них новыми и неиспытанными, ведущими неизвестно куда.

Адрон о чем-то думал долго и с недоумением.

— Пойдите,— сказал он наконец.— Старики у вас умерли, а вы вместо них живете. Так не бывает. Ты расскажи мне. Ваше место называли «Выморочным местом»?

— Да, называли,— согласился Кендык.

Он вспомнил мертвые поселки таинственных одунов на средней Шодыме.

— А вас называют «воскресшие одуны»?

— Ну, так,— сказал Кендык.

— А ты сам, говорят, тоже воскресший. Лет сорок назад был такой беспокойный Кендык — живая заноза для племени.

Кендык только плечами пожал. Это предполагаемое тождество с Кендыком-людоедом, погибшим на каторге, стало раздражать его.

— А еще есть третий Кендык,— сказал старик ти-

ше.— «Крылатый Кендык» от первых дней творения. Он крыльями прочертил реки и озера, наполнил их собственной слюной. Выстрогал рыбу из белой березы, оленей из круглого креня¹, лисицу из красной ольхи. Он дал людям огонь, украл его у духов. Из собственного ногтя он высек сверкающую искру. Ты, должно быть, и есть этот Кендык.

Кендык, пораженный, молчал. Он не ожидал, что лесные одуны примут его без всяких оговорок за воскресшего бога.

— Ты бог, Кендык,— настаивал Адрон,— а это богиня Кылю, твоя красная подруга.

Рультына задорно улыбнулась. Она плохо понимала по-одунски, но все-таки соображала, что их принимают за важных, значительных людей.

Шаман встал и, в свою очередь, обратился к гостям.

— Я видел вас во сне,— сказал он уверенно.— Вы спустились с верхнего неба, из-под ног «Неподвижной звезды»². В лунном луче вы сошли к нам по «Песчаной дороге»³. Вот эта пошла по дороге с людьми,— указал он на Рультыну,— и когда она хмурилась, олени сохли. Когда она смеялась, олени приобретали силу. И когда она плакала, олени плакали. Каждую ночь я вас видел во сне,— настаивал Кулдарь,— и каждое утро и каждый вечер мы ждали, что вот вы придете... Сойдем,— сказал он Адрону.

Они взялись за руки и сошли со своего высокого сиденья на сумах, наполненных мягкой рухлядью и застланных белыми шкурами.

— Идите, садитесь,— обратился он к гостям,— посадите их.

По-двое юношей подскочили к Кендыку и его подруге, подхватили их под руки и осторожно и настойчиво повели и усадили на высоком начальственном месте.

— Пойте,— приказал шаман.

¹ Крень — наружный спиральный слой древесины искривленной лиственницы, отличается твердостью.

² Полярная звезда.

³ Млечный путь.

Лесные одуны сразу, как один человек, вскочили на ноги, выбежали из шатра и, взявшись за руки, стали водить хоровод вокруг своего огромного родового жилища. Адрон и Кулдарь шли впереди.

— Крешите, крешите, давайте огня,— пел Кулдарь.

И он ударял ноготь об ноготь, издавая при этом крепкий сухой треск и наглядно изображая, как первый божественный Кендык добыл блестящую искру.

Кендык, наш прадед, дал нам добычу,
Вычертил реки, вырастил леса.
Крешите, крешите, пляшите, пляшите,
Кендык — наш дедушка, брат нашей бабушки,
Дай нам долго жить,
Дай нам жирно есть,
Не хворать и не плакать,
Никогда не умирать.

Лесные одуны кружились быстрее и быстрее. Безглазый Адрон простирал к своим гостям свои длинные иссохшие руки, и грузный шаман завывал заклинания и выкрикивал просьбы все новые и новые.

— Вы пришли, пришли, пришли! — выкрикивал весь хоровод. — Пойдете, пойдете, пойдете назад. Мы идем, мы готовы, ведите нас.

Коркодымский молодняк сам отыскал себе дорогу и прошел по ней, преодолев все препятствия. Эти дикие лесные люди, для того чтобы двинуться вперед, сделали богов из юных коркодымских героев и готовы были следовать за ними тут же, сейчас, в эту морозную полночь, бросив позади не только старые обычаи, но и все свое имущество, оленей и сани, и мягкую рухлядь в мешках, и шкуры спальных полов, распаленных на жердях.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Обе половины одунского народа, таежная и тундренная, быстро выростали и укрепляли свое новое хозяйство.

Тундренные одуны смешались с тундренными звенками. В таежной одунщине коркодымские переселенцы смешались с пришельцами с востока, лесным на-

родом атан. Атанский молодняк целиком и полностью пошел по пути коркодымского, а родовые старшины атанов не избегли судьбы коркодымцев. Адрон и Кулдарь так же были отставлены в сторону, как и Чобтагир с Шоромохом. Была, однако, разница. Коркодымских старшин история вымела прочь жесткой метлою презрения и смерти. Атанских старшин она осторожно отодвинула в сторону.

Уже через год Адрон с Михаилом Кулдарем были на покое. Им отпускали паек, но к делам их не подпускали, и к тому же в этих новых делах они ничего не понимали. Делами управлял молодняк, и отставные старики с молодняком не ссорились. Кроме того они упорно считали, что Кендык и Рультаина — это божественная пара воскресших прародителей.

В короткое время одунская культбаза оделась целым строем культурных учреждений. Медпункт и ветпункт, школа и педфак, русская газета и газета на туземном языке, напечатанная особым шрифтом, в основе латинским с добавочными знаками. Окрик, окрисполком, окроно, даже окружные отделы МОПРа и Осоавиахима,— все это выросло сплошной чередой на новом поселке. Организовался местный драмкружок, члены которого сами сочиняли и разыгрывали на туземном языке маленькие пьески, весьма остроумные и злые. В культбазе затевались доклады и прения на текущие темы с последующим разбором и критикой. И вот два почетных пенсионера одунского рода сделали сенсационный доклад: «О бессмертии Кендыка».

Тезисы доклада не были заявлены, и старики, вероятно, не знали, что такое тезисы, но мысли свои они развивали довольно логично.

Вступление к докладу сделал сам Кендык:

— Вот эти чудачки говорят, что будто бы я не Кендык, а свой собственный дедушка, тоже, положим, по имени Кендык. Что я будто бывший покойник, долго был мертвый, а теперь воскрес. Я, знаете, этому не верю. Я чувствую иначе, будто я как есть живой и покойником не был никогда. Так вот, давайте спорить, который которого в споре одолеет. Ежели они одолеют, то, стало быть, мне надо смываться на небо,

отсюда уходить за тридевять земель, в тридешатое царство. Крыть нечем, покойник, и только. Ежели мы их одолеем, пусть они выскажутся громко, что не было ни предков, ни покойников. А ежели были, то самые простые, ничем не лучше нас. Мы тоже будем предки, когда родятся наши внуки, и тоже мы будем покойники, ничуть не хуже всякого другого.

Кендык закончил это странное вступительное слово средь общего смеха, и очередь перешла к шаману Кулдарю.

— Я, знаете, лишенец,— начал осторожно Кулдарь.— Человек неполноправный. Был я шаманистом, хотел было отречься от шаманства. Да отречься не от чего. Так, мелочь, мразь. Никто этому больше не верит. Какая же может быть помощь от деревянных покровителей, ежели они маленькие, а я большой,— думал я. Я охранителя на шее ношу, так что в этом хорошего? Вот если бы он мог меня таскать на шее, был бы по крайности отдых ногам.

«Я знаю, доброго бога никакого не было и нет. Обманывает русская книга, какую читали попы. Что же касается злого хозяина—самого сатаны, так я не уверяю, что будто его нет. Весь мир злой, и творец его злой, и вот тебе точка. А если бы мир был добрый, может, тогда и творец был бы добрее. Но это никогда не бывает.

«Вот в этом мой сказ про вашу молодняцкую правду, я во всем вам уступаю и кланяюсь.

«А теперь будет говорить другой старичок—Адрон Безглазый. Послушаем его.

И Адрон заговорил:

— Я человек старый, скоро умру, оттого буду говорить о смерти. Много я видел вещей, самых любопытных, а смерти еще не видал. Для меня это вещь новая. Что есть смерть? Вот живу, вот умру. Был когда-некогда Кендык—царский сын, взял да умер, или убили его, а потом он воскрес. Что есть «воскрес»? Вернулся на землю, стал ходить, говорить.

«Ну, вот этот самый Кендык, который перед нами, он тоже ходит и тоже говорит и во многом похож на Кендыка Старшего. Тот, стало быть, умер, этот ро-

дился. Тот ушел, а этот пришел, и дальше вот этот уйдет, а на его место придет его собственный внук. И так оно идет до скончания века. Одни помирают, а другие рождаются.

«Вот это по-нашему и есть воскресение. Мертвые — живые, живые — мертвые. А тот ли это самый Кендык или другой какой, и та ли Кылю или другая Кылю,— о том мы не знаем. Думаем, поскольку тот старый Кендык учил и приказывал людям и вел, куда надо, а этот Кендык учит и приказывает и тоже ведет, куда надо,— должно быть, это тот самый Кендык.

«Когда жил первый Кендык, тогда тоже были старики столетние. Был Краб-Аввий, он сидел в тине и мучил клещами тину, и когда Кендык позвал: «Достаньте комок тины, буду строить мир», Аввий сказал: «Не достану». Был другой старик, толстоносый дятел Като, он сто лет долбил носом тополевою кору, и когда Кендык попросил: «Дайте кусочек коры, сделаю лодочку, поеду по воде, объеду весь мир», Като сказал: «Не дадим». А все-таки вышло не по-ихнему, а вышло так, что Кендык перестроил мир.

«Так и теперь. Я вместо дятла Като, а Мишка Кулдарь вместо Краба-Аввия, а Кендык второй или третий вместо Кендыка первого. И как мы ни спорим, но все-таки мир перестроится. Меняются крабы и дятлы, а мир тоже меняется, портится, блекнет, и надо его перестроить, исправить. Кто правит миром? Миром правит Кендык. Так было, так будет. Мир тот же, и Кендык тот же. Мы пойдем за Кендыком.

Два отставных старика построили религию Кендыка и подняли ее на степень философии. Но это была религия двух одиночек.

Вторая пятилетка одунского хозяйства развернулась во всю ширь. Консервные заводы, мясные, рыбные, строились сперва по американскому типу. Были у Америки такие же консервы, но покупателей не было, и она продавала их на всех международных рынках по самой дешевой цене. Но к третьему году одунские заготовщики напали на счастливую мысль: наряду с американскими консервами готовить местные пище-

вые продукты и лакомства, которые готовились на Севере в течение десятков поколений. На длинных вешалах и сушильнях провешивали юколу, особым образом нарезанную, провяленную и подсоленную, слегка подкопченную и завязанную в пачки по пятьдесят штук в вязке. Связку юколы зашивали в тальничную корзинку, и этот бескостный и нежный продукт, тающий во рту, как масло, с меткою: «Сделано в Одунске», в два года завоевал весь мир. На больших сковородах жарили порсу, крупу из рыбы, все время подливая рыбьего жира и осторожно отскребая подгорающую порсу от гладкого железа. Порсу набивали в берестяные ведра, турсуки, туго зашивали берестяною крышкой и, поставив такое же гордое клеймо: «Сделано в Одунске», посылали на продажу, чорт знает куда — в Австралию и в Аргентину.

Собирали и сушили морошку и черную смородину, варили экстракт из крупной лесной голубики, коптили полотки — половинки гусей и уток, которые добывались ежегодно десятками тысяч на тундренных озерах. Север засыпал СССР своими основными кормами и лакомствами в уплату за сахар и хлеб.

Звериный питомник тоже получил своеобразное развитие. «Друзья пушного зверя» в конце концов сделали ручными белок и лисиц и даже маленьких бурндучков, наполнявших приамойские леса. Они научили зверьков всевозможным забавным шуткам, которым позавидовал бы цирк дедушки Дурова, разыгрывали с ними всякие звериные сказки и созидали, таким образом, особый звериный театр.

Так, сказочка про белку и бурундука разыгрывалась в лицах. Бурундук и бурундучиха приходят на берег реки, принимают пить, бурундучиха падает в воду и тонет. Чтобы вытащить ее из воды, бурундук старается высушить речку. Он макает хвост в воду, потом убегает в кусты, хвост выжимает на землю и опять в воду, и опять в кусты.

Белочка смотрела, ей стало жалко, и она погладила бурундука по мокрой спинке: «бедный бурундук». И три белчихих когтя провели у бурундука по его влаж-

ной шубке три четких светленьких следочка. Оттого у бурундука осталась полосатая спинка.

Эта звериная пьеска при участии белочки и двух бурундуков имела огромный успех во всех школьных театрах Севера, начиная от устья Родымы до Мезени и Пешы у Белого моря.

К сожалению, каждую осень нужно было реализовать запасы пушнины, то есть убивать и обдирать всех этих милых, забавных пушистых зверьков, которые ели из рук и заползали к «друзьям» за теплую пазуху. Малолетние «друзья» поднимали плач и вой, забирали питомцев своих и убегали в лес.

В конце концов состоялось неписанное соглашение, и нашелся выход, безобидный для обеих сторон. Одунский Север открыл торговлю ручными зверьками, хорошо дрессированными и способными на всякие штуки.

Оленье хозяйство сохранило свою роль в отношении снабжения мясом и шкурами. Оленей продолжали колоть по осени, снимать с них шкуру и пускать в продажу. Под наблюдением Рультыны развился обширный и изящный пошивочный промысел. Шапочки, шитые из гладких полосок и глянцевоитых лапок маленького оленьего «выпоротка», такие же сумки и перчатки с изящной отделкой из алой мандары¹ и пушистого белька², шубы-полуюбки без разрезных пол, вышитые по подолу разноцветными шелками, лосиной шерстью и бусами, коврики из черного и белого меха, переложенные квадратами, в шахматном порядке, круглые диванные подушки, туго набитые морской травой и обшитые снаружи глянцевоитой шкуркой мелкого тюленя или пыжика,— все эти прекрасные товары и продукты получили широкий и твердый рынок далеко за границей СССР.

У одунов была собственная моторная лодка, которая ходила взад и вперед по обоим Амоям и по са-

¹ М а н д а р а — выделанная шкура мелкого тюленя, красится в разные цвета.

² Б е л е к — тюлений детеныш, покрытый густым белым пухом.

мой реке Родыме до далеких верховьев, и моторная шхуна для выхода в море на промысел тюленя. На культбазе была даже маленькая верфь для постройки вельботов, плоскодонных и килеватых, челноков, долбленых и шитых. Эту работу одунские мастера тоже вели по-своему. Лодки сшивали древесными корнями, конопатили сушеным мхом, смешанным с заячьей шерстью, смолили, но все это делали иначе, чем прежде,—зорко следили за каждым швом, за каждым креплением деревянных частей.

Одунские челны высоко ценились. Они попадали даже в речные спортивные клубы на Неве и Москва-реке и служили для гонок с двуручным веслом одина-один. Но основным промыслом одунской Родымы был сплав леса. Огромная прямая лиственница, с деревом твердым, как желтая кость, не гниющим в течение более чем полвека, тысячами вырубалась в верховьях всех южных и восточных рек. Одуны сшивали их в легкие плоты особого северного типа. Сотни плотов ежегодно спускались к Сухарному устью реки Шодымы, где завязался бойкий порт, привлекий к себе иностранцев с обоих океанов: с западных окраин Полярного моря и с восточного тихоокеанского побережья. Здесь, в этом порту встречались Япония с Норвегией и с Канадой. Одунская культбаза тоже выросла в бойкий городок, в котором было уже до тысячи жителей. Общее число населения Одунского района считалось в десять тысяч. Новый социальный магнит отовсюду притягивал раздробленные частицы одунского племени. На базу выходили не только обруселые одуны из старых поселков по ныне пустующим рекам, но даже с Индигирки, с Яны и Лены выходили другие одунские роды, давно ассимилированные якутами, утратившие свое племенное лицо и язык и хозяйство и подпавшие всецело под влияние скотоводов-якутов. Они приезжали на конях, а корову порою везли на нарте, увязанную между жердями, чтобы она не брыкалась, и затянутую крепким сыромятным ремнем.

Пришел ликнеграм и решил свою задачу, научив одунов письму и чтению на родном языке.

Одунская страна представляла единое хозяйственное целое, грандиозный колхоз. Вместо натуральной коммуны, какая была, например, у атанов, одунское общество приняло новые культурные социалистические формы, восходившие, однако, от общего костра в огромном шалаше лесных жителей. Теперь эти формы преобразились и расцвели и увенчались блестящей работой одунского хозяйства, снабжавшего пищей и одеждой городские заводы и школы.

Одунская округа-коммуна твердыми шагами пошла вперед по дороге индустриализации и коллективизации Севера.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В есто предисловия	3
Глава первая	7
Глава вторая	16
Глава третья	23
Глава четвертая	28
Глава пятая	34
Глава шестая	44
Глава седьмая	51
Глава восьмая	61
Глава девятая	69
Глава десятая	75
Глава одиннадцатая	82
Глава двенадцатая	92
Глава тринадцатая	98
Глава четырнадцатая	102
Глава пятнадцатая	108
Глава шестнадцатая	113
Глава семнадцатая	123
Глава восемнадцатая	127
Глава девятнадцатая	132
Глава двадцатая	138
Глава двадцать первая	145
Глава двадцать вторая	155
Глава двадцать третья	163
Глава двадцать четвертая	171
Глава двадцать пятая	177
Глава двадцать шестая	184

Глава двадцать седьмая	188
Глава двадцать восьмая	197
Глава двадцать девятая	203
Глава тридцатая	209
Глава тридцать первая	215
Глава тридцать вторая	221
Глава тридцать третья	229
Глава тридцать четвертая	236
Глава тридцать пятая	241
Глава тридцать шестая	247
Глава тридцать седьмая	254
Глава тридцать восьмая	259
Глава тридцать девятая	265
Глава сороковая	271
Глава сорок первая	275

Редактор И. Трусов
Технический редактор С. Симонов
Корректор Г. Гашуева и О. Хохлова
Художник Н. Шишловский

Зак. изд. № 740 Ин. X-11. Тир. 10000
Уполномоченный Главлита № Б 83 9
Формат бумаги 82X110 в $1\frac{1}{32}$ долю
18 печ. л. по 33456 зн.

Слано в производство 27/VI 1935 г.
Подписано к печати 20/IX 1935 г.
Цена книги 3 р. 25 к. Переплет 50 к.
Отпечатано на бумаге Каменской
писчебумажной фабрики.

Заказ тип. № 126.

11-я тип. и школа ФЗУ Мособлполиграфа
2-я Рыбинская, 3